



Михаэль Вик

# Закат Кенигсберга

Свидетельство немецкого еврея

Михаэль Вик

ЗАКАТ КЕНИГСБЕРГА

Свидетельство немецкого еврея

ПОТСДАМСКАЯ : БИБЛИОТЕКА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
: МЕМУАРЫ

POTSDAMER : BIBLIOTHEK ÖSTLICHES EUROPA  
: ERINNERUNGEN

Михаэль Вик

# Закат Кенигсберга

Свидетельство немецкого еврея

*С предисловием Зигфрида Ленца*

*Перевод с немецкого Ю. А. Волкова  
под редакцией Ренаты фон Майдель  
и Михаила Безродного*

Санкт-Петербург  
«Гиперион»

Потсдам

Немецкий форум восточноевропейской культуры

2004

ББК 463.3(4Гем)6

В 43

Перевод осуществлен по изданию: Michael Wieck, Zeugnis vom Untergang Königsbergs. Ein „Geltungsjudе“ berichtet. M. e. Vorw. von Siegfried Lenz. 7., veränd. Aufl. Heidelberg: Heidelberger Verlagsanstalt, 2001.

**Вик, Михаэль. Закат Кенигсберга: Свидетельство немецкого еврея /**  
С предисл. Зигфрида Ленца. Пер. с нем. Ю. А. Волкова под ред. Ренаты фон Майдель и Михаила Безродного. — СПб.: Гиперион; Потсдам: Немецкий форум восточноевропейской культуры, 2004. — 352 с. Илл. (Потсдамская библиотека Восточной Европы. Мемуары. I)

**Vik, Michael. Zakat Kenigsberga: Svidetel'stvo nemeckogo evreja /**  
S predisl. Siegfrieda Lenca. Per. s nem. Ju. A. Volkova pod red. Renaty fon Majdel' i Michaila Bezrodnogo. — SPb.: Giperion; Potsdam: Deutsches Kulturforum östliches Europa, 2004. — 352 S. Abb. (Potsdamer Bibliothek östliches Europa. Erinnerungen. 1)

**ББК 63.3(4Гем)6**

ISBN 5-89332-077-8

ISBN 3-936168-12-1

© Michael Wieck, 2004

© Deutsches Kulturforum  
östliches Europa, Potsdam,  
издание на русском языке, 2004

## Оглавление

Зигфрид Ленц. Предисловие	7
Пролог	11
Тетя Фанни	20
Нидден	30
Школа немецкая	36
Школа еврейская	44
Время «Хрустальной ночи»	51
Начало войны	64
Бар-мицва	71
Желтая звезда	79
Конец школы	95
Столярная мастерская	108
Химическая фабрика «Гамм и сын»	122
Бомбардировки Кенигсберга	132
Зимняя гроза	141
Осада Кенигсберга	153
Русские	168
«Кладбище» Кенигсберг	195
Концлагерь Ротенштайн	200
Встреча	212
Конфликты и судьбы	221
Кража со взломом. Эпизод первый	235
Ловля копченой рыбы	239
Предчувствия	242
Больница «Милосердие»	246
Кража со взломом. Эпизод второй	256
Вода и электричество	262

Кража со взломом. Эпизод третий	266
Электрическое отопление	269
Пирожники	272
Фрагменты	279
Берлин	292
Больная память. Часть первая	301
Разговор	305
Больная память. Часть вторая	312
Отражения	317
Приложения	
К седьмому немецкому изданию	325
Отзывы читателей	327
Письмо	329
Путевой отчет	337
Указатель переименованных мест	345
От переводчика	348

## Предисловие

«С появления двух евреев – они были врачи – началась в 1540 году жизнь этой общины [еврейской общины в Кенигсберге], и эвакуацией в апреле 1948 года двух евреев ее 408-летняя история завершилась, по-видимому, навсегда».

Человек, напомнивший нам об этом событии, автор настоящей книги, и был одним из тех двух последних уцелевших. Он выжил чудом. Получив «клеймо» в годы массового психоза, подвергаясь каждодневным унижениям и преследованиям по «законам», оправдывавшим преступления, он пережил и войну, и послевоенное лихолетье. Кажется, испытывавшему такое положено исполнить старый завет: идти и свидетельствовать об увиденном и услышанном. Ибо наш долг перед теми, кто умолк навеки, сделать все, чтоб о них не забыли.

С детства принужденный носить желтую звезду, Михаэль Вик на собственном опыте узнает, насколько различными могут стать судьбы представителей одного рода в эпоху торжества расового безумия. Лишенный всех прав, он числит среди своих родственников не только будущих жертв Освенцима и Терезиенштадта, но и офицеров вермахта и даже даму, которую приглашали на банкеты к Гитлеру. Конstellации трагические и возможные только в эти годы.

С остротой рано осознавшего опасность мальчик реагирует на окружающий мир. Он любит свой город; он безмерно счастлив, проводя каникулы на земландском побережье; многое значит для него и школьная дружба,



– но внезапно, словно укол в самое сердце, возникает понимание, что в глазах однокашников он – другой, чужак, который никогда не станет их товарищем. Яд государственной пропаганды начинает действовать. Мальчика подвергают издевательствам и унижениям, он испытывает на себе разнообразные проявления официально поощряемой враждебности. Поначалу беспомощный, он со временем находит себе опору – в музыке. Хранимый верою в Бога, он открывает для себя чудесный мир искусства, дарующий силы и надеждающий самообладанием в экстремальных жизненных ситуациях.

И он не бежит мира. Каких бы потрясений ни готовила ему реальность, он зряч ко всему, что обрушивается на людей обезумевшая власть: от бытовых трудностей до депортации и убийств, поставленных на промышленную основу. В начале войны, после ужесточения законов о евреях, он с полной ясностью ощущает, что отпущенное ему время имеет предел. Выказанные им за этот «срок» сила духа и готовность к новым испытаниям, изумительные сами по себе, еще и подтверждают истину о том, что ожидание близкой смерти не парализует воли к жизни.

Все было испытано мальчиком со звездой – и принудительный труд, и голод, и страх за близких, и бюрократический абсурд: так, однажды он получил повестку для явки на сборный пункт призывников. Наблюдая, как членов его религиозной общины одного за другим забирают и уводят на смерть, он осторожно, наугад разрабатывает стратегию выживания. И чем дольше тянется война, чем очевиднее самоубийственный финал немецких побед, тем сильнее его надежда пережить мрачное время. Однако полностью сбыться этой надежде не было суждено: бомбардировки Кенигсберга британской авиацией, неделями длившаяся

осада города советскими войсками и не в последнюю очередь встречи с победителями – все это отнюдь не сделало жизнь безопасной. А по окончании войны Вик столкнется еще и с равнодушным отношением к перенесенным им страданиям.

Там, где жизнь целиком сводится к удовлетворению потребностей в пище и тепле, где единственное, что заботит на холодном ветру среди развалин, это как дотянуть до следующего дня, там все зависит от проворства, хитрости и просто грубой силы. И подросток, который избежал самого страшного и которому утешением и убежищем по-прежнему служит музыка, вдруг открывает в себе способности, удивляющие его самого. Из стратега он превращается в практика выживания, ловко и бесстрашно забирающего у победителей то, что ему необходимо для удовлетворения самых насущных потребностей. Не приходится удивляться, что однажды, в особенно трудную минуту, он поклялся быть до конца своих дней «счастливым, благодарным и всем довольным», если ему удастся выжить. Ему удалось, он оказался одним из двух последних евреев, кому позволили покинуть город – предоставили «разрешение на выезд».

Радость по поводу этого разрешения, надежды на будущее, брак, перипетии профессиональной и личной жизни – все это автор описывает в кратком приложении, или, точнее, в заключительной части, которая выглядит приложением. Главный его жизненный опыт остается связан с Кенигсбергом. Здесь он обрел себя, прошел огонь и воду. Здесь ему удалось одержать победу над собой.

Михаэль Вик – опытный рассказчик. В его изложении эпизоды прошлого служат контрастным фоном друг другу. Так, он подчеркивает совпадение по времени своей бар-мицвы и поручения, которое Геринг

дал Гейдриху: подготовить «реалистичное и конкретное окончательное решение еврейского вопроса». Или дает нам почувствовать будущую трагедию, повествуя о том, как он, мальчик с желтой звездой, внимал явившемуся в гости родственнику в офицерском мундире со знаками отличия. На примере своей жизни автор описывает следствия антисемитизма и приходит к потрясающим выводам, расспрашивая о его истоках тех, кто научился искусству обманывать свою память. Мемуары написаны в прошедшем времени, однако при изображении особенно важного для себя эпизода автор всякий раз использует настоящее время, словно хочет сообщить этому событию длительность или дать понять, что оно для него все еще актуально.

Мнения, которые Вик высказывает о власти предрешающих и их приспешниках, о жертвах и победителях, обнаруживают впечатляющее чувство справедливости. Давая свою оценку происходящему, автор ни на миг не забывает о том, что исторические процессы подчинены закону причинности, и поэтому, например, дрожа в подвале разрушенного города, он спрашивает себя, не являются ли снаряды и бомбы, несущие смерть Кеннигсбергу, ответом на преступления, совершенные немецкими захватчиками в Ленинграде и в сотнях других советских городов. Он не устает задавать вопросы – то с ужасом, то хладнокровно, и вновь и вновь приходит к убеждению, что надежду на завтра способны обеспечить лишь разум и терпимость. Призывом к ним и является эта потрясающая книга.

Зигфрид Ленц

## Пролог

Обоих своих дедушек я не застал в живых, а случайно обнаруженная биография Арнольда Хулиша, маминого отца, заняла лишь одну машинописную страничку. С нескрываемой гордостью дедушка рассказывает о своих предках из старинной династии раввинов, а также о своей учебе на инженера и начале трудовой деятельности на строительстве железной дороги. И чего только он не числит среди главных своих жизненных успехов! «... Позволю себе добавить, – пишет дедушка, – что в 1864 году я стал первым и надолго единственным евреем в списке студентов-строителей и мне еще пришлось подписать предназначенный для евреев злополучный «реверс Симона», который, правда, после аннексии Ганновера из моего досье исчез. Соответственно, и в Пруссии я стал первым евреем-строителем, работавшим по правительственным заказам. Чтобы не навлекать на себя традиционных антисемитских подозрений, я считал своим долгом отказываться – может быть, в большей степени, чем это было необходимо и разумно – ото всех выгодных предложений. Бесспорно, однако, что моя твердость в вере и особенно антисемитизм 80–90-х годов сильно повредили мне во всех отношениях». Скоро звучат ноты усталости, и история близится к концу: «... из шести наших детей в живых остались лишь трое упомянутых в завещании дочерей. В 1890 году наш брак по (кажется, ненужному) ходатайству жены был ввиду, якобы, непреодолимой антипатии расторгнут в судебном порядке. Позже я развелся

и по еврейским законам. Весной 1897 года, по причине серьезного упадка сил, я вышел в законную отставку и с того времени смог посвятить себя заботам о здоровье и о детях...». («Отказ от выгодных предложений» означал отказ от причитающегося вознаграждения, а словосочетание «непреодолимая антипатия» было одной из общепринятых бракоразводных формулировок.)

Бедный дедушка! В возрасте пятидесяти двух лет силы его иссякли, дух был сломлен и брак распался. Бабушку Дженни, его жену, я еще застал. Она умерла, когда мне было шесть. Я хорошо помню, сколь влиятельной могла быть эта тихая женщина.

Мама, голубоглазая блондинка, была невысокого роста, но ее движения производили впечатление размашистых. Наделенная большим умом, она, однако, отдавала предпочтение чувствам. Ими были исполнены ее речь, музицирование, манеры. Она была идеалисткой, скромной и непрактичной; музыка значила для нее все, а домашнее хозяйство ее почти не интересовало; порой нетребовательная до аскетизма, она бывала, однако, и довольно капризной. Обстоятельства тесно связали нас друг с другом.

Совсем другими были дедушка и бабушка Вики. Уверенные в себе, зажиточные, всеми уважаемые. Дедушка Вик тоже был инженером и по случайному совпадению работал на строительстве железной дороги в Румынии в то же самое время, что и дедушка Хулиш. Возможно, они даже знали друг друга. Позже он управлял делами и был главою муниципалитета берлинского района Грюневальд, и там одно время имелась названная в его честь улица. Ныне на ее месте разбит парк. Рядом с ним бабушка Вик оставалась в тени. Она была шведкой, урожденной Пальме, двоюродной бабушкой Улофа Пальме, лидера шведских социал-демократов, убитого в 1986 году.

Мой отец в свои лучшие годы ходил на мужчин, которых любил писать Мане. Он был хорошо сложен, темноволос, носил бороду, всегда следил за собой и безукоризненно одевался. Кажется, ему нравилось изображать джентльмена – с умом и запросами. Он часто рассказывал о родительском доме, где бывали Брамс и Клара Вик-Шуман (наша дальняя родня) и где Йозеф Иоахим устраивал репетиции своего струнного квартета. Старшие Вики жили в просторном доме на Герта-штрассе 4, а неподалеку находился особняк Мендельсонов, в котором тоже останавливались и выступали музыканты.

Оба этих дома, по рассказам отца, были чуть ли не средоточием музыкальной жизни Берлина. Запомнились отцу, а он был 1880 года рождения, и художники Макс Либерман и Адольф фон Менцель. Когда он воскрешал в своих рассказах прошлое, все казалось замечательным и прекрасным, важным и исполненным значения. Люди его поколения еще не умели рассказывать о теневых сторонах жизни, о человеческих слабостях и поражениях, и эта ничем, кажется, не омраченная гордость и на меня повлияла благотворно. Мои таланты и способности вообще не ставились под сомнение, ведь тот, кто происходил из такой семьи, имел, само собою разумеется, высокое предназначение, возможность неудач попросту исключалась. Это крайне полезное и стимулирующее заблуждение было совсем неплохим наследством – и не только для будущей карьеры музыканта.

К счастью, мемуары моего деда Бернхарда Вика о франко-прусской войне попались мне на глаза гораздо позже. Ну и удивили же они меня! Предок вмиг утратил свой ореол и предстал предо мною консерватором, националистом и филистером, каковым он, по понятиям того времени, скорее всего, не был. Свои воспоминания

о войне дедушка запечатлел и в поэтической форме. Приведу в пример 8-ю и 9-ю строфы его обширного эпоса:

Всыпал Фридрих под Седаном  
Хвастунам и грубиянам;  
Мак-Магон, Наполеон,  
Конробер, Фроссар, Базен  
Угодили в прусский плен,  
Осрамили «гранд насьон».

Не стяжали бранной славы  
Спаи, тюркосы, зуавы;  
Стон их слышится и крик:  
Прусский чествует кулак  
Незадачливых вояк  
Злополучной «републик».

Даже если это были, как дедушка сам пишет, шуточные стихи на случай, то чего же в них только не отразилось! И ура-патриотизм, и солдафонское бахвальство, и абсолютная уверенность в собственной исключительности, и презрение ко всем остальным. Не на этой ли почве выросли будущие пороки? В самом деле, всего только два поколения спустя мой сводный брат Петер, сын отца от первого брака, став убежденным национал-социалистом и офицером вермахта, отправился завоевывать мир, а я едва избежал «выбраковки», запланированной нацистами. «Выбраковка» – выражение, использованное будущим нобелевским лауреатом Конрадом Лоренцом в 1940 году в одном из сочинений, где он, заботясь о расовой чистоте, призывал «исключить представителей других рас из процесса воспроизводства народонаселения» и «подумать о более решительной, чем существующая ныне, выбраковке морально неполноценных». Эти строки были написаны через год после начала практики эвтаназии и за полтора года до

Ванзейской конференции, на которой было принято решение о физическом уничтожении евреев.

Я, живой и жизнерадостный ребенок, оказался в парадоксальной ситуации, состоя, с одной стороны, в родстве с уважаемыми людьми, а с другой – относясь к лицам, официально объявленным вне закона. Дочь брата моего отца, кузина Доротей, популярная киноактриса тридцатых годов, не раз сживала на обедах рядом с Гитлером, меж тем как тетя Фанни погибла в Освенциме или в Риге, тетя Ребекка – в Терезиенштадте, а мамина кузина Лотта Бет покончила с собой, узнав о предстоящей депортации. И если кому-то эта ситуация покажется исключительной, я могу на примере семьи моей тети Бетти поведать еще одну историю тех безумных дней.

У дедушки и бабушки Хулишей было три дочери – Бетти, Мириам и Гедвига, моя мать. Бетти вышла замуж в Мюнхене и в 1934 году потребовала от своей матери (бабушке Дженни было тогда 84 года) подписать заявление, согласно которому она, Бетти, приходится ей не родной, а приемной дочерью и во всяком случае не является еврейкой. После некоторого сопротивления бабушка согласилась, но недолго прожила после этого потрясения. Тете Бетти заявление потребовалось для того, чтобы ее сыновья могли вступить в гитлеровские СА или СС. (В оправдание Бетти скажу, что так поступить ее заставили муж и сыновья.) Конечно, всякие контакты с ними прекратились, и я не знаю ни ее дальнейшей судьбы, ни судьбы ее сыновей. Вполне вероятно, что мои кузены стали палачами своих близких родственников по материнской линии. Воистину, эта вероятность могла бы послужить сюжетом для классической трагедии!

Незадолго до моего рождения в июле 1928 года мама, встретив кенигсбергского раввина Левина, спросила



его о религиозной принадлежности своих детей. «Родившийся от еврейки – еврей», – гласил его ответ. Таким образом, моя сестра, 1925 года рождения, и я были зарегистрированы в еврейской общине и воспитаны в иудаизме. Поэтому в дальнейшем нацисты считали нас «относящимися к евреям». Законы о евреях распространялись и на нас, мы были обязаны носить желтую еврейскую звезду. Дети от смешанных браков, воспитанные в христианской вере, подобной участи избежали, и, может быть, поэтому их цинично называли «привилегированными».

Согласно Фрицу Гаузе, автору книги «Кенигсберг в Пруссии», меня, собственно, не должно было быть в живых. Он пишет:

Их [евреев] судьба так же неизвестна, как и цель и подробности депортации. Никто из них не пережил кошмара. Если еще и остались кенигсбергские евреи, то это те, кому посчастливилось эмигрировать перед войной.

Действительно, только трое из носивших в Кенигсберге желтую звезду, пережили преследования, войну и русскую оккупацию.

С другой стороны, оказывается, что меня, как и других мирных жителей Кенигсберга, спасло благородное поведение коменданта крепости генерала Лаша. Вот, что он пишет в книге «Так пал Кенигсберг»:

Но сильнее всего повлияло на мое решение [о капитуляции] осознание того, что продолжение боевых действий привело бы лишь к бессмысленной гибели тысяч моих солдат и мирных жителей. Взять на себя такую ответственность ни перед Богом, ни перед своей совестью я не мог, а потому решил прекратить борьбу и положить конец кошмару.

Однако столь благородным генерал, к сожалению, не был. Именно потому, что он не сдал Кенигсберг вовремя, нам, гражданскому населению, пришлось пережить осаду города силами около 250 000 русских солдат и сопровождавшие ее убийственные бомбардировки. Капитуляция была подписана лишь тогда, когда после нескольких месяцев осады и трех дней кровопролитных уличных боев, Кенигсберг был сдан и русские добрались до хорошо защищенного бункера генерала Лаша.

Гибель еврейской общины, а затем и всего города, в сущности, не поддается описанию. Многие события подобны злым духам, от которых, вызвав их однажды, не так уж легко избавиться. Таковы и воспоминания об ощущениях тринадцатилетнего подростка, когда его под угрозой смерти заставляют носить еврейскую звезду – каинову печать, отделяя от сограждан и ставя вне закона.

Едва мне удалось избежать «окончательного решения», как Кенигсберг был взят Красной Армией и я оказался в руках Сталина. В трехлетнем русском плену я, как и другие, испытал нужду и лишения, которые сократили пережившее войну население Кенигсберга на 80 процентов, т. е. почти полностью уничтожили его. Сперва Гитлер приказал уничтожить евреев, а затем Сталин – жителей Восточной Пруссии. Самые страшные страдания ожидали людей в подвалах советского концлагеря Ротенштайн. Спустя двадцать пять лет, меня, ведущего концертмейстера Штутгартского камерного оркестра, приветствовала в качестве почетного гостя госпожа Екатерина Фурцева, соратница Сталина и на протяжении многих лет министр культуры. Наши концерты в Москве и Ленинграде имели большой успех.

Чем была наполнена эта четверть века? Интенсивной учебой, изоляцией Западного Берлина, женитьбой

и воодушевленной светлыми надеждами работой по культурному возрождению разрушенной войной Германии. Фричай, Клемперер, Ансерме, Челибидаке и многие другие дирижировали Симфоническим оркестром берлинского радио, самым молодым музыкантом которого стал я. Первые гастролы проходили на территориях, совсем недавно подвергшихся гитлеровской агрессии и разрушению. Это были первые робкие просьбы о прощении и примирении. Перед выступлениями нас освистывали, а по окончании награждали восторженными аплодисментами – обнадеживающим доказательством примиряющей силы искусства.

Однако горькие воспоминания о прошлом, ощущение разлада с самим собой, возведение Берлинской стены – все это побудило меня принять в 1961 году приглашение Оклендского университета. Во время концертного турне мне предложили преподавать на первом и единственном в Новой Зеландии отделении по классу скрипки. Но когда, после семи лет поисков домашнего очага на другом краю земли, я увидел, что люди повсюду похожи друг на друга, меня потянуло назад в Германию. Лишь там, в стране поэтов, мыслителей и, к сожалению, преступников, я нахожу ту питательную среду, без которой не может жить моя душа музыканта.

Надеюсь, что неоднозначное отношение к «евреям», «христианам», «немцам», «русским», которое сложилось у меня в силу обстоятельств собственной судьбы, уберезет мой рассказ от односторонних оценок. Я ручаюсь за точность своих воспоминаний во всем, что касается изображения важнейших событий и переживаний, – они все еще не утратили для меня своей актуальности, все еще слишком живы в моей памяти. Однако полностью исключать эмоции из своих оценок я не стану, особенно в отношении двух лиц, причастных

к истории Кенигсберга: профессора Конрада Лоренца и генерала Отто Лаша, которых я обвиняю от лица многих и многих. Впоследствии им очень неплохо удалось создать себе репутацию моралистов и мучеников, а между тем к страданиям, моим и многих других, оба имели непосредственное отношение – фатальным и для того времени обычным образом: один как идеолог, другой как военный, практик. Ужасы недавнего прошлого никогда не станут чрезмерным свидетельством того, что сперва насилие совершается на словах и бумаге, а потом в ход идут кулаки и оружие, и мысленное насилие превращается в реальное мучительство и убийство.

С глубокой печалью я думаю обо всех моих школьных друзьях и родственниках, рано ушедших из жизни, о многих миллионах жертв слепого безумия и неограниченного злоупотребления властью. Быть может, мне удастся уберечь их судьбы от забвения. Им есть о чем поведать нам.

## Тетя Фанни

Обращаясь к самым ранним своим воспоминаниям, я с удивлением обнаруживаю, что тетя Фанни сохранилась в них живей и отчетливей, чем мама. Ясно вижу, как тетя, всегда будто чем-то слегка напуганная, везет меня в детской коляске, и слышу ее тихий голос. Она приходит часто, вероятно, ежедневно. Всегда приветлива. Но вот кто-то, раздраженный ее неловкостью, отчитывает ее. Одевая меня, она, случается, просит о помощи. Ей трудно справиться со всеми ремешками, шнурочками и застежечками. Но когда мы оказываемся одни на улице, в ближайшем парке или в песочнице, меня охватывает радость, ощущение счастья...

Мама то и дело куда-то спешила, волновалась, была занята чем-то важным. Ей постоянно приходилось участвовать в репетициях и концертах, и по-настоящему дома она бывала лишь тогда, когда занималась скрипкой. Зато в этих случаях мне позволялось играть в ее комнате. Я клал голову ей на колени и сосал палец: ощущение удовлетворения...

Вот черный рояль, издающий звуки: волшебство... Кажется, бабушка Дженни хочет мне что-то сказать: легкая обеспокоенность... Ковер, на узорах которого можно играть с кубиками и деревянными фигурками. Вот снова мама, обнимает меня с порывистой нежностью: любовь про запас? Никаких воспоминаний об отце. Он и живет-то на другой стороне улицы.

Странно, что в этих воспоминаниях не появляется родившаяся на три года раньше меня сестра Мириам.

Да и бабушка присутствует как-то уж очень смутно. Даже собаки, кошки, птицы и конские упряжки запомнились лучше.

В маминой квартире на Гольтцаллее, на углу с Альте-Пиллауер-ландштрассе, был длинный коридор, и моя комната находилась в дальнем его конце. Ночью я чувствовал себя покинутым, и первые мучительные часы в моей жизни связаны именно с этим неведомо откуда взявшимся ночным страхом.

Повсюду какие-то движения. На стенах вспыхивают таинственные огни, предвещая появление далеких пока машин – задолго до того, как слышно урчание моторов. Шорохи, звуки, издаваемые животными; ощущение постоянной угрозы и собственной беспомощности; любая мыслимая опасность предстает невыносимо страшной. В крайнем отчаянии зову на помощь, кричу. Очень редко приходит мама, ведь ее комната в другом конце коридора, а часто ее, наверное, и вовсе нету дома.

Она была альтисткой в Кенигсбергском струнном квартете, где вторую скрипку играл отец. Он же организовывал все репетиции и концерты. Квартет выступал с циклами Бетховена и гастролировал в Берлине. Основали даже Союз новой музыки и после сорока с лишним репетиций впервые исполнили квартеты Хиндемита и Шенберга. Кроме того, у моих родителей было много учеников, с которыми приходилось постоянно заниматься, а поскольку комнаты не были звуконепроницаемыми, то и жили родители отдельно.

Рассказывали, что в возрасте трех лет я пересек улицу и позвонил или постучал в дверь дома, где жил отец, а когда открыли, спросил: «Вик дома?» Ибо мама по давней товарищеской привычке называла отца Виком. Но как я ни напрягаю память, в моих первых воспоминаниях отца нет. Немного чужим «Вик» оставался для меня в течение всей своей жизни.

Пасха. Соседи, к которым меня иногда водят, устраивают так, чтобы под игрушечным зайцем, сидящим в комодке, я находил маленькие сахарные яйца. Но большую часть времени я провожу, раскачиваясь на подвешенных в дверном проеме качелях, и чувствую себя превосходно. То и дело соседка уходит посмотреть, не снес ли зайчик еще одно яичко. При этом она незаметно подкладывает новые яйца, которые я и нахожу при следующей проверке. Каждый раз происходит что-то странное, удивительное, и это ощущение, хотя и на другой лад, я испытываю и по сей день.

Мы празднуем Хануку. Каждый день зажигается новая свеча. Восемь свечек, восемь праздничных дней. (Ханука должна напоминать об освободительной борьбе Маккавеев и вторичном освящении Храма. Во время торжеств в 165 году до н. э. менора ко всеобщему изумлению и радости в течение восьми дней горела без масла.)

Приходит тетя Ребекка. Она всегда одета в черное, серьезна и спокойна. Бабушка и Ребекка все делают степенно и двигаются с достоинством. Сестры очень похожи друг на друга. Затем вспоминается ощущение беспокойства, связанное с отцом, который, хоть и довольно смутно, начинает проступать в картинах прошлого. Он наряжает рождественскую елку, но у него плохое настроение. Цепляется к мелочам, чтобы побрюзжать и поворчать: чувство досады, запах сигары...

Помню много снега, снежные крепости, снеговиков и конную упряжку с большими санями и колокольчиками. Иногда, но это случалось несколько позже, такая упряжка тянула за собой целый поезд из детских санок. Вот тут-то и появляется сестра Мириам. Ловкая и проворная, на три года старше меня, она может догнать на бегу санный поезд и прицепить к нему мои санки. В какой восторг приводила меня эта неровная езда! Дома

замерзшие пальцы болят под струей воды, зудят озябшие ноги. Утешением служат горячее какао и сладкий пирог.

Много работавший отец редко выказывал мне свою любовь и внимание. Не знаю, может быть, заботы, которых с каждым днем становилось все больше, мешали нам найти общий язык, хотя я и очень этого желал, или ребенку полагалось сначала вырасти, чтобы сделаться собеседником. Живо и отчетливо предстает отец перед моим внутренним взором лишь после 1933 года, когда мне уже как-никак исполнилось пять лет. С того времени его влияние на меня заметно растет.

Несколько позже я помню маму все время сидящей дома. Ей больше не разрешалось выступать с публичными концертами. Квартет вследствие этого распался. Нехватка денег вынудила родителей переехать на квартиру подешевле, и с этого момента условия нашего быта и бытия ухудшались все стремительнее...

То, что в моих первых воспоминаниях так ярко присутствует тетя Фанни, служит для меня доказательством нашей особой связи. Она была не замужем, и я, по-видимому, служил ей заменой ее собственного ребенка. Во всяком случае, она проводила со мной много времени. Отец однажды заметил, что Фанни не особенно умна. Возможно, поэтому к ней относились пренебрежительно. Но если бы у меня спросили, когда я впервые осознанно испытал живое человеческое участие, о котором помню до сих пор, то я назвал бы свои прогулки с ласковой и заботливой тетей Фанни. Вспоминая о ней, я ощущаю и глубокую душевную боль, причина которой – потрясшее нас обоих происшествие, случившееся во времена жестоких преследований евреев.

Мне было уже лет тринадцать, когда я очень сильно провинился перед ней. Она нуждалась в моей помощи – и не дождалась ее. Под конвоем мы двигались в



длинной скорбной колонне от сборного пункта, расположившегося в бывшем манеже, к товарной станции Северного вокзала. Депортация евреев шла уже несколько месяцев – пока, в основном, относительно небольшими партиями. Первое время кенигсбержцы могли при желании ничего не замечать, и они ничего не замечали. Но в тот день дело обстояло иначе. Многим сотням людей приказали в назначенное время явиться на расположенный в центре города сборный пункт. Каждый получил по почте четкие предписания. С собою разрешалось взять лишь 30 кг багажа, но все взяли больше, и удивительно, как тяжело были иные нагружены.

Несомненно, в тот день многих в Кенигсберге мучали угрызения совести. Смущение некоторых чувствовалось отчетливо. Слишком масштабной оказалась эта депортация, чтобы ее не заметить. Все утро по городу тащились нагруженные вещами евреи. Одним приходилось после нескольких шагов делать передышку, другие воспользовались небольшими тележками. На лицах была написана отрешенность, покорность судьбе и в то же время напряженность. У этих людей не было надежд на будущее. Жалкое зрелище, которое они собою являли, лишь внешне напоминало будущие потоки беженцев из разбомбленных городов. Безвинно объявленные вне закона, евреи шли по улицам, на которых в бездействии, за малыми исключениями, стояли, смотрели на них или отводили от них глаза недавние их сограждане, пациенты, клиенты, друзья и соседи. Некоторые, безусловно, испытывали горькие чувства от сознания жестокой несправедливости происходящего и собственного бессилия. Но те, у кого была возможность, как правило, без раздумий пользовались оставленным имуществом, домами, квартирами, мебелью, книгами и освободившимися вакансиями.

На этот раз среди депортируемых оказались не только многие из моих школьных товарищей, но и почитаемая мною учительница немецкого языка Роза Вольфф и не менее почитаемая Рут Марвильски, в которую я был влюблен. Была здесь и вся ее семья. Не избежал общей участи и Манфред Эхт, мой школьный друг и сосед по парте. Герберт Шиммельпфенниг, Зигфрид Файт, Хейнц Марковски, Рита Йордан, Юлиус Розенштайн, Рахель Шлабовски, Ирмгард Аугстусальски – повсюду видел я знакомые лица. Я плохо понимал происходящее, но хотел помочь, быть рядом, а еще лучше – вовсе не расставаться с ними, горевал, что не получил такого же, как они, предписания.

Собирались все утро. Был ясный, но довольно холодный день. Люди попадали в большой зал через широко распахнутые ворота. У входа стояли или сидели за столами, покрытыми множеством бумаг и папками-скоросшивателями, эсэсовцы. Они вели себя весьма корректно, иногда даже предупредительно, а лучше сказать, корректно постольку, поскольку были удовлетворены ходом дела. В самом же зале царила страшная неразбериха. Люди сидели на чемоданах или лежали на своих пальто и одеялах. Теснота была такая, что мест для прохода не оставалось. Звезда, вспыхивая желтым пятном то тут, то там, словно узором расцвечивала толпу, одетую преимущественно в темное. Я тоже, согласно строгому приказу, носил прямо над сердцем желтую звезду. Но к ним я в тот день не принадлежал. В списке приговоренных к смерти моего имени еще не было, что, разумеется, никого не интересовало. Я затесался в толпу, чтобы попрощаться, и часовые лишь потому, видимо, что имели дело с ребенком, позволяли мне пересекать линию оцепления туда и обратно. А меня то и дело просили о какой-нибудь услуге. Кому-то требовалось отправить второпях написанное письмо, а

кто-то вдруг решил обменять банкноты на монеты. Не зная, зачем это было нужно, я, однако, с готовностью бросался искать лавку, чтобы поменять деньги. Владельцы лавок и продавцы, видя желтую звезду, разменивали банкноты. Добытые мною монеты тщательно прятались.

Люди сидели или лежали, вырванные из привычного окружения, тревожно ожидая своей участи, о которой боялись даже задуматься. Это, конечно, было не отсутствие мужества, а понимание полной бессмысленности гаданий о неотвратимом. Нам, правда, было известно, что некоторые из наших знакомых, узнав о депортации, покончили жизнь самоубийством, как, например, госпожа доктор Готтшальк, врач матери. Однако не было ли это слишком уж преждевременной капитуляцией?

Где-то в этом огромном зале находилась и тетя Фанни. Я потерял ее из виду. Горечь расставания спазмом сжимала горло.

И вот наступил момент, когда всей этой людской массе предстояло в течение нескольких минут отправиться в путь. Я оказался вблизи фрейлейн Вольфф и тотчас подхватил ее багаж, намного превышавший ограничение в 30 кг. Во что бы то ни стало я хотел как можно дольше быть со всеми, не хотел оставаться один. Хотел помочь. А между тем мне следовало поскорее покинуть зал. Я еще не подозревал, какой опасности себя подвергаю. Часовые больше не были ни равнодушными, ни корректными; слышались окрики и команды. Неожиданно появилось множество военных. Регистрация и изоляция депортируемых завершилась. Мне давно полагалось быть на улице, я же, как только людская масса пришла в движение, понес вещи фрейлейн Вольфф. Никто не знал, что спустя несколько часов крупный багаж погрузят в отдельный вагон, а его от-

цепят и оставят на вокзале. (Потом мы собственными глазами видели, как это проделали с другим эшелонном, отправленным с главного вокзала.) Отобранные вещи, после того как охрана, несомненно, взяла себе самое ценное, распределили между немцами, пострадавшими от бомбардировок.

Но где же тетя Фанни? Она должна была идти в первой трети колонны, ведь мы ушли совсем недалеко, сопровождаемые справа и слева многочисленными конвойными, сохранявшими дистанцию и вооруженными винтовками с примкнутыми штыками. И вдруг я увидел ее – сидящую на краю тротуара, красную от усталости, с умоляющим взглядом. Уже сейчас она была не в силах идти дальше. Не зная, как поступить, я слишком долго колебался и прошел несколько шагов вперед, нагруженный тяжелыми вещами, которые моя старая учительница никогда бы не смогла нести самостоятельно. Колонна увлекала меня дальше, не давая задерживаться. Я успел оглянуться, наши глаза снова встретились, и я поймал ее взгляд, умоляющий, укоризненный – и последний, потому что больше я ее никогда не видел.

Что мог я, что должен был сделать? Выйти из колонны? Позаботиться о ней? Обнять? Попытаться утешить? Остаться рядом, пока кто-нибудь не придет на помощь, не обращая внимания на приказы и угрозы охранников? Неспособный что-нибудь предпринять, я пошел дальше. Это событие стало психической травмой, оно глубоко ранило два сердца, и моя боль, усиленная чувством вины, никогда не пройдет.

Оказавшись на строго охраняемом вокзале, я вспомнил о родителях, которые и не догадывались, где я и что делаю. Кроме того, мне пришлось оставить большой чемодан у злополучного вагона, который загружали железнодорожные служащие. Фрейлейн Вольфф

в величайшей тревоге потребовала, чтобы я каким-нибудь образом немедленно покинул вокзал. Было ясно, что всех находящихся на вокзале охранники считают тщательно отобранными и подлежащими депортации. Поэтому все мои попытки объяснить суть дела одному из них успеха не имели. Не удалось убедить ни второго охранника, ни третьего. Я уже почти смирился с судьбой, когда солдат, стоявший на углу оцепления, дал мне знак исчезнуть как можно скорее. Я еще слышал, как он объясняется с другим, стоявшим шагах в десяти и наблюдавшим происходящее, но уже несся прочь и вскоре очутился на каком-то мостике, за пределами видимости и вне опасности.

От горя я едва мог дышать. Это была скорбь без слез, не поддающаяся описанию. Рут, мою тайную любовь, увели и ее. Совершенно подавленный, я вернулся домой. До сих пор я не решался никому рассказать об этом случае.

Наверное, кто-нибудь довел тетю Фанни до вокзала. В то время на глазах у кенигсбержцев еще не расстреливали – так стали поступать позже, и уж тогда-то избежать «выбраковки» не удавалось никому.

Я пытаюсь представить себе смерть этих людей. Как велики были их мучения, с какой силою их охватывало чувство покинутости и отчаяния? И вообще, почему мучительной должна быть не только жизнь, но и смерть? Со Всевышним, ответственным за человеческие судьбы, я издавна не в ладах, но среди допускаемых им несправедливостей, самой большой я считаю неравную по тяжести смерть: это, по-моему, много хуже, чем неравная по тяжести жизнь.

Никто не знает, куда ушел тот поезд. Может быть, в недалекий отсюда концлагерь Хельмно, где были опробованы первые газовые камеры, может быть, в Ригу, может быть, в Освенцим.

Я был одним из них, они были частью моего «я», и эту часть словно ампутировали.

Но я сильно забежал вперед – видимо, из потребности, разом погрузившись в болезненные воспоминания, преодолеть внутреннее препятствие, мешающее начать рассказ.

## Нидден

Вместе с отцом, матерью и сестрой Мириам я сажусь на Северном вокзале в поезд, прицепленный к локомотиву, пыхающему клубами дыма и пара, свистящему и плюющемуся сажей. Мы сидим в открытом вагоне и едем мимо деревенок, которые отсюда кажутся игрушечными, вроде тех, что мы строили дома из кубиков. Домики и сараи образуют двор, по нему расхаживают куры и утки, ко двору примыкает огород, за ним начинаются поля. Повсюду видны лошади и собаки, главные помощники человека. Все это гармонично сочетается со слегка холмистым ландшафтом. Местность называется Земландией и по праву пользуется у жителей Восточной Пруссии большой любовью.

Мы доезжаем до Кранца и пешком идем в гавань. Я поражен видом парохода, он кажется огромным. Он должен доставить нас на Куршскую косу, в Нидден. Когда я перехожу по трапу на стоящий у причала корабль, меня охватывает радостное волнение.

Вильгельм фон Гумбольдт очень любил Куршскую косу и Нидден. Тот впоследствии стал чем-то вроде восточного Ворпсведе: сюда приезжали Ловис Коринт, Шмидт-Ротлуфф, Васке, Пехштайн и многие другие художники, а из музыкантов и композиторов здесь бывали Хумпердинк, Отто Беш, Эрвин Кроль и мои родители. Все встречались в гостинице «Блоде». Развешанные по ее стенам картины составили бы сегодня гордость многих музеев. У Томаса Манна в Ниддене была дача. Говоря о Ниддене, нельзя не упомянуть

и Агнес Мигель, влюбленную в природу, правда, несколько далеко зашедшую в своем увлечении родным краем. Кете Кольвиц отдыхала в Раушене – еще одном идиллическом местечке на земландском побережье.

Несколько лет подряд мы проводили каникулы на косе. В моих воспоминаниях эти годы слились воедино, и самые значительные впечатления этого времени сохранили свою яркость. Неглубокий тихий залив по одну сторону узкой косы, волны Балтийского моря – по другую. На этой совершенно особенной полоске суши, покрытой песчаными дюнами и лесом, встречались лоси и редкие виды птиц. На берегу располагались уютные рыбацьи поселки, и Нидден был одним из них. Живописные домики, частью крытые соломой, были окружены любовно возделанными садами. На берегу залива не умолкает плеск мелких волн, непрерывно бьющихся о толстые деревянные борта рыбацких лодок и шаланд – неуклюжих широких посудин без киля и с боковыми швертами для плавания по мелководью. На вершинах их мачт вместо флюгера крепились искусно вырезанные из дерева куршские вымпелы с символикой и изображениями предметов повседневного обихода, служившие заодно своего рода семейными гербами. Причальные мостки, развешанные для просушки сети, шесты. Рыбаки, дымящие трубками, собаки и кошки. Все здесь пропахло рыбой, которую вялили прямо перед домом или потрошили и коптили на берегу. Мы, дети, собирали для копчения «крушкен» – сухие еловые шишки, валявшиеся повсюду. В награду нам давали по маленькой свежескопченной рыбке – нет ничего вкуснее!

Каждый день мы отправлялись на другую сторону косы, чтобы искупаться в море. Купались там нагишом. Но лучшее время для нас, детей, наступало после полудня, когда мы таскались по пятам за деревенскими



мальчишками, помогали им в работе или просто глазели и часто только мешали. Они чувствовали свое превосходство над нами, городскими, и имели на это полное право. Ведь это они умели скакать без седла, мастерски управлять лодкой при помощи длинного шеста, сбивать масло, чинить сети, кормить кур и свиней, бегать босиком по жнивью и латать крыши. Приходилось им и чистить нужники, и тут своею бывалостью они нас приводили в состояние настоящего шока. Нужники для этого годились как нельзя лучше, стоит только их себе представить. Располагались они позади домов, несколько поодаль от картофельного поля, и являли собой простые деревянные будки с двумя дверьми, к которым вели ступеньки. Атрибутом каждой двери было выпиленное сердечко, служившее одновременно смотровым и вентиляционным окошком, а за дверью имелась скамья с круглым отверстием. Под отверстиями, довольно глубоко, находились большие бадьи, которые требовалось периодически опорожнять. Добраться до них можно было с задней стороны уборной, откинув большие деревянные крышки. Открывался вид не только на содержимое бадей, но и на круглые отверстия в скамье – стоило только поднять глаза. С озорным удовольствием Ханс, сын рыбака, дожидался того момента, когда оба отделения оказывались занятыми, чтобы тихонько подвести меня к крышкам, осторожно откинуть их и... – одного взгляда хватало, чтобы осталось неизгладимое впечатление.

Приключениями иного рода были прогулки на лодках, рыбная ловля и поиск лошадей. Дело в том, что лошадей, лишь только отпадала необходимость в них, пускали свободно пастись. На узкой косе это было совершенно безопасно, но неудобство заключалось в том, что в случае надобности приходилось искать их часами, а то и целый день. Телеги были единственным сред-

ством для перевозки людей и грузов, если не считать медлительных лодок. (Автомобильное движение было запрещено по всей косе.) Когда же лошадой удавалось наконец отыскать, их нужно было еще поймать, что нередко заканчивалось неудачей, если весь припасенный для приманки хлеб скармливался понапрасну.

Брат моего отца, Карл, был известным и высокоодаренным художником. Отец тоже любил рисовать. Я часто сопровождал его на прогулках, захватив с собой бумагу и пастельные карандаши, и он постепенно учил меня по-новому видеть мир: различать цветовые оттенки, формы, линии и контрасты. Именно отцу я обязан тем, что понимаю и люблю живопись. Обращал он мое внимание и на разнообразных птиц, которых здесь водилось великое множество, на их голоса и мелодии. Но больше всего нас, детей, увлекали аисты. Они гнездились на крышах, громко щелкали клювами, и наблюдать за ними было всегда очень легко. Мы давали аистам имена и ловили для них лягушек.

Прогулки неизменно приводили нас к дому Томаса Манна – красивой даче на заросшем холме на окраине Ниддена. Иногда вместе с нами ходили гулять и Шепсы. Они были нашими друзьями, и у них была дочь моего возраста – Ренате. Она стала моей первой любовью, а выдал я себя тем, что постоянно дразнил ее, доводя порой до слез. Почему-то это меня завораживало.

Своеобразная красота ландшафтов косы была восхитительна. Огромные «блуждающие» дюны из тонкого золотого песка почти отвесно обрывались со стороны, обращенной от моря к заливу. Они достигали восьмидесяти метров в высоту, и в ветреный день на самом их гребне взвивающиеся в воздух песчинки кололи кожу словно иголками. Выдержать это можно было только как следует одевшись. Иногда мы съезжали по отвесным склонам дюн, увлекая за собой лавины песка. Эти

развлечения не приветствовались, ведь песчаные горы довольно быстро приходили в движение, погребая под собой все, что встречалось на пути. Мертвые дюны, живописно наплывающие друг на друга, сменялись поросшими травой холмами. Тут же сосновые лесочки с покрытыми цветами лужайками. Над головой – постоянно меняющееся небо: то ослепительно голубое, то в причудливых облаках. Стрекозы, жуки, ящерицы – вся живность была нам знакома и нами любима. Несколько таинственными оставались лишь лоси, скрывавшиеся в лесу. Чтобы увидеть их на водопое на берегу залива, нужно было встать при первых лучах зари. Мы тихонько крались по мягкому песку мимо мостков в камышах, мимо лодок и поставленных на якорь шаланд, пропахших смолой и, как все на косе, рыбой. Бесперывно плескались волны. Но боязливые лоси чуяли нас издалека и уходили.

По утрам и вечерам на зеркальной глади залива появлялся белый пароход, курсировавший между Кранцем и Мемелем. Всякий раз безобразные клубы дыма из его труб застилали небо и подолгу не рассеивались после того, как грязнуля скрывался за горизонтом. Местные жители, преимущественно рыбаки, сочетали в себе восточную добросердечность с фризской невозмутимостью. На них можно было положиться – слово их было твердо. Нельзя было себе представить, что покой этих мест будет нарушен. И действительно, куда позже, чем в других местах, здесь зазвучали воинственные песни, а ходившего из села в село паяльщика начали обзывать «жидом». Поездки в Нидден прекратились, хотя «Нида» все еще находилась «под литовским управлением».

Каникулы на Куршской косе относятся к моим самым любимым детским воспоминаниям. Они, несомненно, способствовали тому, что в дальнейшем я никогда не

терял надежды на лучшее и всегда любил жизнь. В минуты тяжелейших испытаний эти воспоминания были мне утешением и давали мне силы.

## Школа немецкая

Другие воспоминания складываются из отдельных сцен, часто как будто незначительных, но, вне всякого сомнения, оставивших глубокий след, ведь внутренний мир ребенка расширяется, главным образом, благодаря самым первым впечатлениям. Первый испуг, первые контакты, первый домашний концерт, первое посещение зоопарка, детского сада, картинной галереи и т. д.

Бабушка Дженни помогает маме, причем не только заботится о порядке, тщательно застилая постели, которые я затем снова разворошу, но и декламирует по памяти стихи и баллады, а некоторые и напевает дрожащим старческим голосом.

Многосторонне образованная и наделенная удивительной памятью, бабушка была еще и хорошей пианисткой с абсолютным слухом. Она поощряла мои импровизации на мягко звучащем рояле «Блютнер» и своими историями будила фантазию. К сожалению, это продолжалось очень недолго. Однажды в коридоре послышался шум: бабушка упала и сломала шейку бедра. Ее пришлось поместить сначала в больницу, а затем в дом престарелых, где она прожила еще несколько лет. Время от времени мы, дети, навещали ее. Она лежала в постели, радовала нас небольшими подарками и что-нибудь декламировала. Но день ото дня слабела, становилась бледней, тише, пока однажды не скончалась. Это чрезвычайно поразило и глубоко тронуло нас. Для меня это было первое знакомство со смертью.

Очень живо запечатлелись в моей памяти и визиты к тете Ребекке. У Пышки, как ее любовно называли, были растрепанные белые волосы, она носила брошь с женской головкой, жила в окружении книг, картин, фотографий, старомодной мебели и цветного фарфора. Она разрешала мне и Мириам осторожно повозиться с пишущей машинкой, обучала нас играть в «ромме» и угощала какао с сахарным печеньем «американец». Посещали ее также тетя Фанни и другие наши еврейские родственники. Позже я узнал, что эти встречи, всегда без отца, были празднованием субботы. Будучи верующими, хотя и не ортодоксальными евреями, мои родственники имели обыкновение собираться в пятницу вечером и при свете двух свечей съесть маковую плетенку с маслом.

Все эти маленькие семейные праздники проходили под знаком неписаного и, по-видимому, из древнего обычая возникшего правила «быть хотя бы в этот вечер как можно более терпимыми и добрыми друг к другу». Оттого-то и запомнилась мне царившая на них атмосфера умиротворения. Люди были взаимно предупредительны, не суетились, не спешили. Гармония в отношениях и празднование субботы сливались для меня воедино, что и привлекало меня в иудаизме. Но главным, что повлияло на мое отношение к еврейству, явилась, несомненно, общая политическая обстановка. К этой теме я постоянно возвращался, причем важное место в моих размышлениях заняли представления о Боге, всю жизнь менявшиеся.

Незабываемые часы проводили мы, катаясь на санках с горки на Луизенвале или на лыжах на Файльхенберге. Плавать я учился в прудах Хаммертайхе. Гулять отправлялись в Юдиттен и Земландию. Воистину, район Хуфен был красивейшим местом!

Затем началась школа, разделившаяся для меня

надвое. Сперва я провел год в городской общеобразовательной школе, а потом посещал частную еврейскую. Две школы – два мира, ничуть не похожие друг на друга. Характерным для моих родителей было еще и в 1935 году надеяться, что я смогу прижиться в немецкой школе.

Соседский мальчик Клаус учился там же, и в школу мы ходили вместе. Добродушного Клауса не волновало, что я не стал членом Юнгфолька, не носил соответствующей формы и не посещал нацистских мероприятий, а в это время не проходило и месяца без национал-социалистских празднеств, шествий, собраний и т. п. Однако постепенно большинство моих сверстников начало обращать внимание на мое неучастие в таких мероприятиях. Наряду с прессой и радио, клевету о евреях распространяли, к сожалению, и многие взрослые, воспитатели, а порою даже священники. Зачастую это были «обычные» шуточки и анекдоты об «Ицике» и «шахер-махере», но теперь ими пользовались, чтобы официально демонизировать евреев и сообщать правдоподобие самой лживой пропаганде. А поскольку подавать голос в защиту евреев и вообще высказываться вразрез с официальной точкой зрения запрещалось, эти подстрекательства разъедали души беспрепятственно, словно неразведенная кислота.

Мне не повезло с классной руководительницей, молодой и восторженной приверженкой национал-социализма. Звали ее госпожа Коске, и в моей памяти она оставила неприятный след. Она приветствовала класс бодрым «Хайль Гитлер!», и отвечать полагалось стоя. Еще при знакомстве с личными делами установив, что в классе есть мальчик «моисеева» вероисповедания, она не упускала случая, чтобы не отозваться о евреях с презрением и даже с отвращением, хотя, подобно большинству антисемитов, по всей вероятности, не

была знакома лично ни с одним евреем. Свой антисемитизм она проявляла, например, так: «Хайль Гитлер, дети! Сегодня с вашей помощью я заполню анкеты. Для этого мне нужно знать воинские звания и награды ваших отцов, а также место их службы – на фронте или в тылу». Кроме трех мальчиков и меня, все семилетние дети знали, кем были их отцы в первую мировую войну. Трое незнавших получили разрешение сообщить нужные сведения на следующий день, мне же было велено пойти справиться домой прямо сейчас. Мама, несколько удивившись, поручила сказать, что отец служил не на фронте, а в лазарете. Вернувшись в школу, я сообщил о том, что узнал, и в первый момент не понял, что имела в виду госпожа Коске, когда, обратившись к другим детям, воскликнула: «Вот видите, так я и думала! Такой человек, конечно, и не воевал!» Ощущение, что была выискана причина, чтобы унижить меня, дать мне почувствовать мою неполноценность, оказалось настолько сильным, что и сегодня при воспоминании об этом эпизоде мне делается больно за себя и за своих родителей.

В другой раз это было незадолго до начала занятий. Она стояла на верхней площадке длинной школьной лестницы, по которой мы все поднимались, прежде чем вежливо поздороваться с нею, причем одни говорили «Доброе утро», другие – «Хайль Гитлер». Когда я произнес «Доброе утро», она злобно набросилась на меня: «Марш вниз, и мы еще раз посмотрим, знаешь ли ты, как в новой Германии здороваются со своей классной руководительницей!» Я понял, что она имеет в виду, и, глубоко обиженный, под любопытными взглядами одноклассников и многих других мальчиков, снова поднялся по длинной лестнице и послушно произнес: «Хайль Гитлер, госпожа Коске». Но это ее несколько не удовлетворило. Наслаждаясь своей властью и разы-



грываемым спектаклем, она приказала мне снова взойти по лестнице и при приветствии поднять правую руку, «как подобает приличному мальчику». Я выполнил и этот приказ, а что мне оставалось делать? После таких подстрекательств мои одноклассники начали все больше издеваться надо мною и все чаще с рукоприкладством.

Однажды пронесся слух: «Едет фюрер!» В тот день Гитлер посещал Кенигсберг, и всех школьников выстроили в шеренги вдоль улиц, по которым он должен был проследовать. Недалеко от выделенного нашему классу отрезка улицы, примерно в четыре метра, госпожа Коске велела нам построиться в шесть рядов. Улицы уже были оцеплены штурмовиками в коричневой униформе, сдерживавшими толпы. Мы промаршировали по тротуару до отведенного нам места, где получили команду «стой» и «налево». Теперь мы стояли, по-прежнему в шесть рядов, вдоль проезжей части. Я случайно оказался в первом ряду, откуда можно было без помех наблюдать грандиозное зрелище, которому, по слухам, предстояло начаться через полчаса. Весь участок следования тем временем заполнился зрителями, людьми в униформе и знаменами. Поскольку каждой семье было предписано вывесить из окна минимум по флагу, Кенигсберг уподобился волнующемуся морю полотнищ со свастикой. Через каждые пятьдесят шагов над улицей висели транспаранты, возвещавшие: «Народ – рейх – фюрер!», «Да здравствует любимый фюрер!» и др.

Видимо, в тот день моим родителям пришлось отправить меня в школу, но они, конечно, не знали, что школьникам предстоит стать ликующей толпой. Во всяком случае, я снова оказался в затруднительном положении, поскольку, разумеется, тоже был заморожен этим грандиозным спектаклем, охвачен всеоб-

щим возбуждением и ожиданием и в глубине души хотел быть сопричастным происходящему и вместе со всеми искренне ликовать. Время от времени мимо нас проезжали блестящие автомобили, в которых сидели страшно важничающие минигитлеры в черной или коричневой униформе, и всякий раз мне казалось, что наступил исторический, как называла его госпожа Коске, момент. Но полчаса ожидания превратились в полтора, а затем в два. Между тем улицы наполнились до отказа, и казалось, что теперь уже, действительно, недолго осталось ждать. До сих пор отчетливо помню общее экстатическое состояние. Все упивались чувством собственного достоинства, а те, кому оно было прежде незнакомо, – его обретением. Все ощущали себя энергичным, великим и смелым народом, получившим от Бога гениального вождя, способного решить любую задачу. О чем бы ни шла речь – о национальном самосознании, смысле жизни, воспитании, культуре и расовых проблемах или о расценочных нормах, экономике и безработице, ему был ведом правильный ответ. Величайший вождь всех времен, как называли Гитлера его приближенные, он обещал сделать Германию центром Вселенной.

И тут вдалеке, будто шум прибоя, послышалось ликующее «Хайль!», исторгаемое тысячами глоток. Наконец-то великий момент настал. Но внезапно суровый и резкий голос госпожи Коске (она как раз вышла вперед, чтобы быть поближе к любимому фюреру) поразил меня, словно удар: «Что-о, еврей – в первом ряду?! Об этом не может быть и речи! Немедленно встань в задний ряд, а ты, Хорст, выйди вперед!» До сих пор помню испуганный и удивленный взгляд стоявшего передо мной штурмовика. К счастью, общее внимание вновь приковал к себе нарастающий гул и почти истерический крик. Смотреть было пока не на что. Снова

глубоко задетый и охваченный бурей непонятных мне чувств, я больше всего желал немедленно раствориться в воздухе.

После того как крики «Хайль!» докатились и до нас, я разглядел между затылками одноклассников сначала несколько автомашин, а затем диктатора, поднявшего в приветственном жесте правую руку и принявшего позу строгой, неумолимой мужественности. Все это показалось мне нереальным, словно увиденным изда- лека. Как хорошо, думаю я сегодня, что в тот миг я не зашелся ликующим воплем вместе со всеми вокруг. Этого я бы себе никогда не простил. До сих пор каждое вынужденное «Хайль Гитлер!», некогда произнесенное мною, кажется мне трусливым отречением от Бога, богохульством. Извиняет меня лишь то, что мне было семь-восемь лет; к тому же ответственность за содеян- ное под угрозой падает и на шантажиста. К этой теме я не раз еще вернусь.

Столь сильные унижения, конечно, не могли остаться без последствий. Но ранили и многочисленные мелкие замечания, колкости и, если дело доходило до спора, непременные оскорбления с использованием слова «еврей». Я начал часто болеть, сон мой, как рассказала впоследствии мама, становился все беспокойнее. И хотя родителям была известна лишь малая часть того, что происходило, они верно угадали мое душевное со- стояние и, слава Богу, забрали меня из немецкой обще- образовательной школы и отдали в еврейскую частную. Так закончился мой тяжелый первый учебный год, а о том, что очень скоро ситуация сильно ухудшится, знать я не мог, разве что догадываться. Пока же переход в еврейскую школу стал для меня спасением. Вспоминаю в этой связи, как однажды мама резко оборвала мои жалобы, сказав: «Как же ты не понимаешь, что куда по- четнее быть гонимым, чем преследователем».

Следует, впрочем, заметить, что такая атмосфера не была типичной для всех немецких школ. Например, моя сестра, ходившая в школу для девочек, почти не страдала от антисемитизма и только тогда перешла в еврейскую школу, когда того потребовал закон.

## Школа еврейская

Город словно из сказки, Кенигсберг всем покорял детское воображение. В центре располагался внушительный замок, перед ним стоял громадный Вильгельм I в короне и с поднятой саблей. В четырехугольном дворе замка имелся винный погребок с пугающим названием «Кровавый суд». Неподалеку можно было взять напрокат лодку, чтоб покататься по красивому замковому пруду, в котором плавали утки и лебеди. Живописные подъемные мосты через реку Прегель, из-за которых мы частенько опаздывали в школу, вели к лежащему в центре города острову. Назывался он Кнайпхоф, и над ним величественно возвышался старый кафедральный собор. Там я, совершенно потрясенный, впервые в жизни слушал «Страсти по Матфею». У стен собора покоится философ Иммануил Кант, слова которого отлиты на памятной доске, укрепленной на стене замка. Восторженные слова о звездном небе – им я тоже восхищался, и о присущем человеку моральном законе – его я впоследствии искал, но всегда тщетно, так что разуверился в его существовании.

Многочисленные старые склады, у которых то и дело разгружались баржи, извилистые узкие переулки и мощные ворота крепостных стен свидетельствовали о древней истории и превращали город в место действия легенд и сказок, куда более занимательных, чем книжки с картинками. Таинственным казался и оперный театр, в котором отец играл на скрипке. (В 1935 году ему пришлось отказаться от руководства организованного им

семинара для преподавателей музыки, а его Кенигсбергскому струнному квартету запретили выступать с концертами.) Большое впечатление производило на меня здание университета, а также многоэтажный книжный магазин «Грефе унд Унцер» – мы называли его «Грунцер» [хрюшка. – примеч. пер.].

Каждый вечер мама читала нам с сестрой что-нибудь вслух. Услышанное, увиденное и пережитое сливались в красочный и многогранный мир, полный загадок, порой томительных. Мне нравилось воображать себя героем прочитанного: я всегда кого-нибудь спасал, мне непременно сопутствовала удача, и, конечно же, мною восхищались и меня любили.

Когда мама перевела меня в еврейскую школу, я просто не мог поверить, что новые учителя и новая обстановка имеют хоть что-то общее со старой школой. Директор, господин Кельтер, начал с того, что угостил меня пирогом. Он накануне женился, был счастлив и своей радостью заражал окружающих. Познакомив нас со своей молодой женой, он попросил ее выйти к нам, вновь надев свадебное платье, что она и сделала после некоторого сопротивления. Все было проникнуто духом доброжелательства. Директор не строил из себя ротного командира, что сразу отличало эту школу от прежней. С приходом сюда в моей жизни начался совершенно новый и очень важный этап. Уроки религии и древнееврейского, еврейские праздники и «субботние часы» по пятницам – все это захватило меня. Классы были небольшие, и девочки с мальчиками учились вместе, что тогда встречалось нечасто. Учеников делили не на любимых и нелюбимых, а на более или менее симпатичных и трудных. Хайни Херрман, например, считался трудным ребенком: он нарушал правила распорядка и удирал от учителей всякий раз, когда они по той или иной причине собирались схватить

его за шиворот. Тогда всем на потеху начиналась игра в «кошки-мышки» по столам и скамейкам, неизменно заканчивавшаяся поражением учителя.

Манфред Эхт, Манфред Хопп, Эрвин Петцалль и Вернер Грумах стали моими друзьями, а во сне мне виделись поочередно Лисбет Данненберг, Хелла Засс, Хелла Марковски и Рут Марвильски. Увлекаемый потоками, подобным магнетическим, я поочередно испытывал то радость, то печаль. Чем сильнее становилась угроза, исходившая от нацистов, тем больше мы нуждались в дружбе и взаимной поддержке. Несомненно, тогда же возникли и первые любовные привязанности.

Еврейская школа занимала боковые помещения большой синагоги, находившейся неподалеку от старого собора, но не на острове, а прямо напротив, на другом берегу Прегеля. С чувством глубокой благодарности я вспоминаю наших наставников – господина Эрлебахера, господина Нусбаума, фрейлейн Вольфф, фрейлейн Хиллер и появившихся позже господина Вайнберга и фрейлейн Тройхерц. Они изо всех сил пытались дать нам как можно больше и создать противовес недружелюбному миру за стенами школы.

Сегодня мне нелегко подобрать слова, чтобы передать свои ощущения, возникавшие при чтении на древнееврейском, при изучении Библии, во время молитв, красочных и веселых праздников. Субботнее чтение Торы, шофар Йом-Кипура, свечи Хануки, маца Песаха, карнавал Пурима – все это производило на меня сильное впечатление и отвлекало нас, пускай всего несколько лет, от творившегося вокруг. Однако вовсе игнорировать политическую реальность мы не могли. Этому мешали, например, частые проводы друзей в эмиграцию. Во время «субботнего часа» господин Кельтер трогательно соединял уезжающих и остающихся символическими «сердечными нитями». Каждое

прощание волновало до слез. Зачитывались письма уехавших, и это повторялось еженедельно.

Поскольку враждебные отношения к евреям все усиливались, не осталось, наверное, ни одной семьи, не задумывавшейся об эмиграции. Но трудно даже вообразить, какие препятствия чинили правительства всех стран бесправным немецким евреям, прежде чем предоставить им право на въезд. И это при том, что всему миру было известно о ежемесячном ужесточении законов о евреях. Законов, лишавших этих людей средств к существованию.

И все же, оглядываясь назад, должен сказать, что в период с 1936 по 1938 год я приобрел такое множество впечатлений, столь много желал и желания мои столь часто исполнялись, что только теперь понимаю, сколь сильно эти годы повлияли на всю мою дальнейшую, прежде всего внутреннюю, жизнь. Мы, дети, лишь выигрывали от того, что энергия взрослых все больше обращалась на сферы духовной культуры. В те годы я еще иногда играл на улице с другими ребятами, время от времени ходил в кино (это пока не воспрещалось), но, конечно же, мне и другим евреям не доставляло никакого удовольствия повсюду сталкиваться с нацистской пропагандой – скажем, с регулярной клеветой на евреев в кинохрониках и киножурналах. Особенно агрессивно велась эта пропаганда в Восточной Пруссии при гауляйтере Эрихе Кохе, пользовавшемся дурной славой. Но нам, детям, еще удавалось избегать прямых соприкосновений со всем этим. Я занимался скрипкой, нам читали вслух классиков, а иной раз мы, разделив роли, исполняли целиком драматические произведения, предназначенные для куда более старшего возраста. Литература и музыка переносили нас из мрачной действительности в светлый мир, несколько отвлеченный, но все же реально существующий.



Живя с пьесами Баха и Моцарта для скрипки, с сочинениями Шекспира и Шиллера (наизусть заучивались целые баллады), погружаясь в еврейскую историю, библейские тексты и молитвы, занимаясь физкультурой и танцами, посещая синагогу, изучая природу в пришкольном саду или на экскурсиях, никто из нас не имел оснований расстаться с верою в добро. Во всяком случае, в то время не имел.

Приходилось, конечно, поволноваться, когда после окончания занятий нас подстерегали целые группы, а то и настоящие банды Юнгфолька. Они лезли в драку, и некоторые из нас защищались мужественно и порой небезуспешно. Но часто приходилось звать на помощь господина Эрлебахера, опытного боксера, чтобы он с боем вызволил схваченных или взятых в кольцо учеников. Благодаря нееврейской наружности, мне доставалось меньше, чем моим товарищам, но позже, когда всем пришлось носить желтую звезду, я несколько раз становился жертвой подлых и жестоких нападений. Как особенно неприятный эпизод мне запомнилось внезапное нападение неизвестного: сильно ударив меня по голове, он мгновенно скрылся.

В сущности, отчет об этом богатом событиями времени, когда, с одной стороны, в условиях диктатуры все чаще наблюдались случаи злоупотребления властью, все интенсивнее шла подготовка к войне, а с другой стороны, в моей душе пробуждались первые любовные и религиозные чувства и возникали художественные наклонности, мог бы составить отдельную книгу.

Мой отец, занимавшийся синологией, любил вести со мной философские беседы. Это происходило, наверное, потому, что я довольно рано и интенсивно начал размышлять о Боге и смерти, причем мое отношение к Богу я охарактеризовал бы как по-детски личное, т. е. соответствующее возрасту, а вот смерти я боялся безмерно.

Трудно поверить, но всего сильнее сказался мой страх смерти на постановке «Вольного стрелка» в Кенигсбергской опере. Не помню точно, в каком году это было, но незадолго до летних каникул, когда оперу посещали реже, отцу пришла в голову мысль сводить нас с сестрой на «Вольного стрелка». Поскольку мать уже не решалась появляться в театре и опере, отец усадил нас в первом ряду одних. Перегнувшись через барьер, мы могли видеть его в оркестровой яме. А прямо перед нами стоял дирижер, статс-капельмейстер Ройс. Свет погас, и первый в моей жизни оперный спектакль полностью захватил меня. Я был настолько поглощен музыкой и происходящим, что, когда началась сцена в Волчьем ущелье, мной овладел такой ужас, какого я никогда не испытывал ни прежде, ни потом. И сегодня помню эти мучения, подобные тем, что ощущает захлебывающийся в воде или падающий с башни. Убежден, что никогда не смог бы сопротивляться смерти столь же отчаянно, как тогда. Почему музыкальные впечатления и страх смерти с такой силой слились воедино, не знаю. Помню, однако, что, когда страх достиг того предела, за которым, казалось, смерти или чего-то гораздо более ужасного не избежать, произошло нечто удивительное – то, что в определенный момент бывает, как я ныне надеюсь и верю, со всяким умирающим или невыносимо страдающим человеком: от отчаяния и бессилия я прекратил всякое сопротивление, сложил оружие перед неотвратимым, и – о чудо! – страх тут же отпустил меня. Как будто разом исчезла непереносимая боль, и я исцелился, а заодно оказался защищен от любой подстерегавшей меня в будущем реальной смертельной опасности. Возможно, этот момент – преодоления страха смерти, а тем самым, наверное, и всякого иного страха – был самым важным в моей жизни. Ныне я нисколько не сомневаюсь в том, что всякий

умирающий испытывает похожее, только гораздо более полное, чувство освобождения.

Я был слишком юн, чтобы правильно понимать оперное действие, так что несколько безвкусная реплика «Не стреляй, Макс, голубка – я!» никак не способствовала развязке моей борьбы со страхом. Потрясшие меня переживания были вызваны самою музыкой и декорациями. Вечером у меня поднялась температура, и, говорят, я был бледен, как полотно. Но я не заболел. Как говорится, самое плохое было позади, я уже исцелился. Оглядываясь назад, я кажусь себе Зигфридом, ставшим под действием волшебства навсегда неуязвимым. Все дальнейшие испытания – бомбардировки, плен, голод, болезни – уже не могли изменить самого главного во мне. Отныне все страхи и заботы носили, скорее, поверхностный характер. Это переживание наделило меня не только силой, но и важнейшей предпосылкой для ощущения элементарного счастья – способностью быть благодарным за то, что просто жив.

## Время «Хрустальной ночи»

Каким образом встречавшееся тут и там враждебное отношение к евреям – именно так я определил бы антисемитизм – смогло у многих превратиться в личную ненависть, настоящий психоз?

Преследования евреев начались уже в 1933 году, когда Гитлер отменил демократию «Законом о полномочиях» и последовавшими за ним распоряжениями. Началось с бойкота еврейских магазинов и принятия законов об увольнении евреев с государственной службы (от 7 апреля 1933 года), их недопущении к членству в имперской палате деятелей культуры (от 22 сентября 1933 года) и работе в средствах массовой информации («Закон об ответственных редакторах» от 4 октября 1933 года). Затем последовал период систематической антисемитской пропаганды, а с принятием в 1935 году Нюрнбергских законов евреи были окончательно выделены в особую категорию. «Закон о гражданах рейха» и «Закон о защите немецкой крови и немецкой чести», практически запрещавшие – впоследствии под угрозой смертной казни – любую интимную связь с евреями, а также разделение жителей Германии на «граждан рейха» и на лиц с более низким правовым статусом, называемых просто «государственными подданными», – финалом этого процесса дискриминации в отношении меньшинств стали лагеря смерти. Только к 1939 году, когда началась война, было принято свыше 250 антиеврейских постановлений.

Как это часто бывает в человеческом обществе,

стоит власть имущему дать понять, чего он хочет, и сразу же многочисленные карьеристы бросаются с великим усердием выполнять его желание, чтобы добиться расположения. Чиновники, судьи, профессора, школьные учителя, деятели искусства, журналисты и даже некоторые духовные лица принялись обвинять евреев во всех смертных грехах и возлагать на них ответственность за все несчастья. Многие пользовались этим ради льгот и продвижения по службе, а те, за чей счет это делалось, обрекались на невыразимые страдания, прежде чем стать жертвами безжалостного истребления.

Никому в Германии не было дано избежать действия национал-социалистской пропаганды: благодаря радио, прессе, плакатам и циркулярам, она проникала в сознание каждого. Человек шел в кино и у входа видел табличку «Евреи нежелательны», а киножурнал напоминал, что «евреи – наше несчастье; они виноваты во всем и готовят новую войну». О том же писали в газетах и говорили на партийных и производственных собраниях. Даже на скамейках в парках и на дверях магазинов и ресторанов указывалось: «Евреям воспрещается». В подстрекательстве участвовали авторы шаржей и фотомонтажей, куплетисты и рифмоплеты. С невероятной скоростью были переписаны учебники для школ и университетов, и горе тому, кто хотя бы робко пытался вступить за евреев. Книги, картины, музыкальные произведения, все свидетельства значительного участия евреев в немецкой культуре уничтожались или замалчивались. Каждое профессиональное товарищество могло исключить еврея из своих рядов, сославшись на «арийский параграф». Административные предписания и судебные решения лишали евреев правовой защиты. Конечно, большинство немцев не думало, что все это закончится массовыми убийствами.

Но разве можно было безучастно взирать на бесправное и униженное положение своих сограждан-иноверцев, а то и перешедших в христианство?

Неудивительно, что очень скоро и не только в глазах детей и подростков евреи сделались воплощением мирового зла; по сравнению с ними «черный человек», ведьма и черт оказывались безобидными тварями. Не многим лучше приходилось коммунистам и цыганам. Но когда позднее в концлагерях осужденные по уголовным статьям, по политическим статьям и евреи должны были носить на одежде разные нашивки, то делалось это для того, чтобы именно евреев поставить в наиболее невыгодные условия содержания, питания, лечения и труда. Все эти меры, к сожалению, узаконивались псевдонаучными трудами ученых честолюбцев, и «теоретики расы» сыграли здесь особенно скверную роль.

Конрад Лоренц, будущий нобелевский лауреат, а в то время ординарный профессор кафедры общей психологии в Кенигсберге, писал в 1940 году: «... заботясь о расовой чистоте, следует подумать о более решительной, чем существующая ныне, выбраковке морально неполноценных ... в случае рака страдающему человечеству нельзя посоветовать ничего иного, кроме как можно более раннего выявления и удаления опухоли ... мы должны и мы можем в данном вопросе положиться на здоровые чувства лучших из нас и доверить им отбор, от которого зависит будущее нашего народа». (Я еще скажу об этом подробнее.) «Лучшие», а ими в то время были преступники и убийцы, нуждались именно в таких ученых, чтобы узаконить свои действия по отношению к инвалидам и психически больным, евреям, цыганам и, естественно, всем оппозиционерам, которые именовались просто «врагами народа». Здесь я хотел бы помянуть тех, кто жизнью поплатился за свое

инакомыслие. Вряд ли кому-нибудь ныне удастся подсчитать, какую долю населения составляли страдавшие от творившейся вокруг несправедливости и не поддавшиеся массовому психозу. Поначалу их было, конечно, немало: робких и запуганных, подвергавшихся угрозам и преследованию. Но численность совращенных, увы, все возрастала – и стремительно.

В целях тщательного отбора «подлежащих выбраковке» были введены удостоверения для евреев, добавочные имена Сара и Исраэль и прописная буква «J» [от «Jude», еврей. – примеч. пер.] на паспортах. Оставалось только обязать евреев носить желтую звезду, что и сделали в 1941 году, и полностью изолировать их в концлагерях и гетто. Выбраться оттуда мало кому удалось, там «выбраковкой» занялись с размахом. Но сперва естественным следствием подстрекательств и все новых административных предписаний стали поджоги синагог и нападения на еврейские магазины и школы. Можно себе представить, как все это угнетало ребенка в возрасте от восьми до одиннадцати лет.

То обстоятельство, что конец тридцатых годов был для меня еще и прекрасным временем, насыщенным множеством ярких впечатлений, лишь кажется противоречием. Мир ребенка во многом довольно независим, да и как забыть лавочника, угощавшего меня конфетами, когда рядом никого не оказывалось, как забыть некоторых соседей, относившихся к нам подчеркнуто дружески и сердечно. Эти эпизоды я всегда отмечал для себя с большим облегчением.

Для меня не оставалось тайной, что все они испытывали сильнейший страх и не могли его не испытывать. А с началом действия законов военного времени и предписания об обязательном ношении желтой звезды, сочувствие к евреям влекло за собою неприятности по службе, а то и угрозу для жизни. Время для действитель-

ных протестов было бесполезно упущено, и это следует поставить в упрек прежде всего официальным представителям церкви – имели ведь успех их энергичные протесты против удаления из классных комнат распятий и против умерщвления душевнобольных. И разве «распни его!» и страсти Христовы не служили красноречивым предостережением против допущения такового в будущем? Чему научила Голгофа верующих христиан эпохи Гитлера, если они могли спокойно смотреть на то, что происходит, проявлять терпимость к преследованию и уничтожению своих невинных сограждан только за то, что те – евреи? А ведь евреями были – кто ж этого не знал? – Мария, Иосиф, Иисус и апостолы.

Стены все чаще пачкали надписью «жид, сдохни!», это пожелание приходилось ежедневно видеть на синагоге или на школе. Гитлер, начавший систематическую подготовку к войне, 30 января 1939 года заявил в рейхстаге: «Если евреям-капиталистам внутри и вне Европы удастся еще раз ввергнуть народы в мировую войну, то результатом станет не большевизация Земли и тем самым победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе».

Рубеж 1938 и 1939 годов был исполнен колоссального напряжения, ожидания большой беды. Последняя – короткая и рассчитанная на внешний эффект – передышка имела место давно, два года назад, когда в Берлине проводили олимпиаду.

Мы, дети, разумеется, весьма смутно понимали смысл происходящего. Я ощущал только озабоченность родителей и приближение опасности. Ведь постоянной темой разговоров были тревожные события, например, новые предписания евреям, которые в полной мере затрагивали маму и нас с сестрой как родившихся от смешанного брака, некрещеных и воспитанных в иудаизме. Несмотря на все это, мои мысли и чувства куда сильнее



занимали вещи совершенно иного рода. Так, однажды мама сказала, что семейство Херрман собирается эмигрировать и я могу взять себе несколько конструкторов фирмы «Мерклин». Однако забрать их нужно прямо сегодня. Я немедленно отправился к ним и получил четыре ящика с железными деталями, винтами, гайками и колесами. Правда, ящики эти были такими тяжелыми, что я чуть не надорвался, пока тащил их от трамвайной остановки у Луизенкирхе по длинной Шреттер-штрассе до нашей квартиры на Штайнмец-штрассе. Но удовольствие того стоило: замечательные получались краны и машины.

К нам частенько заходил соседский мальчик Клаус Норра, чтобы поиграть со мной. Его семья не верила антиеврейской пропаганде, ведь мы с ними постоянно общались и отлично ладили. Разумеется, визиты к нам Клаусу приходилось скрывать, но это было нетрудно, потому что на четвертом этаже жили только мы и семья Норра. Так вот и играли с конструктором «Мерклин» и другими игрушками член Гитлерюгенда Клаус, зачастую в своей коричневой униформе, и еврейский мальчик Михаэль. Дружбе способствовало еще и то, что наши сестры – моя, Мириам, и его, Лило, бывшие старше нас соответственно на три и на четыре года, – тоже хорошо относились друг к другу. Иногда извлекался проектор «Латерна магика», и, всякий раз заново вдохновляясь, мы рассказывали друг другу одни и те же истории – о Карлике Носе, Спящей Красавице и пр. Если мама звала меня заниматься скрипкой, Клаус играл в соседней комнате один, пока я разучивал, скажем, вариации Корелли «La Follia».

Я любил скрипку и занимался, как правило, охотно. Любил я также ежевечерние чтения вслух, причем маме удавалось и самых сложных классиков преподнести увлекательно и интересно. Конечно, для гетевской

«Ифигении», а тем более «Торквато Тассо» я был еще слишком мал, но шиллеровские «Разбойники» или «Валленштейн» были именно то, что надо. Мне нравилось и в школу ходить, и читать. В еврейском спортивном обществе «Бар-Кохба» я числился одним из лучших легкоатлетов, а вот правописание и арифметика мне не давались. Зато все остальные предметы – древнееврейский, религию, музыку, немецкий, биологию и др. – я любил. Мои опыты в рисовании и сочинении стихов и музыки находили признание.

Бар-мицва, обряд принятия подросткового мальчика в еврейскую общину, как правило, требует длительной подготовки, чтобы тринадцатилетний посвящаемый мог «пропеть» тексты из Торы. Бар-мицва проводится во время субботней службы в присутствии всей общины. Поэтому я заблаговременно начал посещать занятия по подготовке к бар-мицве и учить свои «мапах, пашта, мунах, сегол» – мелодические шаблоны для субботнего пения Торы. Ее текст, разбитый на пятьдесят с лишним разделов, снабжен этими вокальными схемами во избежание индивидуальной произвольной огласовки, искажающей смысл текста. Но в Торе, написанной от руки на пергаментной свитке, эти значки отсутствуют, почему их и полагается заучивать наизусть по специальным книгам. Что вовсе не так просто. (Тора – еврейская святыня. Никто не знает ее точного возраста. Время происхождения датируется предположительно периодом с X по V век до н. э.). Оба свитка, непременно украшенные серебром и золотом и обернутые в бархат, хранятся в синагоге в прекрасно отделанном резном шкафу как высшая святыня. Чтение отрывков из Торы становится апогеем субботнего богослужения. В субботу, когда совершается бар-мицва, тринадцатилетнему подростку впервые разрешается совершенно самостоятельно «пропеть»

один из разделов Торы, накинув на себя белый, часто с вплетенными черными и серебряными нитями талес. Через два года это предстояло сделать и мне. Я готовился к бар-мицве серьезно и чувствовал себя обязанным хорошо выполнить то, что от меня ожидали. Я уже знал «Шма Исраэль» и дюжину древнееврейских благословений.

Как не подлежащий обсуждению воспринимался тот факт, что бар-мицва – мужской обряд, и тем самым еврейской женщине отводится подчиненная роль. Поэтому и в богослужении она не принимает активного участия. Нельзя, впрочем, сказать, что эта дискриминация сопровождается недостатком уважения. Вовсе нет. Но женщине положено прежде всего служить семье, поэтому особенно незавидна участь незамужней еврейки. Однако и замужней, естественно, приходится мириться с отведенной ей ролью. Все эти правила основываются на толковании Торы, т. е. выведены из Пятикнижия Моисея.

Правоверный иудей пытается во всем руководствоваться заповедями Торы, что практически невозможно. Особенно абсурдны, с нашей сегодняшней точки зрения, законы о пище и омовении. Столь же абсурдны, каким было бы подчинение современного городского транспорта правилам движения каравана по пустыне. Но всякий, кто хочет быть добропорядочным иудеем, старается следовать как можно большему числу заповедей, и каждую субботу у него возникают трудности. Нельзя работать, но что, собственно, считать работой? Нельзя пользоваться транспортом, иметь при себе деньги, заниматься покупками и многое другое. Голова кругом шла от невозможности быть последовательным в соблюдении правил и от затруднений в их интерпретации, но я чувствовал себя иудеем и таковым считался.

Однажды утром родители были очень взволнованы и озабочены. Они не пустили меня в школу и рассказали, что синагогу, а следовательно и нашу школу, разгромили и сожгли. Детей из находящегося поблизости сиротского приюта выгнали ночью в одних пижамах на улицу, а господина Вольгайма, заведующего приютом и младшего кантора, жестоко избили и чуть не бросили в Прегель, на набережной которого приют находился. Множество евреев-мужчин было арестовано и отправлено в тюрьмы гестапо. Рано утром госпожа Винтер, одна из наших знакомых, собрала сирот и взяла к себе домой. Жилищные условия ей это пока позволяли.

Я был ошарашен и хотел непременно повидаться со своими школьными друзьями, но выйти из дому мне не позволили: в тот день имелись основания опасаться за свое здоровье, свободу и жизнь. Радио и газеты сообщили об убийстве в Париже: Гершель Грюншпан застрелил сотрудника немецкого посольства, желая отомстить за своих родителей, оказавшихся среди 17000 «не имеющих гражданства» евреев, которых 28 октября 1938 года выдворили в Польшу. Геринг и Геббельс немедленно воспользовались этим как поводом, чтобы навсегда «очистить» немецкие города от синагог и еврейских магазинов. Еврейский погром, сразу же учиненный переодетыми в штатское эсэсовцами и штурмовиками, был представлен стихийным выражением народного гнева, демонстрирующим миру «истинное» отношение немцев к своим еврейским согражданам. Хотя пострадала лишь еврейская собственность, выплата штрафа размером свыше миллиарда марок за нанесенный в «Хрустальную ночь» материальный ущерб была возложена на евреев.

Вспомним еще раз о том, что написал через полтора года после этого события Конрад Лоренц: «... мы должны и мы можем в данном вопросе положиться на

здоровые чувства лучших из нас и доверить им отбор, от которого зависит будущее нашего народа». Может быть, Лоренцу в то время было известно, что 1 сентября 1939 года Гитлер в письме к шефу своей канцелярии Филиппу Боулеру и своему личному врачу доктору Карлу Брандту дал им полную свободу действий по умерщвлению душевнобольных? Оно вовсю практиковалось, и епископ Теофил Вурм, пастор Фридрих фон Бодельшвинг и многие другие выступали против этого самым резким образом, а епископ граф фон Гален в публичной проповеди 3 августа 1941 года пригрозил подать в суд заявление об убийстве. Умоzakлючение же Лоренца – «... заботясь о расовой чистоте, следует подумать о более решительной, чем существующая ныне, выбраковке морально неполноценных...» – нужно понимать как призыв к еще более эффективному уничтожению людей, который впоследствии и был осуществлен в Освенциме. (Через несколько страниц я вернусь к цитатам из Лоренца и расширю их контекст.)

Когда мне разрешили выйти на улицу, ноги сразу же понесли меня к синагоге. Я стоял перед нею потрясенный, впервые видя разрушенное и сожженное здание. Всего через несколько лет так будет выглядеть весь Кенигсберг, и в этом можно было бы усмотреть Божию кару. Мне этого не было дано. Грядущее наказало и нас, и многих других точно так же, а то и сильнее, чем тех, кто был действительно виновен.

Встреченная фрейлейн Вольфф рассказала, что над свитками Торы издевались и, порвав, выбросили их на улицу. Но сиротский приют можно восстановить, и там мы продолжим учебу. Сдаваться мы не должны ни в коем случае. Однако некоторое время школа оставалась закрытой. Мы трудились не покладая рук. Мало-помалу из тюрем выпустили большинство из арестованных мужчин. По-видимому, эта акция была

задумана как генеральная репетиция – с расчетом на будущее. И хотя гестапо умаляло значение арестов, называя их «защитной мерой», каждый из нас чувствовал смертельную опасность.

Пока кантор синагоги доктор Рудольф Пик, замещавший у нас учителя древнееврейского, был в заключении, его прекрасный голос обратил на себя внимание. Об этом мне потом рассказала его дочь Урзель. Гестаповцы приказали ему спеть «Песню Хорста Весселя», а Пик начал исполнять еврейский гимн «Будьте крепки». От него раздраженно потребовали перевода. И тот гласил: «Скрепите ваши руки, братья, где бы вы, рассеянные по свету, ни находились. Не падайте духом. Радостные и ликующие, все, как один, придите на помощь своему народу». После этого с Пиком обходились жестоко, били его по лицу.

Все были крайне подавлены. Каждый искал способа эмигрировать, но, как правило, безуспешно. Вновь приступив к учебе, мы ежедневно видели перед собою руины величественной синагоги, словно памятник – безмолвно страдающий, обвиняющий, предостерегающий. Мне кажется, что многие в Германии и за рубежом только после разрушения синагог начали прозревать. Прежде всего те, кто до сих пор верил, что в такой культурной стране, как Германия, ничего ужасного не произойдет. Горящие синагоги, казалось, кричали об опасности. Однако правительства других стран не спешили облегчить евреям условия въезда. Помогали частные организации, отдельные лица и религиозные группы соседних государств. Так, квакеры предложили места в британских интернатах для тринадцатилетних еврейских детей. Часть расходов взяли на себя лица, оставшиеся неизвестными.

Такое место получили наши друзья Шепсы для своей Ренате. Но она была слишком юна, к тому же одному

из ее родственников удалось достать для нее американскую въездную визу, так что это место в шотландском интернате было предложено моей сестре Мириам. Родители сразу же согласились, и в один прекрасный день моя маленькая старшая сестра отправилась с вещами и скрипкой на вокзал, чтобы расстаться с нами на неопределенный срок. Мы увиделись лишь через десять лет. Жизнь в одиночестве, в чужой стране, среди чужих людей и чужого языка, вероятно, спасла ей жизнь и, несомненно, уберегла ее от кошмарных изнасилований или принудительного угона в Россию. Однако легкой эта эмиграция не была, и впоследствии ее рассказы о том времени меня очень тронули.

После отъезда Мириам я еще сильнее углубился в религию, что еще больше сблизило меня со школьными друзьями. Особенно равнодушен я был к Лисбет Данненберг – белокурой, веснушчатой, с наметившейся грудью. Немногим старше меня, она была, однако, куда взрослее. Влюбившись, я чувствовал себя неуверенно, конфузился, томился. Приходилось прилагать немало усилий, чтобы не выдать себя, однако при часто меняющихся учебных предметах и, стало быть, классных комнатах мне все-таки удавалось занять место позади Лисбет, так что иногда ее прекрасные длинные косы лежали передо мной на парте, и я был совершенно счастлив.

Ах, если б еще и привлечь к себе ее внимание! Она совершенно не замечала меня, пока однажды, на уроке немецкого у фрейлейн Вольфф, мне не пришла в голову роковая идея. Почему-то у меня были при себе канцелярские кнопки, и, когда косы Лисбет оказались на моей парте, я крепко-накрепко приколот их. Едва я это сделал, как фрейлейн Вольфф задала Лисбет какой-то вопрос. По существующему тогда обыкновению, следовало немедленно встать и ответить. Но когда Лисбет

попыталась это сделать, ее голову сильно потянуло назад, прежде чем кнопки оторвались. Как девочка умная, она сразу поняла, в чем дело, и я опомниться не успел, как получил столь сочную оплеуху, что щека у меня горела еще и дома. Фрейлейн Вольфф тоже удивительно быстро поняла ситуацию, а поскольку сочла наказание соответствующим проступку, то сделала вид, будто ничего не произошло, и лишь немного ускорила темп урока. Мне вдруг сразу стало ясно, что сейчас я пережил нечто такое, о чем буду помнить всегда.

Спустя некоторое время после того урока я влюбился в Рут Марвильски.



## Начало войны

Приступы отцовского гнева пугают. То отопление не работает, то посуду плохо помыли, то помешали его послеобеденному сну, то кто-то (я) откусил кусок его пирога, оставленного на полдник, то в еде не хватает приправ. Он может неожиданно дать затрещину. Он не принял приглашения своих родственников из Швеции. Это могло бы нас спасти, но ему не достало решимости отправиться на чужбину в шестьдесят без малого лет и начать все заново. Его мучают угрызения совести. Он интенсивно изучает китайский и беседует со мной о Лао-Цзы и Конфуции.

Все спасаются бегством в иные миры. Мама старается почаще заниматься скрипкой и играет сонаты со знакомым пианистом. Она и меня учит разумно, как ей это представляется, использовать свое время и следит за моей успеваемостью. В те немногие часы, когда я предоставлен самому себе, я пытаюсь заниматься самообразованием, обращаясь за советом к нашему многотомному «Мейеру». Руководствуясь отсылками «см. женщина» – «см. вагина» – «см. половой акт» – «см. роды» и т. д., я хочу понять то, чего мне никто не объясняет. Сальным замечаниям других детей я не доверяю. Вопросов много, но я обхожусь собственными силами. Вот если бы только удавалось связать одно с другим! Энциклопедию «Мейер», и христианскую заповедь «Возлюбите врагов своих», и призыв вешать поляков, и сонаты Моцарта, и «Песню Хорста Весселя», и завет Гете «Будь благороден, человек, и милостив, и добр»

– только, видимо, не к евреям добр, не к цыганам, гомосексуалистам, свидетелям Иеговы, французам, славянам и врагам народа.

А Германия все расширяет свои границы. Ее войска входят в Вену, и Австрия становится частью рейха. Затем наступает очередь Судетской области, а через шесть месяцев занятой оказывается вся Чехия и тогда же заодно Мемельский край. Западные страны изо всех сил пытаются сохранить мир.

Господин Доссов, владелец лавки колониальных товаров из дома напротив, и господин Рогалли со второго этажа нашего дома, руководитель местной нацистской ячейки, носят форму штурмовиков. Доссов грозит моему отцу, что, если к нам и впредь будут ходить евреи, это не останется без последствий. Мы не обращаем внимание на его угрозы. Позже, однако, отца уволят с государственной должности скрипача в городском оркестре. Он обратится за помощью к своей знаменитой племяннице Доротее Вик, и та добьется у Геринга, чтобы городской управе Кенигсберга было отдано соответствующее распоряжение, после чего отца временно восстановят в должности.

В школе мы ставим «Вильгельма Телля». Мне доверили главную роль, и я мастерю арбалет. Предстоит много учить наизусть, но нам не привыкать: ведь заучивать лирику, баллады, песни, молитвы, вокабулы приходится постоянно. В пятницу после «субботнего часа», последнего урока недели, господин Вайнберг учит всех желающих танцевать. Он замечательно аккомпанирует на фортепьяно. Я, собственно, еще слишком юн, но господина Вайнберга это не беспокоит, а кроме того, он знает, в каком я восторге от его игры. У него большой талант, он может воспроизводить по памяти симфонии и вообще все, что знает. Однажды он накрыл клавиши простыней, но игра его хуже не стала. Нас это до того

поразило и исполнило благоговения, что в другой раз он принес еще и пододеяльник, с гордым видом собрал нас вокруг инструмента, вновь накрыл клавиши простыней и с ловкостью фокусника, наслаждаясь производимым эффектом, натянул на себя балахон из пододеяльника. Все было белым и казалось призрачным, особенно когда он пришел в раж от собственной игры. Вид у него был жутковатый, но мысль о том, что он нас не видит, подтолкнула нас к озорству. Сперва Манфред Эхт держал над его головой старый картуз, затем кто-то притащил из гардероба большую войлочную шляпу Вайнберга. Мы едва удерживались от хохота. Никто уже не слушал его все более разудалую игру, и тут произошло вот что: Эрвин, крутивший эту шляпу над головой учителя то так, то сяк, неожиданно уронил ее. В самый разгар веселья все закончилось. Господин Вайнберг не только ужасно перепугался, но и смертельно обиделся. Прошли недели, если не месяцы, прежде чем он вновь уселся за фортепьяно.

На Штайнмец-штрассе прямо напротив нас жили Штоки. По стандартам «расы господ» доктор Шток был не вполне «чистокровным» и, несомненно, испытывал от этого неудобства. Однако его жена и дочь вполне соответствовали типичному для того времени идеалу немецкой женщины: мать – блондинка с прямым пробором и узлом волос на затылке, у дочери косы были уложены улиткой. Обе, как и положено, играли на фортепьяно, а дочь Уте, которая была двумя годами старше меня, и на блокфлейте. Я упоенно слушал ее игру и сам порой играл при открытых окнах в надежде понравиться. Вот почему я так обрадовался, когда отец рассказал, что на Штоков мои успехи производят сильное впечатление.

Но этого мне было мало. Я хотел стать еще и великим художником и, может быть, превзойти самого Микеланджело. Вдохновленный репродукциями фре-

сок на потолке Сикстинской капеллы, я писал метафизические сюжеты с преисподней и райскими кущами. Вся моя комната провоняла дешевыми масляными красками.

По воскресным утрам отец имел обыкновение подолгу неспешно прогуливаться и нередко брал меня с собою. Мама уже почти не выходила из дому. На этих прогулках обсуждались философские материи, преимущественно из давних эпох. Возможно, это помогало ему избавляться от тревоги при виде на улицах все большего числа людей в униформе – Гитлерюгенда и Союза немецких девушек, штурмовых отрядов и войск СС, сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Униформы всех расцветок и званий. А мне, как и всем мальчишкам, было любопытно различать звания рядового и офицерского составов, и всякий раз, как мимо проходил военный, я мысленно говорил себе: «лейтенант», «унтер-офицер СС», «ефрейтор», «офицер Юнгфолька» и т. д. Несомненно, большинство из носивших форму людей наслаждались ею как удостоверением своего социального статуса, и, конечно, бывали минуты, когда я сожалел о том, что мне никогда не будет дано в ней покрасоваться.

Город приобретал все более военный вид, и участвовавшие парады с бронетехникой и орудиями пленяли мое воображение, отчего иной раз у меня возникала мысль, что я и сам мог бы оказаться в этом лагере. Я был среди тех, кого преследовали, но в этом не было моей «заслуги», такой была моя судьба. Не будь я евреем, мне бы тоже пришлось состоять членом какой-нибудь организации и носить соответствующую униформу, и нельзя, увы, исключить вероятность того, что и я был бы охвачен всеобщим воодушевлением. Впрочем, стоит ли ожидать от ребенка зрелых взглядов? А мне тогда было одиннадцать.

Игрушки и вещи в моей комнате отражали противоположные влияния: миниатюрный свиток Торы и почтовые марки с портретом Гитлера, семистольный светильник и пушечка с пистонами, скрипка и коробка с украшениями для рождественской елки, оловянные солдатики и плюшевый мишка, рогатка и литературное лото, костюм индейца и чуть позже талес, еврейское молитвенное покрывало.

В то богатое событиями время Штоки взяли меня с собою в кафедральный собор на «Страсти по Матфею». Было велено вести себя осторожно, и я избегал встречаться взглядом с теми, кто мог меня узнать. В переполненном соборе, сидя рядом с Уте, я был потрясен, покорен грандиозной музыкой, и это произведение Баха стало вторым в моей жизни сильнейшим музыкальным впечатлением. Плохим казался только текст. («Предавший Его Иуда» для меня очевидным образом – через сакраментальное «жид, сдохни!» – связан с Освенцимом.) Всякий раз, когда евангелист произносил имя Иуды, я вздрагивал, точно он имел в виду меня.

Человеческие эмоции нередко очень примитивны. Кроме римлян в Иерусалиме жили преимущественно евреи (семиты), но они ассоциируются не с «Христом», а по звучанию – как «иудеи» – с «Иудой», отчего на вопрос: «За что вы ненавидите евреев?» часто следует ответ: «Они распяли Христа, а Иуда его предал». Т. е. христиан приравнивают к Христу, а евреев к Иуде. Все уже позади (действительно ли это так?), но до сих пор всякий раз, как я играю или слушаю «Страсти», эти слова евангелиста приводят меня в угнетенное состояние.

Военные парады, призванные продемонстрировать мощь Германии и внушить страх ее соседям, и тогда же проводимые богослужения с проповедью Христовой любви и историей Христовых страданий, вроде

«Страстей по Матфею» в кафедральном соборе, символичны как пример сосуществования, нередко довольно тесного, церкви и войны. Вместо того чтобы мужественно отстаивать мир и любовь и последовательно отвергать всякое проявление ненависти, церковь шла на компромисс с преступниками и предоставляла им свободу действий, будто своим единомышленникам. Горький вопрос приходится задавать: сколько войн удалось церкви предотвратить своим активным вмешательством? Не говоря уже о том, что многие велись ее именем.

С каждым днем ситуация становилась все более напряженной. Гитлер вел рискованную игру, провоцируя другие страны на вооруженный конфликт. Уже давно на войну работала вся оборонная промышленность, строились автострады для передвижения войск, велись подготовка молодежи и систематическая пропаганда. Даже неожиданное заключение с Советским Союзом пакта о ненападении, как выяснилось впоследствии, не сулило другим народам ничего хорошего.

Вдобавок к многолетней травле евреев началась резкая антипольская пропаганда, и сразу же возникла ненависть к полякам и появилось ругательство «грязный полячишко». События развивались стремительно, и заявление Гитлера 1 сентября 1939 года: «Отныне мы будем стрелять в ответ» (как если бы это слабая Польша напала на сильную Германию) развязало Вторую мировую войну. Начался предпоследний акт трагедии. Быстрые победы над Польшей и другими соседями – Данией, Норвегией, Голландией, Бельгией, наконец капитуляция Франции вознесли Гитлера и его приспешников на вершину могущества. Все кругом ликovalo. Бесперывно праздновались победы над очередным поверженным государством, и каждой семье полагалось вывешивать из окна по меньшей мере один

флаг со свастикой. Гитлера славили как величайшего государственного деятеля, величайшего полководца, величайшего немца всех времен; вся Германия, обезумев, заходилась от восторга и наслаждалась возможностью безнаказанно считать себя лучше, благороднее, значительнее всех в мире. Прежде, чем этому заблуждению был положен печальный конец, должно было пройти немало времени, вместившего немало горя.

## Бар-мицва

Месяцы до и после моей бар-мицвы были наполнены событиями, привнесшими в нашу жизнь множество забот, перемен и ограничений. Размеры пищевого пайка для евреев постоянно сокращались, а на продовольственных карточках еще и буква «J» появилась. Покупать продукты питания разрешалось только в строго определенное время и в специально отведенных магазинах. К занятиям по гражданской обороне нас не допускали. Особым распоряжением евреям воспрещалось находиться на улице после восьми часов вечера. Всех евреев, начиная с четырнадцатилетнего возраста, заставляли работать, как правило, на вредных производствах – химических фабриках, рудниках и вывозе мусора. Моя мать уже трудилась по десять часов в сутки на химической фабрике «Гамм и сын».

Нападение на Россию 22 июня 1941 года имело следствием первые воздушные тревоги и несильные бомбардировки русской авиации. Но Германия все еще одерживала победы, и война продолжала служить успешному самоутверждению нацистов. Оккупирована была вся Центральная Европа, исключая Швейцарию, и часть Балкан. В мае произошло нападение на Югославию и Грецию, сложили оружие Дания и Норвегия, и не приходится сомневаться, что Гитлер вступил бы и в Швецию, откажись она поставлять железную руду и предоставлять свою территорию для немецких передвижений. Казалось, ничто не защитит мир от гитлеровской агрессии.



Однако не антиеврейские постановления и сводки с фронтов, не игра на скрипке и подростковая влюбленность, не Конфуций и Карл Май, а именно бар-мицва стала для меня главным событием июля, оттеснив на задний план все остальное.

В очень плотно застроенном жилом квартале старого Кенигсберга, в небольшом переулке рядом с Зайлер-штрассе, располагалась синагога еврейской общины «Адат Исраэль». Это была группа ортодоксальных иудеев, которые в период с 1899 по 1921 год даже не входили в состав слишком, на их взгляд, либеральной еврейской общины Кенигсберга. Раскол произошел на почве многолетних разногласий – не только религиозных, но и финансовых. В «Хрустальную ночь» интерьер синагоги и предметы культа пострадали, однако поджечь здание богохульники не решились: могли загореться соседние дома. Так что ущерб удалось устранить, и богослужения возобновились. Но хозяева этой синагоги, в отличие от хозяев синагоги сгоревшей, были правоверными иудеями, они настаивали на строгом соблюдении предписаний и ритуала.

К тому времени мой либеральный наставник эмигрировал, и опекать меня взялся господин Беньямин, державшийся строгих взглядов. Он был добрый человек и верил, что при соблюдении всех заповедей можно достичь своего рода неуязвимости. Жизнь его была такова, что он мог с чистой совестью ожидать, что Всевышний им доволен, и, поскольку все происходит по воле Божьей, он мог смело ей довериться. Господин Беньямин не сомневался в том, что Божья воля проявляется в судьбе человека, а значит, если о чем и надлежит заботиться, так о том только, чтобы вести себя лучше других и тем самым заслужить наибольшее благорасположение Всевышнего.

Этот богобоязненный человек произвел на меня

сильное впечатление и, несомненно, увлек меня своею религиозностью и образом мыслей. Он знал еще брата моего дедушки, Исраэля Хулиша, и высоко его ценил как благочестивого раввина. Вероятно, он полагал, что и внучатому племяннику такого достойного человека суждено стать благочестивым иудеем. Нередко после субботней службы он приглашал меня к себе домой. Перед тем как сесть за празднично накрытый обеденный стол (еды было совсем немного), совершалось омовение рук и звучала «браха», и то же самое производилось перед тем как съесть первый кусок и сделать первый глоток: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, выращивающий хлеб из земли» или «... творящий плод виноградной лозы». Естественно, что при столь частом обращении к Господу предметом бесед были преимущественно духовные темы. Предпочтение отдавалось таким, как проповедь, псалом, иудейская история, заповеди Моисея и их толкование.

Я стал ортодоксальным евреем. Каждое утро я повязывал филактерии (специальные кожаные коробочки для утренних молитв), прилежно изучал древнееврейский и готовился к бар-мицве. От родителей я в то время отдалился, и мне до сих пор памятен полный ужаса взгляд отца, когда он застал меня за утренней молитвой. Мне был очень неприятен его испуг. Мама не знала толком, как реагировать на мое поведение. Собственно, мне хотелось и полагалось соблюдать также все предписания относительно пищи, но здесь я сталкивался с непреодолимыми препятствиями, ведь и готовил не я, и еды становилось все меньше. У меня не оставалось выбора: с давних пор в семье было заведено есть то, что подано.

В субботу благочестивому еврею не разрешалось пользоваться транспортом, но синагога была далеко, добираться туда пешком было бы очень долго. В Песах

полагалось есть только пресный хлеб (мацу), а в Йом-Кипур полагалось поститься. Чтобы выполнять все эти заповеди, мне требовалась родительская поддержка, одной их доброжелательной терпимости было недостаточно. Таким образом, возникала противоречивая ситуация: соблюдение заповедей постоянно чередовалось с их нарушением, и это лицемерие ввиду моего очень серьезного отношения к Богу очень меня угнетало. Но пока иной возможности, кроме как мириться с нарушениями заповедей, противоречиями и двойственностью, не было. В школе, синагоге и среди еврейских друзей я был ортодоксальным иудеем. Дома же я ел некошерное и не мог последовательно соблюдать другие предписания. Господин Беньямин считал меня правоверным иудеем, родители – послушным сыном.

Когда же наконец наступил день бар-мицвы, я почувствовал себя столь сильно приверженным иудейским традициям богопочитания, что Бог и иудейские обряды стали для меня нераздельны. День, когда я, по выражению господина Беньямина, предстал «пред ликом Господним», был днем, когда на этом лике были написаны ветхозаветные черты, и я поклонялся ему, как богобоязненный иудей.

Вспоминаю это ясное, солнечное утро в конце июля. Мама заботливо приготовила мне костюм с длинными брюками. Я прочитал утренние молитвы настолько благоговейно, насколько мог, и, ничего не вкусив и не пригубив, уложил свой талес в сумку из синего бархата. Отец был на репетиции оркестра и, как мне показалось, не желал иметь хоть какое-то отношение к моей бар-мицве. Все это было ему чуждо, а возможно, и не слишком приятно. Не берусь об этом судить и предпочитаю думать, что он не хотел мешать моему иудейскому посвящению своим христианским присутствием. Я сказал матери, что отправлюсь в синагогу

пешком, а не проеду полпути на трамвае, как это бывало раньше.

Заранее выхожу из дому и чувствую: то, как мама сейчас попрощалась со мною, было и ее благословением. В синагоге мы, по иудейскому обычаю, будем отделены друг от друга и увидимся только тогда, когда все закончится.

За время долгого пути меня посещает столько мыслей, что их хватило бы на две такие дороги. Свернув на Зайлер-штрассе, встречаю школьных друзей и Рут. Смущаясь и краснея, она дарит мне цветок. Она тихая и тонко чувствующая девочка. Моя любовь к ней то и дело меняет свои оттенки.

Это, в самом деле, мой день, и как хорошо, что бармица сегодня только у меня одного. По узкому коридору мы входим в синагогу, где мне отводят особое место. Все внимательны ко мне и ведут себя, как со взрослым, заслуживающим уважения. Мое волнение возрастает. Я слегка беспокоюсь, действительно ли хорошо все выучил. Мне предстоит прочесть довольно большой отрывок из Торы. Почти все начало службы проходит мимо моего внимания. Я все сильнее волнуюсь перед своим «выходом». Ожидание великого момента тянется бесконечно. Но наступает и он.

Из шкафа торжественно извлекается Тора, и ее кладут на столик, напоминающий алтарь. Я знаю, что предстоит выслушать несколько абзацев, прежде чем дойдет очередь до моего. Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее, ведь все это я учил не один год. Звучит призыв, и я, в бархатной ермолке и в талесе, выступаю вперед. Кантор отходит в сторону, и, коснувшись деревянных рукояток свитка Торы, я совершаю низкий поклон и произношу древнееврейское благословение: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, открывший нам слова истины». Подбадриваемый взглядами

и жестами раввина, кантора и его помощника, я занимаю место слева от Торы. Еще не пришла моя очередь читать. Я стою рядом с кантором, который громким, звучным голосом пропевает последний абзац, предшествующий тому, что выучен мною. И тут наступает тишина, заполнить которую надлежит мне. Всеобщее внимание приковано к тому, что я сейчас произнесу. «Браха» лишь предваряла тот важный момент, который сейчас наступил. Свиток Торы содержит неогласованный древнееврейский текст, вокальные схемы я должен знать наизусть. Первые слова получаются у меня несколько тихо и хрипло. Я сразу же замечаю это и заставляю себя петь громче и чище. Это удается, и я безупречно довожу свой отрывок до конца. Теперь я занимаю место справа от Торы, а кантор продолжает чтение со следующего абзаца. Оно длится лишь несколько минут. Я снова кланяюсь и произношу другую «браху». Раввин благословляет меня и возносит молитву за моих родителей, о чем мы договорились заранее. Затем я возвращаюсь на свое место и жду окончания чтения Торы, поскольку за ним последует обращенная ко мне проповедь. Это очень проникновенная проповедь, в ней много говорится о верности и постоянстве. С плащом, в который странник кутается во время бури и снегопада и который он снимает, как только пригреет солнце, раввин сравнивает иудаизм, иудейскую религию, обеспечивающую защитой в годину бедствий. В дальнейшем я буду не раз об этом размышлять и спорить с самим собой, но в тот момент я твердо верил, что раввин прав. Я взволнован, возбужден и счастлив. Меня все поздравляют.

Уже поздно, и мама пытается уговорить меня отправиться домой на трамвае. В другой раз, только не сегодня. И вновь долгий путь, позволяющий о многом подумать. Ясно чувствую, что в проповеди звучало

сомнение в том, сохраню ли я свою веру. Что еще могли означать наставления раввина?

В то время преданность иудаизму виделась мне в соблюдении многочисленных заповедей, значение которых я никогда не мог понять. Не только у предписаний относительно пищи, но и у многих других отсутствовало логическое обоснование, а поступать вопреки здравому смыслу только оттого, что несколько тысячелетий тому назад Моисей потребовал соблюдения определенных правил поведения, было очень нелегко. Поэтому вполне могло случиться, что в скором времени «плащ» иудаизма показался бы мне тесен.

Я несколько не сомневался в том, что в тяжелые времена – а приближение еще более тяжелых чувствовалось всеми – благоволение Божье жизненно необходимо. Но ныне мне представляется весьма спорной идея посвящать все помыслы и заботы правильному выполнению библейских предписаний перед лицом угрозы массового уничтожения. Обеспечение личной безопасности путем отказа от трамвая по субботам? Пассивная покорность судьбе как служение Богу? Сколько миллионов представителей всех конфессий, принявших мучительную смерть, своим самоотверженным поведением снискали Божье благорасположения? Умозрительный аргумент, что наитяжелейшие испытания уготованы тем, кого Бог больше всего любит, покажется знающему, что творилось в концлагерях, циничной насмешкой над убитыми. Боль, ощущаемая матерью, отцом, ребенком, которых разлучают на пороге смерти, как это часто происходило перед газовой камерой или расстрелом, настолько велика и непосильна, что эта форма страдания никак не подпадает под категорию Божьего испытания, а будь это действительно испытанием, насылающий его являлся бы самым жестоким существом из всех, которых человек способен

вообразить. Он не был бы «Отцом небесным», заслуживающим таких определений, как «милосердный», «справедливый» и «любящий». Но все эти мысли стали у меня появляться лишь позже, и вместе с ними «лик Божий» стал обретать новые черты.

Бар-мицва весьма неторжественно завершилась подарками. Однако огромное значение этого дня не подлежит сомнению. По мере моего взросления, обретения нового жизненного опыта и знаний мое представление о Боге менялось, но бар-мицва осталась важной для меня встречей с ним. Я много думал о нем в минуты смертельной опасности, а также тогда, когда пытался обрести веру. Даже при молниеносных озарениях, когда мне открывалось будущее и внутренний мир – собственный и других людей, я ощущал присутствие Бога как чего-то непредставимого. Постепенно он становился для меня первородной силой, энергией, изначально присущей всему. Этика Спинозы, Бхагавадгита и буддизм, христианское учение о любви и просто природное здравомыслие меняли, словно разные линзы, мое видение Бога и уводили меня от ритуалов, соблюдением которых я надеялся привлечь к себе Его внимание.

В то самое время, когда проходила моя бар-мицва, Геринг поручил Гейдриху подготовить «реалистичное и конкретное окончательное решение еврейского вопроса» в европейских странах, находящихся в сфере влияния Германии. И всего несколько недель спустя в концлагере Хельмно под Познанью и в Освенциме опробуют первые газовые камеры, а в Бабьем Яру под Киевом уничтожат 34 тысячи евреев.

## Желтая звезда

Мама заботилась о том, чтобы не угасал мой интерес к литературе, контрастирующий с происходящим и помогающий сохранить надежду. Музыка раскрывала свою мощь и, как всегда в трудные времена, брала на себя роль утешительницы. Мудрые изречения укрепляли веру в добро, и всякое проявление человеческой теплоты обнадеживало, придавало уверенности.

Никто не знал, что пошли последние месяцы учебы и общения со школьными друзьями, но все так торопились жить и чувствовать, что объяснить это можно одним – неосознанным ощущением надвигающейся беды. Труд Эрвина Петцалля на еврейскую религиозную тему уже перевалил за сотню страниц, Манфреда Хоппа уважали за его феноменальную способность запоминать исторические даты, я пробовал силы в сочинении глубокомысленной прозы, а дома писал картину за картиной и разучивал концерт Мендельсона и этюды Роде. Во внешкольное время нас приглашала к себе домой фрейлейн Вольфф для чтения Шекспира по ролям.

Отправляясь в город на велосипеде, я надеялся увидеться с Рут, без которой скучал. Как бы случайно встречаясь, мы старались скрывать свои чувства. Правда, порою, точно бес попутал, мы обменивались колкостями, но, как правило, оказывали друг другу знаки внимания и приязни, отчего причиняемые друг другу страдания, будто их и без того не хватало в жизни, чередовались с блаженством, к которому мы так стремились.



Соседский Клаус навещал меня регулярно. Если же я приходил к нему поиграть с его чудесной железной дорогой, то детскую запирали снаружи, чтобы никто из других родственников или случайных посетителей не узнал, что семья Норра поддерживает контакты с евреями. Нам, детям, удавалось не уделять много внимания антисемитской клевете, плакатам и предписаниям. До сих пор мои обиды и разочарования, бывшие следствием ужасной политической обстановки, хоть и оставляли след, все же не воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. Не меньше унижений и обид выпадает на долю ребенка с косоглазием или иным физическим пороком.

Большая политика и война оставались для меня чем-то непостижимым. Тем, чему, как погоде, бессмысленно сопротивляться. В безотчетном возбуждении я следил за продвижением немецких войск в глубь России, отмечая цветными булавками на висевшей в моей комнате карте каждый новый взятый город. Зачем я это делал?

В те дни мой единокровный брат Петер посетил отца. Он был нацистом и офицером бронетанковых войск и имел высокие боевые награды за участие в польской, французской и российской кампаниях. По понятным причинам отношения между Петером и отцом были очень напряженными, и мы не знали, как Петер отнесется к маме и ко мне. И действительно, держался он надменно и холодно, отвергая всякую любезность с нашей стороны. Пока он разговаривал с отцом в гостиной, его офицерская фуражка висела рядом с зеркалом в коридоре. Мама была на кухне. Я осторожно взял фуражку и, надев ее, долго рассматривал свое отражение. О чем я тогда думал? Сейчас не вспомнить, знаю лишь одно: не будь у меня той же склонности к щегольству, что побуждала многих молодых людей носить униформу и знаки воинской доблести, я бы никогда не

примерил эту фуражку. Нет, все-таки различия между Петером и мною были не столь значительны, как велят считать Железный крест и еврейская звезда.

Лишь спустя несколько дней отец решился пересказать нам шокирующие эпизоды из рассказов Петера. Особенно потрясла меня история о том, как они – кто? не сам ли Петер? – облив бензином, подожгли одного русского, отмеченного высокими наградами. Петер был ранен под Москвой, благодаря чему, несомненно, и пережил войну: теперь он мог служить только инструктором. После разгрома Германии он вспомнил о своей шведской родне и избавил себя от созерцания руин, возникших не без его участия.

Вспоминаю рыдания соседки, проникавшие сквозь стены и двери и резко дисгармонизировавшие с победным ликованием и пением «Проснись, Германия!». Телеграмма с извещением о геройской гибели их сына Хельмута буквально раздавила супругов Норра. Авиабомба русских оборвала его молодую жизнь. Хельмут был главной надеждой простой мещанской семьи. Он с отличием окончил школу и был на пути к тому, чтобы достичь в жизни большего, чем кто-либо в его роду. Не Клаус или Лило, а Хельмут был предметом их гордости. И вот мечты о великом рейхе для супругов Норра больше не существовало. Вновь и вновь они сетовали на свое горе и были безутешны.

Словно удар – правда, его следовало ожидать – поразил нас приказ об обязательном для евреев ношении желтой звезды. Таким образом, вторая годовщина войны стала для нас переломным моментом. Если до сих пор еще можно было полагать, будто все меры против евреев нацелены на ограничение их прав в профессиональной, финансовой, юридической и социальной сферах, то отныне стало совершенно ясно, что планируется их полное исключение из немецкой жизни.

Первые депортации подтвердили это, и все большее число топонимов стало ассоциироваться с концлагерями. Распоряжением от 23 октября 1941 года евреям было запрещено эмигрировать, и ловушка захлопнулась. Осуществлению «окончательного решения» (с некоторых пор это словосочетание вошло в обиход) был дан зеленый свет.

Уже несколько лет евреев объявляли расово неполноценными и этнически вредными. Их сделали козлами отпущения, ответственными за все позорные эпизоды немецкой истории. В демонизации евреев бездумно участвовало множество тех, кто чувствовал себя связанным с великими традициями немецкой духовной жизни. Демонизация есть семя, из которого вырастает зло. Она служит предпосылкой для отчуждения, изоляции и в конечном итоге даже массовых убийств; только благодаря ей преступления получали видимость законных действий по спасению немецкого народа. Представление о том, как выглядел такой «научно обоснованный» призыв к эвтаназии и принятию «мер по обеспечению расовой чистоты», могут дать выдержки из работы Конрада Лоренца о «нарушениях видового поведения, вызванных одомашниванием», опубликованной в 1940 году в «Журнале по прикладной психологии и характерологии».

Это статья о «серых гусах». В конце введения Лоренц подчеркивает цель своей работы:

... я надеюсь выполнить гораздо более важную задачу: обратить внимание того, кто призван осуществлять селекцию, на совершенно определенные ценности, забота о которых уже потому должна остаться в ведении селекции, что в результате воспитания и обретенного опыта они принципиально независимы от влияний.

Нижеследующие цитаты должны со всей полнотой продемонстрировать, насколько бесчувственным, неуважительным к человеку, равнодушным к его страданиям может быть ученое теоретизирование. Используя национал-социалистский жаргон, Лоренц пишет о «паразитирующих на народном теле», о «морально неполноценных» или «социально неполноценном человеческом материале». «Выбраковке» подлежат и «асоциальные элементы», и инородцы, «селективная изоляция» которых облегчается тем обстоятельством, что их гораздо легче распознать, чем остальных. Полная противоположность им – «полноценные соплеменники» в «здоровом народном теле». По мнению Лоренца, «достояния крови» и «высшие наследственные ценности» следует путем «выбраковки» защищать от малейшего отклонения, способного нанести «столь сильный урон дальнейшей стабильности и дальнейшему развитию всего того, ради чего мы живем и боремся». Нельзя было оказать большего содействия и поддержки нацистской практике эвтаназии и уничтожения евреев. (Извинение Лоренца, что он имел в виду «лишь» преступные элементы, при таких формулировках принято быть не может.) Судите сами:

... Если допустить существование факторов, благоприятствующих мутациям, то их распознавание и исключение является главной задачей в деле сохранения расовой чистоты, ибо постоянно возобновляющаяся возможность появления людей с отклонениями в социальном поведении, свойственном данному виду, наносит народу и расе более тяжелый вред, чем смешение с иноплеменниками, поскольку эти последние, по крайней мере, распознаваемы как таковые и после однократной селективной изоляции уже не представляют собою опасности. Если же, напротив, обнаружится, что в условиях одомашнивания не происходит накопления мутаций, а увеличение коли-

чества мутантов и дисбаланса родов возникает только в результате отпадения фактора естественного отбора, то следует подумать о более решительной, чем существующая ныне, выбраковке морально неполноценных, так как в этом случае она была бы призвана буквально заместить все те факторы, которые обеспечивали отбор в естественных условиях жизни на воле. Далее, следовало бы и после однократно проведенной выбраковки выпадающих из общего ряда мутантов продолжать постоянный селективный контроль, считаясь с возможностью повторных гомологических мутаций. ...

Небольшое отклонение от норм социального поведения, которое в крестьянском или рыбацком поселке нанесет вред только пораженному им роду, в условиях большого города даст этому роду возможность обманом получать преимущества перед полноценными соплеменниками и стать опасным паразитом на народном теле. Нетрудно припомнить огромное множество имевших место случаев, когда полноценные качества полноценных членов общества были «вознаграждены» негативным отбором. Всюду, где единственным фактором отбора оказывается конкуренция соплеменников за жизненное пространство, это явление ведет к тому, что социально неполноценный человеческий материал – именно в силу своей неполноценности – становится в состоянии проникать в здоровое народное тело и, в конечном итоге, уничтожать его. Если воспользоваться далеко идущей биологической аналогией, то абсолютно так же в клеточной структуре высших организмов ведут себя клетки злокачественной опухоли. ...

Из биологической аналогии между, с одной стороны, телом и раковой опухолью, а с другой, народом и теми его представителями, что стали асоциальными элементами вследствие отклонений, напрашивается вывод о параллелизме и в защитных мероприятиях. Если оставить в стороне отдельные незначительные успехи лучевой терапии, то в случае рака страдающему человечеству нельзя посоветовать ничего иного, кроме как можно более раннего выявления и удаления опухоли. Расово-гигиеническая за-

щита против асоциальных элементов ограничена такими же довольно примитивными мерами. ...

Поэтому всякая попытка обратного встраивания выпавших из своей монолитной структуры элементов безнадежна. К счастью, их искоренение является процедурой менее опасной для народного тела и более легкой для его врачавателя, чем операция, которую проводит хирург на отдельном организме. Значительную техническую сложность представляет собою их выявление. Но в этом отношении большую помощь окажет чувство нормы, данное нам при рождении, иными словами, наша интуитивная реакция на отклонения. Хороший человек нутром чувствует, когда он имеет дело с негодяем. ...

Эту роль должна взять на себя какая-нибудь организация, если мы не хотим из-за нехватки факторов отбора обречь человечество на гибельные явления, обусловленные одомашниванием. Расовая мысль как основа нашего государственного устройства уже достигла очень многого в этом направлении. Нордическое движение с давних пор интуитивно сопротивлялось «приручению» человека; все его идеалы таковы, что подверглись бы разрушению описанными биологическими последствиями цивилизации и одомашнивания; оно борется за направление развития, прямо противоположное тому, в котором движется современное урбанизированное, цивилизованное человечество. Для тех, кто мыслит в биологических категориях, не может быть сомнений в том, какой из этих путей есть путь истинной эволюции, есть путь «наверх»! ...

Поэтому самой действенной мерой по сохранению расовой чистоты является, во всяком случае пока, усиленная поддержка естественного иммунитета. Мы должны и мы можем в данном вопросе положиться на здоровые чувства лучших из нас и доверить им отбор, от которого зависит будущее нашего народа. Если этот отбор не достигнет своей цели и искоренить асоциальные элементы не удастся, то последние подобным же образом и по тем же причинам, что и клетки злокачественной опухоли в организме, поразят здоровое народное тело и в конечном итоге сами погибнут вместе с ним. ...

Данную работу хочется заключить следующим предостережением. Интуитивно и неизбежно мы воспринимаем полный набор наших расовых и видовых свойств как одну из высших из известных нам ценностей. Слово «красивый» применительно к человеку означает, что это качество присуще его телу, «хороший» – что таково поведение, унаследованное данным видом, а слова «безобразный» и «плохой» указывают на отсутствие соответствующих качеств. Оценка «хорошего» как высшего и далеко превосходящего «красивое» совершенно оправдана; соображения биологического свойства до конца отвечают нашим самым сокровенным ощущениям: ни в чем, включая красоту, столь прочно и непосредственно не укреплен корень расового здоровья и силы, потребной для будущего развития рода в соответствии с его предназначением, как в социальном поведении, унаследованном данным видом, и ничто не наносит столь сильный урон дальнейшей стабильности и дальнейшему развитию всего того, ради чего мы живем и боремся, как утрата хотя бы мельчайшего из достояний крови. Однако оценка «хорошего» не должна мешать нам ясно видеть глубокую и нераздельную связь высших ценностей с природой. Вместо того, чтобы высокомерно верить в некие ее особые, применимые лишь к человеку законы, следует, исполняя скромности, присмотреться к нашим братьям меньшим – более просто устроенным и потому легче познаваемым: именно у них мы могли бы поучиться тому, как хранить и беречь унаследованные нами достояния.

Как многословна эта умозрительная конструкция, опирающаяся на такие шаткие и нигде внятно не разъясненные понятия, как «морально полноценные» и «морально неполноценные» или «асоциальные элементы». Понятия, с помощью которых в условиях жестокой диктатуры оправдывались действия бесовских убийц. К тому же Лоренц представляет дело так, будто можно говорить о какой-то расовой однородности того или иного европейского народа, и

при этом делит людей на «красивых» и «хороших» и на их антиподов – «безобразных» и «плохих». Раз за разом он настаивает на необходимости «выбраковки» и, чтобы придать своим словам больше веса, рисует пугающую картину пораженного раковыми клетками организма. А для тех, кому интересно, как распознают нечужеродные раковые клетки, т. е. «асоциальные элементы», у Лоренца наготове замечательная для ученого фраза: «Хороший человек нутром чувствует, когда он имеет дело с негодяем». Отбором же и «выбраковкой» должны заниматься «лучшие». Лоренц считает излишним уточнять, кого он имеет в виду, поскольку в третьем рейхе это было общеизвестно.

Но в 1940 году Лоренц должен был понимать, к чему призывает. Он недвусмысленно одобрял проводившуюся расовую политику, но требовал «более решительной, чем существующая ныне, выбраковки морально неполноценных». Кроме того, символическая убедительность руин кенигсбергской синагоги не могла остаться незамеченной кенигсбергским профессором психологии. В городе каждый ребенок знал, что расовая политика, столь ценимая Лоренцем, была направлена против евреев, цыган, негров, славян, врагов народа (инакомыслящих), инвалидов и асоциальных лиц.

Неоднократно предпринимались попытки выяснить, как это могло получиться, что тысячи так называемых нормальных людей позволили сделать себя соучастниками методических массовых убийств. Поиски ответа на этот вопрос должны были бы вывести на статьи, подобные упомянутой. С помощью запугиваний «раковой опухолью» и удалось в конце концов повсеместно заглушить голос совести и оправдать совершенно невероятные действия. Для меня остается непонятным, почему тех, кто призывал к преступлениям, впоследствии не только не тронули, не только не привлекли



к судебной ответственности, но и удостоили высших почестей, тогда как те, кого они совратили, были казнены или попали в заключение. Неужели желание, требование и обоснование необходимости «выбраковки» настолько невиннее, чем ее осуществление? Этим вопросом я задавался еще до того, как жители Вены сделали нобелевского лауреата Лоренца почетным гражданином.

В будущем Конрад Лоренц займется критикой многих «смертных грехов», но, к сожалению, забудет упомянуть один из худших – беспринципную привычку шагать по трупам!

После того как я оплатил и забрал в еврейской общине кусок желтой волокнистой ткани с напечатанной на ней еврейской звездой, стало невозможно делать вид, будто ты такой же, как все, или, иначе говоря, иногда забывать, что ты не такой же, как все. До этого нам с Рут случалось в хорошую погоду брать напрокат лодку и час-другой беззаботно кататься по замковому пруду. Мы проплывали под склонившимися ивами, мимо уток и лебедей, и никто не догадывался, что нам это запрещено. Изредка мы, хоть и испытывая страх, ходили в кинотеатр или ездили на пригородном поезде купаться на море. Но отныне на каждый предмет верхней одежды нужно было нашивать желтую звезду и носить ее открыто над сердцем. Нарушителям грозила немедленная отправка в концлагерь.

Приходилось всякий раз преодолевать себя, прежде чем выйти с этим клеймом на улицу и ловить на себе взгляды удивления, любопытства, неприязни, но порою и сочувствия. Из-за того, что встречалось и оно, уже через месяц после введения правила о ношении еврейской звезды появилось распоряжение РСХА (Главного имперского ведомства безопасности) IV 84b – 1027/41 от 24 октября 1941 года, гласившее, что «все

лица немецкой крови, публично выражающие дружественное отношение к евреям ... подлежат взятию под стражу, а в тяжких случаях заключению в концлагерь на срок до трех месяцев. Еврейский участник эпизода до принятия решения в любом случае заключается в концлагерь». Итак, на сочувствие был наложен полицейский запрет. «Раковые клетки» защите не подлежат, общаться с евреями ни в коем случае нельзя. Таким образом, большая часть тех, кто был настроен критически, подвергалась запугиванию и отныне уже не решалась выказывать евреям свою симпатию.

Как описать чувства, психологическое состояние человека, который вынужден носить знак, долженствующий вызывать ненависть? В тринадцать лет я выглядел как обычный немецкий подросток. Да и мои школьные друзья мало походили на созданный нацистской пропагандой нелепый образ типичного представителя «низшей расы»: длинные черные волосы, горб и кривой нос (примерно такой была наружность замечательного философа Моисея Мендельсона, столь почитаемого своими современниками, в частности Лессингом и Лафатером). Теперь же, при наличии звезды, крючковатый нос был ни к чему. Желтого пятна вполне хватало, чтобы вызвать ненависть к клейменым, даже если те выглядели так же, как собственные дети или родители. Тогда же семеро нацистски ориентированных руководителей церкви, в том числе президент церковного ведомства земли Саксония и епископ земли Мекленбург, заявили:

Будучи членами немецкого народного сообщества, нижеподписавшиеся земельные руководители германской евангелической церкви полностью поддерживают историческую оборонительную войну, необходимой частью которой, помимо прочего, стало распоряжение имперской полиции о маркировке евреев – прирожденных

врагов мира и рейха. Так еще Мартин Лютер, наученный горьким опытом, призывал применить к ним строжайшие меры и выдворить их за пределы немецких земель. ...

Христианское крещение ничего не меняет в расовом характере еврея, его этнической принадлежности и биологической сути. Всякой земельной евангелической церкви надлежит проявлять заботу о немецких соотечественниках. Христианам еврейского происхождения в ней нету места и не будет предоставлено никаких прав.

Евреи были настолько бесправны, что их можно было безнаказанно сгонять с тротуара на дорогу, бить, оплевывать, а при желании и убивать.

Строго предписывалось, чтобы звезду всегда было хорошо видно, однако не всегда ведь удавалось проследить, случайно или нет левая рука оказалась поднесенной к носу – единственный способ на время скрыть свое клеймо.

Поначалу все это вызывало у окружающих, главным образом, любопытство, но постепенно ситуация менялась. И если о неприятных, но сравнительно безобидных насмешках и издевках детей я готов не вспоминать, то непонятное в ряде случаев поведение взрослых до сих пор не выходит у меня из головы, о чем я и хотел бы рассказать.

Как уже говорилось, самым неприятным является воспоминание о сильном ударе, нанесенном мне по голове кем-то сзади. Как же нужно было ненавидеть, чтобы сделать такое! То, что нападавший сразу же скрылся, говорило о его нечистой совести или трусости.

В другой раз, спустя несколько месяцев, когда я, как обычно, шел на работу, некий человек в штатском, приблизившись ко мне, прорычал, чтобы я, «еврейская свинья», шел по проезжей части, а не по тротуару, предназначенному для «приличных» граждан. И я вынужден

был идти вдоль сточной канавы, сторонясь повозок, автомобилей и велосипедов, пока не оказался вне поля зрения этого господина. Отказ выполнить приказание, особенно в том случае, если бы он оказался важным чиновником, мог расцениваться как сопротивление государственной власти и повлечь за собою немедленную депортацию. Жаловаться в суд евреям больше не позволялось, и государственная полиция имела на этот счет специальные указания.

Не меньший шок испытывал я от плевков. Случалось, кто-то, обычно это был молодой мужчина, неожиданно плевал мне в лицо. Чтобы этого избежать, я стал передвигаться только на велосипеде. Мне кажется, что на фоне того, как относились к «меченым» в других городах, например в Гамбурге, Кельне или Берлине, население Восточной Пруссии выделялось своей враждебностью к евреям, что, вероятно, было следствием бесчисленных подстрекательств в выступлениях Эриха Коха, гауляйтера Восточной Пруссии, тщеславного человека и патологического антисемита. К этим выводам я пришел, послушав рассказы других людей, носивших звезду.

Незабвенны и противоположные реакции, которые, разумеется, тоже имели место. Приветливое слово, кусок пирога, торопливо сунутый в руку, когда никто не видит, взгляд, жест. Редкость таких случаев, несомненно, объясняется тем, что требовалось немалое гражданское мужество, чтобы нарушить закон, грозивший отправкой в концлагерь за проявление подобного сочувствия.

Однажды, когда я ехал на велосипеде на работу, меня остановила молодая женщина. Она торопливо сказала мне на ломаном немецком, что видит меня не впервые и хотела бы поговорить. В качестве подходящего места для встречи она назвала тихую улочку, назначила

время – в половине седьмого, не позже, из-за введенных для евреев ограничений, и, сунув мне кулек замечательного бисквитного печенья, поспешно и боязливо исчезла. (Этот и следующий эпизод произошли уже в конце войны.) Когда на другой день я явился туда, где мы договорились встретиться, меня ждали две женщины – из числа тех, кого тысячами угоняли из родных мест в России на работу в Германию. Они рассказали, что служат экономками у высокопоставленных чиновников и что я очень напоминаю им их брата, оставшегося в России. Они дали понять, что имеют отношение к евреям. Затем снова вручили мне кулек печенья, и мы условились о новой встрече.

Дома я рассказал эту историю родителям, и боязливый отец сильно встревожился. Он заподозрил, что эти женщины вербуют шпионов, и строго-настрого запретил мне с ними встречаться. Сегодня я почти уверен, что эти несчастные были еврейками, которым удалось спастись, смешавшись с колонной угоняемых в Германию. Вид моей желтой звезды напомнил им об оставленных родственниках, о судьбе которых они ничего не знали. Им хотелось, чтобы я заменил им брата и унял их тоску по родине. Когда русские заняли Кенигсберг, они мучили и насиловали и таких женщин. Их даже подозревали в сотрудничестве с немцами и часто приговаривали к длительным срокам заключения.

Ближе к концу войны произошел курьез. Мне было пятнадцать или только что исполнилось шестнадцать лет, и я получил, безусловно, вследствие какой-то административной ошибки, мобилизационное предписание. Под угрозой тяжелейшего наказания в случае неповиновения я должен был в назначенный день явиться в восемь утра на медицинское освидетельствование. Оно проводилось в одном из зданий в районе зоопарка. К тому времени получить увольнительную на химичес-

кой фабрике, где я работал, было совсем непросто, однако мобилизационное предписание обладало высшей распорядительной силой. В случае неподчинения грозила статья за дезертирство, т. е. расстрел.

Слегка опоздав, являюсь со своей желтой звездой на пункт освидетельствования и вижу строй шестнадцатилетних парней. Прохожу мимо прямо к пожилому капитану, который испуганно отшатывается от меня, когда я протягиваю ему свою повестку. Растерявшись, он сначала отчитывает меня за опоздание, затем изучает мой паспорт, отмеченный буквой «J», и спрашивает, как меня зовут. Я громко говорю: «Михаэль Исраэль Вик». После чего он, словно не заметив звезды, направляет меня в одно из построившихся отделений.

И вот я, еврей с желтой звездой, стою плечом к плечу с членами Гитлерюгенда, которым предстоит занять места погибших на фронте. На меня удивленно смотрят. Некоторые перешептываются. Но воспитанные в беспрекословном подчинении юноши и, тем более, работающие здесь офицеры действуют исключительно в соответствии с указаниями начальства. Раз я получил повестку, значит должен пройти освидетельствование. После бесконечного ожидания я, как и другие, раздеваюсь и начинаю переходить из кабинета в кабинет. Здесь проверяют зрение, там – слух, сердце и легкие, измеряют рост и вес. Затем один из врачей неожиданно посылает меня в смежную комнату и так организует поток обследуемых, чтобы на короткое время я остался один. В следующий момент заходят три врача в белых халатах, приветливо пожимают мне руку и спрашивают о работе и самочувствии. Они заверяют меня, что питают отвращение к существующим порядкам, и призывают «держаться». После чего они быстро расходятся по своим местам, открывают двери и выпускают меня к остальным.

Нагишом я выхожу к полукруглому столу, за которым сидят врачи и офицеры. Здесь я должен, как и все остальные, стоять навтыжку, поворачиваться и наклоняться. Однако меня, в отличие от всех остальных, не спрашивают: «Кем хотите стать? Какой род войск предпочитаете?» и т. п. За столом растерянно шепчутся, я чувствую их беспомощность. Но, в конце концов, они не партийная инстанция и должны всего-навсего освидетельствовать призывников. В заключение я, как все остальные, получаю военный билет, однако с пометой: «В резерве, к службе не годен». После чего меня отпускают.

Только тот, кто хоть сколько-нибудь знаком с обстановкой тех лет, может оценить абсурдность этой истории: как если бы в группу кандидатов в небесное воинство затесался дьявол во плоти. Когда ошибка выяснилась, военный билет мне пришлось сдать. А я уже подумывал о переходе на нелегальное положение и надеялся воспользоваться для этого военным билетом. Какая наивность! Всякому военнообязанному, если он не находился на фронте, полагалось иметь огромное количество справок. Дезертирство предотвращали всеми силами, и ко времени, когда крах был уже неизбежен, у Северного вокзала установили виселицы, на которых пойманных и казненных дезертиров оставляли часами висеть для устрашения – с картонными табличками на груди: «Мне пришлось умереть, потому что я трус».

С введением правила о ношении еврейской звезды план уничтожения евреев вступил в фазу конкретных действий. Тот, кто продолжал оставаться оптимистом, игнорировал очевидные факты. С появлением этого «позорного пятна» детство разом закончилось. Началась борьба за выживание.

## Конец школы

Однажды утром из окна нашей кухни я увидел совершенно истощенных русских военнопленных, торопливо и отчаянно роющихся в мусорных баках в поисках съедобных отходов, и вооруженных надсмотрщиков, которые с руганью отгоняли их. У двоих парней раны были обмотаны туалетной бумагой. Все указывало на то, что этих людей мучили умышленно и для облегчения их положения не предпринималось ничего. Я обратил внимание отца на несчастных, и он рассказал о сотнях тысяч голодающих русских, которых содержали в строго охраняемых лагерях, где они не получали никакой помощи и гибли. Но этим, которые вывозили мусор, можно было помочь, и мы решили класть в баки хлеб и картофельные очистки – другой еды нам едва хватало самим. К сожалению, эта затея раскрылась и повлекла за собой расследование, правда, безрезультатное. Было немедленно объявлено, что виновных казнят, и надзиратели стали открывать мусорные баки, прежде чем русские приступали к их опорожнению. Под впечатлением от столь жестокого отношения к людям я перестал играть во дворе, который больше не казался мне приятным и мирным местом. А ведь это было только начало.

Круг нашего общения все сокращался. Друзья моих родителей в большинстве своем эмигрировали либо уже не решались навещать нас. Тетю Ребекку и тетю Фанни я видел лишь изредка. Группы учащихся в еврейской школе становились все меньше. То и дело что-



нибудь случалось. И недели не проходило без страхов и забот по поводу очередного распоряжения, касающегося евреев. Ниже следует краткая хронология этих распоряжений и указов за период с конца 1941 по середину 1942 года, выписанных мною из сборника актов и распоряжений «Особое законодательство для евреев в национал-социалистском государстве»:

12. 12. 41 (РСХА, IV В 4б – 1244/41)

Евреям, которым положено публично носить еврейскую звезду, воспрещается пользование общественными телефонными будками. В служебных целях специальное разрешение может предоставляться сотрудникам имперского объединения и еврейских общин.

3. 1. 42 (Рейхсфюрер СС и Шеф германской полиции, IV В 4а – 50/52)

Ввиду предстоящего окончательного решения еврейского вопроса эмиграция из рейха евреев с германским гражданством и без гражданства прекращается. Главное имперское ведомство безопасности может удовлетворять отдельные эмиграционные ходатайства в случаях, если эмиграция служит интересам рейха.

3. 1. 42 (Шеф партийной канцелярии, I. 48/648)

Имущество еврейских общин и имперского объединения евреев Германии считать не еврейским, а служащим интересам рейха. Центральное управление по эмиграции евреев использует эти средства для выполнения своих обязанностей [особенно для осуществления «окончательного решения»]; поэтому различным службам и ведомствам указывается на то, чтобы они обращались со своими ходатайствами в контрольные органы и службы еврейской эмиграции до описи этого имущества. [Настоящее постановление говорит о конфискации имущества эмигрировавших евреев на основании предписания 11 к «Закону о гражданах рейха» и об ограничении прав евреев, еще находящихся на территории Германии, рас-

поряжаться движимым имуществом на основании предписания от 27.11.41.]

5. 1. 42 (РСХА, IV В 4 – 7/42)

Евреям, которым положено публично носить еврейскую звезду, до 16.1.42 сдать находящиеся в их собственности меховые и шерстяные вещи, а также лыжи, лыжные и горные ботинки. Сдача вещей полицейским органам осуществляется через местных доверенных лиц еврейских общин; денежное возмещение не предоставляется.

8. 1. 42 (Имперский наместник в Гессене, II – 5 – 16930)

Дополнения к инструкции министра путей сообщения от 18.9.41. Вводятся существенные ограничения для евреев на пользование общественным транспортом.

14. 2. 42 (Шеф партийной канцелярии, I. 13/151)

В булочных, кондитерских и т. п. должны иметься таблички, указывающие на то, что выпечка и кондитерские изделия евреям и полякам не продаются.

15. 2. 42 (Распоряжение)

С настоящего времени евреям воспрещается держать домашних животных.

17. 2. 42 (РСХА)

Почте, издательствам, уличным торговцам воспрещается продажа и доставка евреям газет, журналов, изданий законов и постановлений. Разрешение выдается только в особых случаях.

3. 3. 42 (Рейхсминистр внутренних дел, I e 30/42 – 517)

Рассмотрение ходатайств лиц с примесью еврейской крови о заключении брака прекращается до окончания войны.

16. 3. 42 (Гестапо Дрездена)

В Дрездене евреям воспрещается покупка цветов.

27. 3. 42 (Гестапо Карлсруэ)

Ввиду скорой депортации с настоящего времени не выдавать евреям полицейского разрешения на выезд с места жительства.

5. 4. 42 (РСХА, II В 4/7104)

Начальникам полиции, начальникам округов и бургомистрам области Нижнего Рейна предписывается не указывать в регистрационных списках места назначения транспортных эшелонов, а ограничиваться пометками: «выбыл в неизвестном направлении» или «эмигрировал».

Апрель 1942 года. (Распоряжение)

Воспрещается евреям посещать арийцев и лиц, живущих в смешанном браке.

24. 4. 42. (Распоряжение)

В Дрездене евреям приказывается сдать в соответствующие инстанции все бритвенные станки, новые расчески и ножницы для стрижки волос.

12. 5. 42 (РСХА, IV В 4б – 859/412)

Евреям, которым положено публично носить еврейскую звезду, воспрещается пользоваться услугами нееврейских парикмахеров.

13. 5. 42 (Обер-бургомистр Берлина, Гл. продовол. упр., V 4б – 2310)

С недавнего времени в сфере трудового права цыгане приравнены к евреям. Это следует распространить и на сферу питания. Поэтому прошу о немедленном прекращении выдачи цыганам как продовольственных карточек на дополнительное питание для занятых на тяжелых работах, так и карточек с надбавками для сельскохозяйственных рабочих и занятых в ночную смену.

12. 6. 42 (РСХА, IV В 4б – 1375/42 – 20)

Евреи обязаны немедленно сдать все находящиеся в их собственности электрические приборы, велосипеды,

фотоаппараты, бинокли и т. п. Это не касается евреев, живущих в привилегированном смешанном браке, и евреев, являющихся подданными других государств. Неисполнение влечет за собою применение гестапо суровых мер.

7. 7. 42 (Рейхсминистр науки, Е II е № 1598)

Ввиду усилившегося в последнее время выселения евреев рейхсминистр внутренних дел (РСХА) по согласованию со мною велел имперскому объединению евреев Германии закрыть к 30 июня 1942 года все еврейские школы и объявить их сотрудникам о запрещении с 1 июля 1942 года всякого обучения еврейских детей как получающими, так и не получающими заработную плату учителями. Ставлю вас в известность об этом. Публикация данного указа не предполагается.

Неизменно вспоминаю слова прекрасной шубертовской песни: «Волшебный дар, как часто в дни печали ...» [слова Ф. Шобера, пер. Н. Райского. – примеч. пер.]. «Крейцера соната», которую я тогда с горем пополам исполнял вместе с мамой, и безмятежные часы, посвященные живописи, были противовесом тому, что творилось, и потребность в нем постоянно усиливалась. Звуки скрипки завораживали и одурманивали. Больше не разрешалось слушать радио и посещать концерты, поэтому любые звуки музыки, проникавшие сквозь открытые окна и двери, казались вестью из потерянного рая. А время от времени я писал большие картины метафизического содержания. Охваченный настоящей творческой лихорадкой, я не успевал да и не хотел ни есть, ни пить.

Некоторым из моих школьных товарищей удалось покинуть Германию до введения окончательного запрета на эмиграцию. Среди выехавших оказался и директор нашей школы господин Кельтер, и школьный

учитель Нусбаум. Теперь школой руководила фрейлейн Вольфф. Натура мечтательная, она и нас увлекала за собою в иные, лучшие миры. Можно, конечно, задаваться вопросом, так ли уж нужна была классическая литература молодежи, которой очень скоро пригодятся другие знания: какие из растений и грибов съедобны? что питательней – зерна злаков или полуразложившиеся трупы животных? как без лекарств лечить раны, болезни, сыпь? как спастись от налетов штурмовой авиации и осколков бомб? Однако я на собственном опыте убедился, что во времена тяжелых испытаний духовная пища становится таким же источником силы, как и обычная пища. Разумеется, было бы неплохо приобрести и практические знания. Но для этого требовались наставники, которые уже перенесли то, что предстояло перенести нам, а таких наставников у нас не было.

Пока некоторые из названных законов не вступили в силу, часы в кругу оставшихся одноклассников были исполнены подлинного счастья. В самом деле, столь сердечного отношения друг к другу, столь крепкой дружбы я никогда больше не встречал. А как мне нравились наши милые девочки и уроки танцев, которые, как и прежде, вел господин Вайнберг. Рут Марвильски становилась все стройней и изящней. Добрая, волевая, она была разве что несколько неловкой, и во время танцев мы наступали друг другу на ноги. Хелла Марковски была ласковой, маленькой и полненькой, танцевать с нею было приятно, но теплота ее податливого тела смущала. Даже такая, вполне невинная, близость заставляла набожного еврея чувствовать себя немного грешником.

Моим лучшим другом был Манфред Эхт, однако виделись мы с ним теперь только в школе. Эрвина Петцалля, самого одаренного из нас, уже тогда можно

было назвать ученым, он неизменно удивлял всех своими многостраничными сочинениями на ту или иную тему, обыкновенно на религиозную. Но, как и прежде, больше всего нам нравилось читать по ролям драматические произведения. Мы произносили знаменитые реплики так, словно они родились в наших собственных сердцах, и переставали чувствовать себя презируемыми и униженными. Лессинг был бы счастлив, знай он, как утешал нас и наделял верою в себя его «Натан Мудрый». Да и пронизательные разоблачения человеческого зла у Шекспира учили нас справляться с невзгодами, в чем мы крайне нуждались.

На небольшом школьном дворе мы занимались спортом и возделывали крошечный сад – тут иногда проводились уроки ботаники. Высокий дощатый забор отделял двор от развалин взорванной синагоги. На них немецкие мальчишки играли в войну, кидая друг в друга камни из-за самодельных укрытий. Случалось, кого-то ранили до крови. Залетали камни, естественно, и на наш двор, однако пострадавших не было.

С тех пор как мы стали носить звезду, нам приходилось быть начеку – с каждым днем все больше. Быстрая езда на велосипеде избавляла меня от многих неприятностей, однако у школы нам устраивали засады, и некоторым здорово досталось. К тому же вместо занятий все чаще приходилось выполнять задания гестапо. Служащие общины, придя в школу, вручали каждому из нас списки с адресами и именами тех евреев, которые по каким-то причинам не имели возможности самостоятельно и своевременно сдать предписанное, и мы забирали у них то домашних животных, то меховые и шерстяные вещи, то электрические приборы или лыжи. Однажды мне пришлось зайти к своему врачу доктору Кляйну, с которым уже и прежде скверно обошлись, и забрать у него любимую канарейку. Поручено было

отнести птицу в зоопарк, а там ее просто выпустили из клетки.

Так из школьников делали подручных гестапо. А после этих акций, словно ничего не случилось, снова проводились уроки немецкого, и мы должны были писать длинные разборы, например, цитаты из Гете: «Счастлив, кто бежал людей, Злобы не тая, Кто обрел в кругу друзей Радость бытия!» [пер. В. Левика. – примеч. пер.]. Кроме немецкого, фрейлейн Вольфф пять раз в неделю преподавала древнееврейский. Фрейлейн Хиллер обучала нас английскому и очень обижалась на нашу непоседливость. Помоложе была фрейлейн Тройхерц, которая вела уроки биологии и еврейской истории. Поговаривали о ее связи с учителем физкультуры Вайнбергом.

Через год фрейлейн Тройхерц родила. Своего ребенка она показала мне, придя перед депортацией на сборный пункт, устроенный в крепостном сооружении неподалеку от главного вокзала. Объясняя мне что-то по поводу икоты своего младенца, она так ласкала и крепко прижимала его к груди, что было ясно: ее позднее материнство – отчаянная попытка противопоставить неотвратимой беде хотя бы немного душевного счастья. До сих пор, как будто это было вчера, вижу ее, толкающую перед собой нагруженную вещами детскую коляску и исчезающую в воротах крепости. Минутой позже из-за железной решетки крепостной камеры на меня, словно призрак, предвещающий беду, уставился совершенно истощенный, мертвенно бледный русский военнопленный. И этот взгляд навсегда врезался в мою память, а тогда, помнится, позволил мгновенно представить себе будущее фрейлейн Тройхерц и ее младенца. Господин Вайнберг, не присутствовавший при прощании, относился, благодаря своим высоким военным наградам, к числу евреев, на которых была

заявлена «рекламация», т. е. он не подлежал депортации, но после того, как русские взяли Кенигсберг, каким-то образом всплыло, что он прежде служил в добровольческом корпусе, и его расстреляли.

Сначала приказ «выехать на новое место жительства» получали небольшие группы пожилых евреев, затем настала очередь семей, где никто не был занят на так называемых предприятиях оборонного значения. Им рассказывали о работах в Восточной Европе, не называя конкретных населенных пунктов. Поскольку от депортированных никаких известий не поступало, их судьба была неясной, и в зависимости от душевного склада одни считали, что депортированные живут терпимо, другие опасались, что с ними произошло самое страшное.

Однажды «на новое место жительства» выехала и тетя Ребекка. Ее эшелон должны были отправить в Терезиенштадт. Все произошло совершенно неожиданно и буквально оглушило нас. События разворачивались так стремительно, что сейчас я не могу вспомнить, как мы с ней прощались. Ее вдруг просто не стало с нами, и мы о ней больше никогда ничего не слышали. Рука отказывается переходить к следующему воспоминанию, уделив этому событию несколько строк. Ведь речь идет о «выбраковке» доброй и неприхотливой тети Ребекки, бабушкиной сестры.

А потом была субботняя служба, на которой скорбь и печаль прорвали все сдерживавшие их плотины. Вспоминаю эту потрясшую меня сцену. Как обычно, встречаюсь с друзьями у молельного зала, и, как обычно, мы, в своих белых талесах, сидим рядом и внимаем словам Торы. Не могу припомнить, какая это была суббота, но царившая в тот день атмосфера казалась особенно напряженной. Ношение звезды, антиеврейские предписания, распоряжения, указы и полная безысходность



подавляют всех, и каждый ощущает это намного сильнее, чем раньше, потому что сегодня особенно много пустующих мест. У каждого среди депортированных имеются родные, друзья и знакомые, и собравшиеся, несомненно, догадываются, что расстались с ними навсегда. Не была ли внезапная смерть лучше, чем то, что всем предстояло пережить?

Невозможно описать овладевшее нами мрачное настроение, спазмом сжавшее горло. Каждое слово Торы, каждая молитва приобретает значение, которое кажется тесно связанным с происходящим вокруг. Затем раввин медленно направляется на свое место, чтобы простыми словами помянуть тех, кого увезли с неизвестной целью. Волнующе и точно он формулирует то, что заботит каждого, и все слушают, затаив дыхание. Но при такой степени душевного волнения и напряжения что-то неизбежно должно произойти. И вот, разрывая болезненно гнетущую тишину, раздается за сердце берущее всхлипыванье. Оно вызывает цепную реакцию, и вот уже плачет почти вся община, и непередаваемо скорбные звуки причитаний, жалоб, воплей и всхлипываний сливаются в общий апокалиптический хор. Нас, мальчиков, это настолько угнетает, что мы начинаем беспомощно переглядываться и вскоре тоже теряем самообладание, однако не плачем вместе со всеми, а раздражаемся громким смехом. Безудержный хохот – такова наша реакция на ставший просто невыносимым ужас. Подавить эти конвульсии нет сил. От отчаянных попыток справиться с ними у нас текут слезы. Как будто дьявол овладел нами, чтобы поиздеваться, и ему удалось без труда сломить наше сопротивление – и не на миг, а, похоже, надолго. Несчастные от собственного бессилия, мы пытаемся укрыться под талесами. Только полностью укутавшись в молитвенное покрывало, удастся избавиться от дьявольского наваждения.

А потом, словно оказавшись в пустоте бесконечного пространства, я лишаюсь способности соображать и чувствовать. Хорошо, что кантор громким, страстным голосом начинает петь молитву, перекрывая безумный хор и постепенно возвращая всех к спокойствию.

Спустя много лет я узнал, что подобные приступы смеха случаются вследствие нервного перенапряжения. Тогда же это событие стало для меня столь тяжелым переживанием, что я перестал посещать синагогу. Не говоря уже о том, что начавшаяся вскоре трудовая жизнь и не оставляла мне свободных суббот, я испытывал стыд и сокрушался по поводу собственной незрелости.

Мы, дети, еще избегали думать о немислимом, но чуть позже, после случая с тетей Фанни, мне уже было не избавиться от сгущавшихся, словно тучи, мрачных предчувствий. Однако реального представления о творившемся в лагерях смерти никто из нас не имел.

Я все больше сомневался в том, что Бог действительно существует и ведет себя именно так, как это кажется людям. Его «лик» преобразился. Лишь несколько лет спустя, читая «Этику» Спинозы, мне вновь удалось связать свои мысли и чувства с чужим представлением о Боге. Он теперь все меньше ассоциировался у меня с религиозными обрядами и стал гораздо ближе, когда я снял филактерии и талес. Произошло нечто совершенно противоположное тому, от чего меня настоятельно предостерегал раввин. «Плащ» иудаизма, который, по его мнению, было скинуть тем легче, чем теплее ветер судьбы, я снял, когда потянуло ледяным холодом. Сейчас я понимаю, что иудаизм вообще не «плащ», который можно надевать и снимать по своему усмотрению.

С той же партией евреев, с которой нас покинула фрейлейн Тройхерц, полагалось отправиться извест-

ному и уважаемому в городе ортопеду доктору Киве. При регистрации, однако, обнаружилось его отсутствие, и меня послали выяснить, в чем дело. (Это поручение стало причиной, по которой я впоследствии никогда не провожал евреев на сборный пункт, не прощался с ними и не помогал им нести вещи.) Когда я позвонил в квартиру доктора Киве, мне открыла его приветливая жена. Она проводила меня к седому врачу, которого в Кенигсберге называли «добрым богом со Штайндамма». Когда я сказал, что мне велено напомнить ему об обязанности явиться на сборный пункт, доктор не выразил никакого беспокойства и лишь попросил передать, что он нетранспортабелен. Из-за постоянного облучения рентгеновскими лучами, от которых еще не существовало удовлетворительной защиты, его руки были поражены раковыми язвами и выглядели ужасно. Как ни странно, чиновники приняли его объяснение. Но, насколько мне известно, вскоре доктор Киве покончил жизнь самоубийством. (Не понимаю, почему он вообще оказался в списке депортируемых, ведь его жена была христианкой. Подозреваю, что он хотел защитить ее и расторг брак перед уже запланированным самоубийством.)

Депортация евреев, не занятых на предприятиях, важных в военном отношении, и постоянное использование нас, школьников, в качестве посыльных гестапо – все это побудило нас с мамой принять решение о досрочном прекращении моего обучения и об устройстве на одно из таких предприятий. Мой школьный товарищ Бернд Леви уже поступил подобным образом и с удовлетворением рассказывал о своей работе на фабрике зеркал. Он считал, что лучше чему-нибудь научиться, чем в четырнадцать лет против своей воли оказаться на химической фабрике. Так поступил и я: устроился учеником в столярную мастерскую Лембке.

Это решение далось мне нелегко, ведь я любил школу, а теперь мне пришлось расстаться с друзьями и отныне видаться с ними лишь от случая к случаю. Несколькими месяцами позже официальным распоряжением по всей Германии были закрыты еврейские школы. Мне было тринадцать, когда завершилась школьная пора моей жизни.

## Столярная мастерская

Германия не замечала того, что каждая победа вела ее к смертельному поражению. Был осажден Ленинград, велось наступление на Москву. Счет русских военнопленных шел на миллионы. Япония напала на американцев в Перл-Харборе. Германия и Италия объявили Америке войну. Роммель побеждал в Африке. В упоении от собственного могущества устанавливали новый порядок, проводили депортации и делили трофеи. Все больше концентрационных лагерей превращалось в лагеря уничтожения, и все больше угнанных и пленных иностранцев работало в рабских условиях на заводах и фабриках. Лишь число погибших немецких солдат и первые бомбардировки немецких городов давали знать о том, что противник не полностью беззащитен.

В Кенигсберге тоже все чаще выли сирены, сгоня растерянных людей в бомбоубежища. Бомбы еще не падали, но объявление воздушной тревоги, иногда до трех раз за ночь, никого не оставляло равнодушным: каждое завывание сирены означало, что нужно немедленно одеться, схватить чемоданы и спуститься в подвал. Ожидание сигнала отбоя могло длиться то долго, то нет, но, едва заснув, люди слышали новый сигнал тревоги, за которым следовал еще один, а порой и еще один. Поначалу мы сидели в одном подвале с другими жильцами дома, позже нам пришлось обходиться своим собственным угольным погребом, лишенным специальной защиты. Одному из дворников было поручено следить за тем, чтобы во время тревоги

все квартиры были покинуты, и отвечать за полную светомаскировку. Поэтому каждое окно было снабжено рулоном черных штор. Но когда двумя годами позже начались массированные бомбардировки, пилоты находили Кенигсберг без труда, никакая светомаскировка не спасала.

Соседский Клаус, мой сверстник и член Гитлерюгенда, и я, со своею еврейской звездой, остались друзьями. Политика, законы и запреты воспринимались как неизбежность и не обсуждались, только заставляли быть настороже. То и дело раздавался звонок – это Клаус приходил ко мне в гости. Я же навещал его все реже, чувствуя растущий страх его матери, как бы кто-нибудь не застал меня у них. Клаус рассказывал о своей жизни и частенько приносил интересующие мальчишек вещи: игрушечную технику вроде пушки или стреляющего пистонами танка, а также набор химических реактивов, с помощью которых можно было здорово набедокурить. Мы учились изготавливать черный порох и воспламенять его каплей азотной кислоты, что было первым шагом к изготовлению взрывчатых веществ. Мы подрывали зажатые в тисках ружейные патроны и делали многое другое в том же духе. Наши совместные игры сводили на нет расовые теории и призывы к вражде. Взаимная симпатия и дружба демонстрировали всю абсурдность такой идеологии.

Заново испытываю ужас, вспоминая два эпизода, когда все едва не кончилось трагедией. Однажды я помогал Клаусу освобождать от хлама чердачные помещения. Из соображений безопасности полагалось убрать все имевшиеся под черепичной крышей горючие материалы, и, пользуясь стремянкой и топором, мы удаляли деревянные перегородки, делившие чердак на отсеки по числу сдававшихся в доме квартир. И вот при особенно сильном взмахе острое лезвие сорвалось

у меня с топорича и так близко пролетело у головы Клауса, что он кожей почувствовал ветерок. «Член Гитлерюгенда убит евреем!» – примерно так могли бы выглядеть газетные заголовки, и семья Норра переживала бы трагическую потерю второго сына, а меня бы немедленно арестовали и отправили в концентрационный лагерь.

Во второй раз все выглядело еще хуже. Как большинство мальчишек того времени, Клаус любил возиться со всем, что стреляет: рогатками, пневматическими ружьями, пугачами. А однажды он явился ко мне со старомодным пистолетом. Кажется, именно такие называются дамскими. Он был не очень большой, и, чтобы выстрелить, нужно было взвести курок, вложить патрон и нажать на спусковой крючок. Но пружина курка со временем, по-видимому, ослабла, так что стрелять, по словам Клауса, было уже невозможно – он уже сколько раз пробовал. Говоря это, Клаус неоднократно нажимал на спусковой крючок и наконец передал пистолет мне. Я испробовал его на нашем балконе, но столь же безуспешно. После многократных напрасных попыток я решил вернуть пистолет и, протягивая его, шутки ради нажал на спусковой крючок в последний раз. Раздался оглушительный выстрел, и Клаус согнулся пополам. Он, скорчившийся и схватившийся за живот, и я, с пистолетом в руке и побелевший от ужаса, – в таком виде мы предстали перед моей растерянной и перепуганной до смерти мамой, поспешившей к нам в комнату на звук выстрела. При детальном обследовании выяснилось, что свинцовая пуля попала точно в «юнгфольковскую» пряжку Клаусова ремня и, расплывшись, отскочила – потом мы ее нашли. Клаус только почувствовал удар и подумал, что ранен. Когда мы убедились, что все обошлось благополучно, нам потребовалось еще немало времени, чтобы при-

дти в себя. Так Клаус пережил состояние убитого, я – убийцы. Счастье, что этого не произошло на самом деле.

Наверное, следует считать, что оба раза мне повезло. Но когда везет с таким постоянством, становится не по себе. Эти происшествия никак не повлияли на нашу дружбу, скорее наоборот. А о пистолетном выстреле, разумеется, сказано никому не было.

Тайной оставались и прогулки на велосипеде, которые я время от времени, слегка прикрыв звезду, совершал в одиночку. Я ездил на пруды Хаммертайха, где некогда учился плавать, и дальше – в Юдиттен и Метгетен. Там был лес, который я любил. Конечно, это было запрещено: могло считаться выездом с места жительства. Но ведь сам факт нашего с мамой существования на этом свете, говорил я себе, есть, в сущности, преступление, в сравнении с которым другие нарушения – мелочь. Особенно мне нравилось ездить вдоль берегов Прегеля. Там стояли амбары – живописные старые и чудовищно огомные новые. По Прегелю одна за другой шли баржи, по большей части основательно груженные и поэтому со столь низкой осадкой, что разводить для них невысокие мосты и не требовалось. Их, однако, разводили и сводили постоянно, ведь хватало и других судов. Почти три года спустя мне пришлось разгружать одну из таких барж. Нас было пятеро, и мы перекидывали друг другу коробки со стиральным порошком. Это продолжалось бесконечно долго, словно трюм являл собою бездонную шахту. Кроме того, это было довольно опасно: к городу подступали русские, и вокруг нас свистела шрапнель. Пока же, катаясь здесь на велосипеде, я наслаждался иллюзией свободы.

Месяца за три до депортации Рут мы делились друг с другом своими мечтами и надеждами. Мы оба входили в сионистское спортивное общество «Бар-Кохба», не-



когда довольно активное, и носили синие спортивные трусы с белыми полосами и белые спортивные майки с синим «магендавидом» (звездой Давида). Спортивные занятия ограничивались несколькими видами легкой атлетики и игрой с мячом, а местом для них служили еврейское кладбище и наш школьный двор. Все мы лелеяли надежду начать когда-нибудь в Палестине новую жизнь – единственное, на что нам еще оставалось надеяться. Скоро, однако, наши с Рут разговоры об этом подверглись влиянию сильных чувств, которые мы испытывали друг к другу. Пожатие руки, исполненный симпатии взгляд или жест занимали нас тогда куда больше всего прочего.

Мамина приверженность литературе и музыке даже во времена жесточайших преследований делала ее большей немкой, чем многих ее соотечественников, охваченных националистическим угаром. Занятия Гете, Лао-Цзы и Конфуцием отдалили отца от христианства. Тетя Ребекка неколебимо стояла на позициях либерального иудаизма, тогда как в моей школе преобладали сионистские установки. Моя подготовка к бармице содержала поначалу много польско-хасидских элементов, позже – ортодоксальных. Я уже рассказывал о господине Беньямине и его безоглядном доверии к Богу. Из-за этого доверия он упустил возможность спасти себя и своих родных от преступников, а ведь она у него, по-видимому, была. Пресса, афиши, знамена и транспаранты несли благую весть о тысячелетнем рейхе. Много разглагольствовали о «немецком складе характера», которому надлежит спасти мир, верили в превосходство арийской расы, которой в чистом виде вообще не существовало. Гитлер, основательно знакомый не только с операми Вагнера, но и с его политическими сочинениями, превратил это идейное наследие в страшную реальность, а успехи и победы убеждали его

в собственной правоте. Кроме того, существовали монархии, демократии и коммунизм, с которыми велась ожесточенная, яростная борьба, благодаря чему я о них и узнал.

Про себя я постоянно вел диалоги с образом Бога, который соответствовал уровню моего развития. Я верил в существование некой первородной силы, сопричастной всему происходящему, но все больше сомневался в том, что именно ее христиане и иудеи считают Богом. Моя бар-мицва была, конечно, выражением любви и почтения к этой первородной силе, и перед ней я, как и все другие, испытывал страх. Но считать, что право на существование заслуживает лишь одна форма почитания Бога? Отец называл его «дао», я – «Адонай», а мама – вообще никак. Мне не были чужды и Аллах с Иисусом, а Гитлер говорил еще о Провидении. При таком обширном и в то же время недостаточном выборе мне пришлось формировать для себя образ Бога самостоятельно.

Среди тех, кто тогда бесстрашно дружил с нашей семьей, были Ильзе Розе, Герт Вешоллек, будущая жена моего отца, и Доро Георгезон. При случае они подбрасывали нам в почтовый ящик хлебные карточки. Кроме того, некоторые любители музыки не прекращали выражать свою приязнь к моим родителям и время от времени увеличивали наш рацион, скудевший из-за постоянного снижения продовольственных норм для евреев. К сожалению, мне не припомнить имена всех наших благодетелей, но всем им я глубоко признателен.

Огромную радость доставляли нам ежемесячные письма от Мириам в двадцать пять слов – подобный вид связи между жителями враждующих стран обеспечивал Красный Крест. Мириам жила в Шотландии в интернате, дававшем строго христианское воспитание.

Нам казалось, что ей хорошо. Насколько ей было одиноко, она, естественно, не писала.

Однажды отец отправился со мной к Лембке, хозяину столярной мастерской, которого нам рекомендовали. Эта мастерская считалась предприятием военного значения, и я надеялся, устроившись туда, избежать принудительных работ или депортации. Как занятого на таком предприятии меня, возможно, не отправили бы, например, на химическую фабрику, трудиться на которой было и скучно, и вредно для здоровья (мама много рассказывала об этом). Мы не менее получаса ехали на велосипедах к югу города, пересекли Прегель по железнодорожному мосту у станции Холлендер Баум и по улочкам и переулкам добрались до находившегося в Верхнем Хаберберге большого, длинного двора, в левой части которого расположились мастерские: токарная, шорная, слесарная, затем столярная и обойная. Над входом в каждую висела вывеска с эмблемой соответствующего ремесла. На другой стороне двора разместились склады крупных фирм, а в самом конце – цех по упаковке масла.

Как почти все улицы в Кенигсберге, этот двор был вымощен булыжником и хранил аромат прошлого. Мастерские находились в маленьких и низких помещениях, работало в них от одного до трех человек. На стук в дверь столярной мастерской появился господин Лембке, человек довольно толстый и казавшийся нездоровым. Отец назвал наши имена. Господин Лембке бегло и без комментариев осмотрел меня, мою звезду и мои мускулы, после чего вынес свое решение: он бы меня взял, но труд здесь тяжелый; при сдельной работе требуется скорость, а при разгрузке досок – сила. Мы на все согласились и договорились, что в один из ближайших дней я приступлю к работе. Поговорили об одежде: хозяин сказал, что достанет для меня карточки

на приобретение синей спецовки – как у монтеров. Не понравилось ему только мое имя, и в первый же рабочий день он сообщил, что звать меня будут не Михаэлем, а Максом, и как Макса представил меня трем другим работникам.

Первым был немолодой подмастерье, тихий и замкнутый. Затем Франц, тоже в возрасте, тощий, с лишаем на голове, с горящим взором и до того поглощенный работой, что едва удостоил меня взглядом. Он сдельно изготавливал гробы. У последнего, семнадцатилетнего ученика Хейнца, вид был беспокойный. В мастерскую спускались по трем ступенькам, и сразу справа от входа стоял высокий стеллаж для рубанков, а слева, под широким окном, – верстак мастера. Гробовщик пользовался верстаком у левой стены, подмастерье – тем, что стоял у задней. Внутреннее пространство мастерской было заполнено преимущественно гробами и крышками, лежащими на козлах. В стене справа располагалась дверь, ведущая в машинный зал. Там находились циркулярная и ленточная пилы, фрезерный станок и у противоположной стены – строгальный станок. Все было усыпано древесной стружкой, обрезками и опилками. Снаружи, во дворе перед двумя этими помещениями, а также напротив них у стены склада и под навесом мастерской лежали доски и прочая древесина.

В первый день мастер Лембке вывел меня из мастерской, выбрал пару досок, положил их на деревянные козлы, тщательно разметил карандашом и, убедившись, что нас никто не слышит, сказал: «Макс, для меня ты такой же, как и все. Хотя ты тут лишь на подсобных работах, я тебя всему обучу. Только поосторожней высказывайся о политике. Мой подмастерье – нацист и, похоже, поставлен приглядывать за мной. Франца амнистировали. Он однажды в припадке гнева убил свою жену. Сейчас работает, как одержимый, и рта почти не

раскрывает. Сдельно изготавливает гробы и хорошо зарабатывает. Вот здесь ты и будешь нам помогать». О Хейнце он говорить не стал, только назвал его болваном. Затем дал мне деревяшку, обернутую наждачной бумагой, и показал замазанные клеем места на гробах, которые я должен был обработать. Это было мое первое задание. Я с усердием приступил к делу, но вскоре понял, до чего это нелегко. На каждую половину гроба приходилось 32 заглубленных гвоздя, и эти места были покрыты окаменевшим клеем. Чтобы зачистить их, требовалось немало усилий. Затем мы выносили гробы с крышками во двор и покрывали их красителем, разведя его нашатырным спиртом. Лакировкой занимался сам мастер, и вскоре я узнал, почему. Дело в том, что значительную часть спирта, предназначавшегося для лакировки, он забирал себе и смешивал с анисовыми каплями, которые я приносил ему из аптеки. Иногда после работы он пил этот высокоградусный шнапс. Хотя спирт и считался отравой, на его здоровье это, пожалуй, не отражалось.

Сгрузить доски, поработать ручной пилой, подмести мастерскую, подмести двор, здесь подхватить, там взобраться – таковы были мои обязанности в первое время. Я любил запах древесины и чувствовал себя здесь, вообще говоря, совсем неплохо. Всякий раз, отправляясь к заказчикам, чтобы встроить полки в подвале, вставить оконную раму или приладить ящики в кладовке, мастер брал меня с собой. В этом случае он попросту говорил мне снять «дурацкую» звезду. Нельзя требовать от людей, чтобы они такое носили, считал он. Поэтому мама пришила мне кнопки на звезду и на спецовку. На мое счастье, партийные из числа ремесленников соседних мастерских, были, вероятно, все на фронте, а оставшиеся старые мастера (некоторые из-за нехватки кадров не могли работать

дальше), относились ко мне очень дружелюбно, выдавая тем самым свой истинный образ мыслей.

Довольно гротескным выглядел визит, нанесенный нашему нацисту; старшему подмастерью, его зятем. Однажды он явился в мастерскую в форме штурмовика, чтобы, как он выразился, хоть разок взглянуть на еврея. Ему обо мне его тесть рассказал. Разочарование было велико: он-то надеялся, что я соответствую образу еврея из «Штюрмера», так нет! Долго разглядывал он меня, заставляя вертеть головой, после чего сказал, что сумел обнаружить некоторые еврейские черты, но в моем случае это потребовало особой подготовки. Сообщением о ней он явно хотел произвести впечатление на тестя, который при всем желании не мог обнаружить во мне ничего особенного. Потом я задавался вопросом, не было ли у меня действительно каких-то необычных отличительных признаков.

«Каторжник» Франц, ко всеобщему удивлению, вступал в беседу со мною, а очень скоро стал приглашать меня в обеденный перерыв в ресторанчик, где время от времени подавали суп из сметки. Сметок – небольшая рыбка, и, хотя может показаться, что она состоит лишь из головы, глаз и плавников, вкус у нее отменный. Соответствующие продуктовые талоны Франц мне дарил. Мы мало говорили друг с другом, нам и без того было хорошо вместе.

Мастер ежедневно приносил из дому пакет с едой, которую приготовила жена. Бутерброды и куриные ножки были в то время редкостью и вызывали всеобщую зависть. Иногда он отдавал мне то, что оставалось: замечательную колбасу и бутерброды с сыром. Для меня было загадкой, как ему удавалось так здорово пополнять скудевший рацион. О том, что благодаря воровству, я узнал позже, когда мы начали вместе ходить по заказчикам. Там он давал мне точные указания, в

какой момент и какую банку, бутылку или пакет переправить в его вместительный портфель, и отвлекал хозяина, пока я выполнял поручение. Удивительно, до чего плотно были набиты кладовые и погреба у большинства наших клиентов. Безусловно, попадись мы, отвечать пришлось бы мне, но все всегда заканчивалось благополучно. Я и не подозревал, как пригодится мне этот опыт для выживания: в русском плену мы бы умерли с голоду без воровства.

Шутки мастера были грубоваты и заставляли страдать, в частности, всеми любимого кота, который жил в мастерской и большую часть времени спал. Иногда мастер говорил: «Посмотрим, как высоко прыгнет сегодня Петруша», после чего смачивал в нашатырном спирте кусок ваты и клал его прямо под нос спящему коту. Над прыжком, совершаемым Петрушей в ту или иную сторону, все потешались.

Нелишне упомянуть, что мне совсем нелегко было привыкнуть к долгому рабочему дню и что работа часто превышала мои физические возможности. Тогда я долго не мог заснуть, а заснув в конце концов, продолжал работать во сне.

Рабочий климат, сперва хороший, был испорчен: Хейнц, ученик мастера, оказался завистливым и злобным малым и начал притеснять меня и мучить. Многие задания мы выполняли уже самостоятельно, поэтому никто не видел его уловок, а он, например, всегда пытался устроить так, чтобы при выносе гроба из мастерской во двор я шел спиной вперед, и только я собирался подняться по ступенькам, как Хейнц толкал гроб, и я спотыкался, а то и падал, придавленный тяжелою ношей.

Еще опаснее были его толчки в машинном зале при работающих станках. В те времена они были еще без покрытий – и циркулярная пила, и ленточная, да и

строгальный станок был небезопасен при открытом вращении вала с резцами для рихтовки кромок у досок. Стоило мне пожаловаться, как Хейнц начинал безобразно ругаться, а заканчивал словами: «Заткнись, свинья еврейская!» Просить о помощи мастера смысла не имело, это бы только ухудшило дело, ведь мне было тринадцать, а Хейнцу семнадцать. Ситуация становилась все невыносимее и наконец превратилась в ад. Я был глубоко несчастен, и хотя полюбил столярное ремесло, каждый день казался мне сущим кошмаром.

Крайняя нужда заставила меня искать выход, и мне удалось придумать нечто такое, о чем я с удовлетворением вспоминаю и сейчас. Издевательства Хейнца носили характер припадков, а в промежутках он относился ко мне нормально. Он принадлежал к той породе людей, которые все и всегда поносят. Постепенно я узнал кое-что о его предыдущей жизни и об особенностях его характера. Ему, собственно, хотелось служить на флоте, но его туда не взяли. В школе он не успевал. Родители были в разводе, и отец велел ему стать столяром. Вероятно, из-за разного рода своих недостатков ему пришлось пережить и другие отказы. Столяр из него тоже был никудышный. В крайне бедственном для меня положении я придумал, как поступить. Я начал ему поддакивать, постоянно подогревать его недовольство и довел его отчаяние до предела. Как-то мне попалось на глаза здание, в котором находилось представительство торгового флота, и теперь это навело меня на спасительную мысль: я принялся уговаривать Хейнца добровольно поступить туда. При существующем дефиците кадров, думал я, там не будут слишком разборчивы. Неустанно и красноречиво расписывал я Хейнцу прелести жизни на торговых судах. В конце концов, он ведь и сам туда прежде стремился. Мне чуть ли не за руку пришлось тащить его в пред-



ставительство флота, прежде чем он решился последовать моему совету. И что же? Прошло совсем немного времени, и в один прекрасный день Хейнц исчез навсегда. Его взяли на службу, и я избавился от него. Дай ему Бог счастья!

С приходом Бернхарда все стало совершенно иначе. Приемник Хейнца был шестнадцатилетним веселым цыганским пареньком. Черноволосый, сильный, живой, музыкальный, добродушный и всегда готовый помочь. Мы сразу сошлись. Не стану скрывать, что был очень удивлен, когда он оказался совсем не таким, каким я представлял себе цыган. Значит, и я стал жертвой существовавших предрассудков, и хотя сам был изгоем, бессознательно усвоил нацистские обвинения цыган в вороватости, нечестности и нечистоплотности. Чем иначе объяснить, что я был так приятно удивлен?

Работа в мастерской с каждым днем нравилась мне все больше. Редко мне доводилось встречать таких выдумщиков, как Бернхард. Его единственным недостатком была любовь к шлягерам – их он целыми днями насвистывал или напевал, так что и сейчас меня слегка тошнит, когда я слышу «За полную блаженства ночь». Ему очень нравилось проказничать, он постоянно что-нибудь придумывал, нередко с риском для жизни. Например, когда клеили гробы, он убирал или прятал от Франца струбцины именно в тот момент, когда тому нужно было поскорее стянуть намазанные горячим клеем доски и малейшее промедление могло свести на нет всю работу. Лишь в самый ответственный момент Франц обнаруживал, что одной из заранее приготовленных струбцин нет на месте. Холерик по натуре, он мгновенно выходил из себя. Я видел, как однажды он с такою силой запустил длинной железной струбциной вослед Бернхарду, что быть бы убийству, не увернись тот ловко.

В обеденный перерыв мы отправлялись изучать местность и однажды нашли бумажные упаковки из-под сливочного масла, остатки которого еще можно было соскрести – ценная по тем временам находка.

Как цыган Бернхард подпадал под те же ограничения, что и евреи: особым распоряжением цыган приравнивали к евреям. Поэтому в отношении меня он был свободен от предрассудков. Товарищи по несчастью, мы стали настоящими друзьями, и нам было хорошо в мастерской, пока одна серьезная ошибка не положила конец этой жизни. Задавая старшему подмастерью, о котором мастер предупреждал, что с ним надо быть поосторожнее, вопросы о текущей политике и о войне, мы порой ставили его в тупик и подвергали сомнению его ответы. А Бернхард его даже высмеивал. И хотя работали мы хорошо (я уже стал станочником, и мне приходилось, например, нарезать фрезой соединительные пазы на боковинах пятисот ящиков для перевязочного материала; специалист меня поймет), однажды мне было официально предписано покинуть столярную мастерскую и по достижении четырнадцати лет перейти на химическую фабрику «Гамм и сын». А ведь этого-то я и хотел избежать, для чего добровольно оставил школу. Мастер, Бернхард и я были очень огорчены и предполагали, что распоряжение могло быть следствием доноса. Мы подозревали подмастерье.

Таким образом, и пребывание в мастерской разделилось на две части – тяжелую и приятную, а с переходом на фабрику завершился еще один короткий этап моей жизни.

## Химическая фабрика «Гамм и сын»

К этому же времени относится событие, рассказать о котором я должен был еще в первой главе: при депортации нескольких сотен кенигсбергских евреев я потерял своих школьных друзей и тетю Фанни. Почти всех дорогих мне людей затолкали в товарные вагоны и в буквальном смысле слова «выбраковали». Потеря их стала для меня трагедией. Утрата была невозполнимой; невозможно описать, какой болью она отозвалась во мне. Это была настоящая травма. Но гораздо важнее моей реакции была судьба этих людей. Она не запечатлена в дневниках, и о ней некому рассказать. Не осталось ни одного письменного или устного свидетельства, и мы никогда не узнаем, что они пережили и как умерли. Стремление напомнить об этих людях и было одной из причин, побудивших меня взяться за перо. Ибо лучше назвать по имени хотя бы некоторых из них, чем оставить их всех безымянной цифрой в миллионной статистике. До сих пор не могу понять, почему им было суждено умереть, а мне – жить дальше.

Конечно, все тогда втайне надеялись, что депортированным удастся как-нибудь устроиться. Но потом об их судьбе начали узнавать (дошли эти слухи и до меня), да и заметно стало, как усиливается жестокость режима с ростом потерь на фронте. Каждого одолевали мрачные подозрения. Я представлял себе, как насилуют нежную Рут и мучают моих друзей, и вспоминал сцену несостоявшегося прощания с тетей Фанни, – все это тисками сжимало мне грудь. Чувство вины угнетало меня, ис-

сушало душу. Поводов радоваться жизни оставалось все меньше. Не лучше чувствовали себя и родители, однако им хотя бы не пришлось видеть, как тетя Фанни бессильно опускается на край тротуара.

Я не случайно начал свой рассказ с этого эпизода – слишком тяжело было бы долго молчать о нем. Воспоминание вырвалось наружу немедленно. Я напряженно надеялся, что это подействует, что станет легче, ведь читал же я, что, пересказывая или записывая собственные переживания, можно залечить душевную травму и что это часто практикуется в психоанализе. Но ничто, в том числе и время, не в силах смягчить мою великую скорбь по этим людям.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что в 1942–1943 годах войска Германии, завоеывая другие страны, несли особенно большие потери, прежде всего в России. Победам, орденам и званиям все реже удавалось скрасить существование тех, у кого погибли близкие, и тех, кто навсегда остался калекой. Некоторые начали задумываться над происходящим – чересчур поздно, увы. Ожесточенное «только вперед!» звучало тоже. «Все или ничего!» – призывали власть предержащие, те, кому с самого начала нужно было только «все». А смерти было безразлично, кого уносить: рабов, воинов, пленных или героев; казалось, что гибелью и разрушением управляют силы, наделенные собственной жизнью и динамикой. Будь проклят тот, кто выпустил их на свободу!

Фабрика «Гамм и сын» располагалась в центре Кеннигсберга, в одном из переулков Штайндамма, сразу за кинотеатром «Альгамбра». Высокая труба и два мрачных четырехэтажных корпуса с зарешеченными окнами, извилистый двор с высокой стеной и железными воротами. Здесь имелось все, что возникает в воображении обывателя при слове «фабрика»: бочки, коробки, грязь, вонь и прилежный рабочий люд. На

выходе стоял контрольный аппарат, рычаг которого каждому полагалось нажимать, и, если загорался красный свет, нажавшего обыскивали в поисках украденного. На фабрике изготавливали стиральный порошок, мыло, доильную смазку, крем для кожи, чистящие жидкости, глицериновые продукты и т. п.

В одном из корпусов находились большие паровые котлы, сушильные установки для мыльных хлопьев и складские помещения с жестяными бочками. В другом изготавливали и паковали стиральный порошок. В небольшом здании располагались бухгалтерия и администрация. Главным надзирателем и коммерческим директором в одном лице был «гауляйтер-мыловар» Тойбер. Он походил на Геринга и даже превосходил его толщиной. Всегда с длинной сигарой в зубах, заложив руки за спину, он – совсем как в фильмах Чаплина – изображал из себя большого начальника. Его обходов боялись все. Он громко рычал и, если бывал недоволен, приходил в бешенство. Случалось кое-что и похуже. Так, застав одного старого еврея курящим во время работы, господин Тойбер немедленно позвонил в гестапо. Милого старика забрали (я был поблизости и видел это), а вскоре его жене-нееврейке прислали урну с прахом.

На фабрике трудились люди, которых нацисты надменно объявили неполноценными: проститутки, угнанные русские девушки, французские военнопленные, поляки, цыгане и евреи, причем последние как «недочеловеки» и «паразиты» относились к низшей категории. Присматривали за нами пожилые надсмотрщики и старшие рабочие, по тем или иным причинам признанные негодными к несению воинской службы.

Когда я впервые появился на фабрике, меня направили к господину Тойберу, и он, приняв мои документы, отвел меня к господину Альтенбургу (кажется, так

его звали). В его ведении находился этаж, на котором стиральный порошок извлекали из бункеров и расфасовывали, пачки взвешивали, заклеивали и паковали в коробки, а их обтягивали проволокой, штемпелевали и отвозили на склад. Моя мама трудилась здесь за одним столом с семью другими еврейками, делившими работу между собой. Чаще всего я мог наблюдать, как она, повязав платок поверх рта и носа и окруженная облаком порошка, быстро наполняет картонные пачки. В другие дни она их взвешивала или заклеивала – в зависимости от того, какое задание ей полагалось выполнять на этот раз. В мои обязанности входило следить за тем, чтобы в передвижных емкостях доставало порошка, чтобы всегда хватало коробок и чтобы их, заполнив, увозили. При помощи не всегда исправного приспособления я обтягивал коробки проволокой, затем ставил на них штамп с очередным номером и укладывал их до потолка штабелями в смежном помещении. Этим и исчерпывалось содержание моих ежедневных занятий в первые месяцы, и пусть читатель самостоятельно представит себе, сколь мучительно долгим, бесконечно долгим казался каждый день с его десятью часами монотонного труда. Мне стукнуло четырнадцать лет, я страстно стремился к знаниям и осмысленной деятельности, и фабричная рутина казалась мне пустой тратой времени, нескончаемой и невыносимо скучной.

Разнообразие вносили ссоры женщин за столами, возникавшие в том, например, случае, если жена бывшего председателя суда позволяла себе сделать высокомерные замечания госпоже Леман, или если госпоже Леви казалось, что госпожа доктор Такая-то отлынивает от работы за ее счет. Перебранками легко оборачивались и обсуждения политических событий. Порой мне приходилось призывать спорщиц к спокойствию, не то это сделал бы, но в обидной для них

форме, господин Альтенбург, сидевший отдельно, в небольшой конторе, и озабоченный, главным образом, выполнением производственных норм. Очень скоро я как единственный мужчина начал пользоваться здесь определенным уважением. Несколько преждевременно, чем следовало бы, я узнал, как ведут себя в стрессовых ситуациях женщины разного социального происхождения и с разным уровнем образования. Постепенно, однако, на работу являлось все меньше женщин со звездой. Депортация стала фактом нашей повседневной жизни, и каждый задавался вопросом, когда очередь дойдет до него.

На смену еврейкам присылали зарегистрированных проституток, а несколько позже – девушек, угнанных из их родных мест в России. Я избавился от своих предубеждений относительно проституток: в новой для себя ситуации они обнаруживали приветливость и готовность помочь. Куда хуже приживались на новом месте русские девушки: они по понятным причинам то и дело ударялись в слезы, что неизменно вызывало у нас глубокое сочувствие. Девушек мучила тоска по родине и тревога за близких, о которых они, как правило, ничего не знали. Помочь им было невозможно.

Во время двух перерывов на отдых полагалось находиться в разных помещениях: контакты между членами различных групп вне работы (а по возможности и в ходе ее) предотвращались. Даже свои скудные завтраки и обеды мужчины и женщины ели раздельно. У меня была заветная мечта – устроиться экспедитором или на производство, уж слишком невыносимой сделалась однообразность выполняемых мною операций. Если выпадала свободная минута, я тайком от Альтенбурга убегал наверх и помогал в изготовлении порошка. Благодаря этому, мне удалось уговорить тамошнего старшего рабочего подать просьбу о моем переводе,

и, когда у него выбыл один из работников-евреев, это место занял я. Наконец-то моя работа стала не столь монотонной, пускай и более тяжелой: мешки с содой весили больше коробок с порошком. Кашеобразную массу стирального порошка нужно было на тачке доставлять от мешалок к сушильным площадкам, а на другой день высушенную массу дробили и загружали лопатой в мельницу. Но мужчины, с которыми я теперь трудился, вели интересные беседы, и я принимал в них участие. Мой день, таким образом, стал содержательней, а темы разговоров занимательней. Особенно благодарен я доктору Хеллеру, который умел, не отрываясь от работы, немногими словами сказать очень многое. Он приносил мне книги, объяснял непонятные вещи и попутно рационализировал наш труд.

Не помню, сколько у нас было выходных, знаю лишь, что мало. К тому же, помимо десятичасового фабричного труда, приходилось выполнять множество обязанностей по обеспечению повседневной жизни: стоять в очередях в продовольственные лавки для евреев, добывать топливо и т. д. Сегодня и невдомек, сколь тяжелой была домашняя работа. Взять большую стирку – с корытом, стиральной доской, котлом для горячей воды и отжиманьем белья в подвальной прачечной, развешиваньем его на чердаке и глаженьем на кухне. Причем отец, по сложившейся традиции, и не пытался помочь маме. Помогать полагалось мне, а он учил китайский! Это было для него бегством от невыносимой действительности. У меня же на занятия скрипкой оставалось совсем мало времени. Тем не менее я играл ежедневно и делал успехи. Мама аккомпанировала на фортепьяно и всеми силами старалась помочь, хотя оба мы очень уставали на работе. Я даже писал картины, а порою и стихи, которые обдумывал во время отупляющего фабричного труда. Как ни старался я отвлечься от по-



стоянных дум о своих школьных друзьях, меня мучила тревога за их судьбы. Я сильно тосковал по ним, мне их очень не хватало.

Вскоре на фабрике остались только евреи, состоявшие в браке с неевреями, и их дети. Вспоминаю работавших в экспедиции господина Мендельсона и его стройную дочь, которая вела себя несколько вызывающе. Они тоже относились к категории евреев, не подлежащих депортации. Господин Мендельсон был чрезвычайно разговорчив и рассказывал о себе невероятные истории. Его дочь сумела расположить к себе господина Тойбера и пользовалась этим. И отец, и дочь вносили оживление в скучную фабричную жизнь, распространяя вокруг себя хорошее настроение. Когда я стал старше и сильнее, а нехватка персонала сделалась ощутимей, Мендельсон устроил так, чтобы меня время от времени брали работать в экспедицию. Мне поручали носить мешки с цементом, катать бочки, возить на тележке коробки и ездить на грузовике в порт.

Но это произойдет только через два года, через два долгих года, а пока – ежедневный принудительный труд и ежедневное гадание, чего ждать – смерти или спасения. Все действовало на нервы. Страстное желание, чтобы события развивались стремительней, было неспособно ускорить ход времени. Война становилась все ожесточенней, но время – так нам, по крайней мере, казалось – застыло, словно парализованное страхом.

Даже простое перечисление главных событий ясно показывает, что кульминация военных удач Германии осталась позади. Однако антиеврейские постановления множились, что свидетельствовало о намерении режима ускорить осуществление тайного плана – «окончательного решения» еврейского вопроса.

После высадки англо-американских войск на севере Африки 23 октября и 7 ноября 1942 года генерал Монт-

гомери одержал первые крупные победы под Эль-Аламейном. Тогда же начинается советское наступление и окружение под Сталинградом 6-й немецкой армии. Она капитулирует 1 февраля 1943 года. Спустя несколько дней Геббельс провозглашает «войну до победного конца», что наполняет жизнь повседневными лишениями. Бомбардировки немецких городов более чем тысячью самолетов становятся частью военной стратегии противника. Союзники 10 июля высаживаются на Сицилии и 3 сентября в Италии, где уже свергнут диктатор Муссолини. Военное счастье отворачивается от Гитлера.

Приведу лишь некоторые из многих сотен предписаний, касающихся евреев (из «Особого законодательства для евреев в национал-социалистском государстве»):

#### 7. 8. 42 (РСХА)

Сообщение евреями их бывших званий и профессий в переписке с властями нежелательно. Несоблюдение влечет за собою последствия. Данное предписание распространяется и на евреев, состоящих в «привилегированном смешанном браке».

#### 14.8.42 (Рейхсминистр финансов, 0 5400 – 217 VI)

При реализации предметов домашней обстановки, ставших собственностью рейха вследствие лишения евреев имущественных прав, предпочтение должно отдаваться пострадавшим от бомбардировок, переселенцам и немцам, изгнанным из иностранных государств.

#### 21. 8. 42 (Рейхсфюрер СС и Шеф германской полиции)

Лица, предоставляющие свою жилую площадь евреям, не зарегистрированным согласно правилам, навлекают на себя угрозу применения к ним мер воздействия со стороны гестапо.

22. 8. 42 (Торговая палата, 80/42)

Евреям Дрездена, носящим еврейскую звезду, воспрещается покупать мороженое.

1. 9. 42 (Рейхсминистр внутренних дел)

Имущество умерших заключенных концлагерей становится собственностью рейха.

18. 9. 42 (Рейхсминистр продовольствия и сельского хозяйства, II В I - 3530)

Снабжение евреев мясом, мясопродуктами, яйцами, молоком и прочими нормированными продуктами питания прекращается. Продовольственные нормы для еврейских детей снижаются. Продовольственные карточки для евреев получают особую маркировку. Снабжение евреев продуктами наборами прекращается.

5. 11. 42 (Рейхсфюрер СС и Шеф германской полиции)

Все концлагеря, находящиеся на территории рейха, освободить от евреев, всех евреев депортировать в Освенцим и Люблин.

11. 3. 43 (РСХА, II А 2 № 100/43 – 176)

Евреев, отбывших наказание, отправлять в концлагеря Освенцима или Люблина.

11. 7. 43 (циркуляр Шефа партийной канцелярии, 33/43)

Секретно! По согласованию с фюрером предписывается: при публичных обсуждениях еврейского вопроса не упоминать о его окончательном решении, а говорить о направлении евреев на работы, отдельно от других и в установленном порядке.

Все книги, с интересом прочитанные мной в то время, обладали особым свойством: они переносили в совершенно иной мир. «Семья Мендельсонов», написанная племянником композитора, повествовала о высоком нравственном и культурном уровне членов этого се-

мейства. Ничуть не меньше захватили меня «Художники Ренессанса» Вазари, а публикация наследия рано ушедшего Отто Брауна показала, каким источником силы и утешения может быть творческий дух. Успокаивающе действовало и знакомство с проникнутым гармонией миром Адальберта Штифтера. Сюда же нужно отнести и мудрость Лао-Цзы и Конфуция, которая восторгала отца и время от времени становилась предметом наших с ним бесед. Чтение великих творений человеческого духа, как и музыка, утешало и успокаивало, отвлекало от неудержимого приближения катастрофы – возмездия Германии за ее манию величия и человеконенавистничество. Один за другим немецкие города подвергались бомбардировкам и обращались в руины. Шаталось все, что с таким трудом было завоевано. После непрерывных наступлений началось отступление. Его стыдливо называли «выравниванием линии фронта». Человеческие жертвы исчислялись миллионами.

Когда война доберется до Кенигсберга, было лишь вопросом времени, и этот час пробил в августе 1944 года: два налета, совершенных в общей сложности свыше чем 800 британскими тяжелыми бомбардировщиками, раз и навсегда уничтожили то, что старательно создавалось и накапливалось веками. Океан пламени обратил в руины несравненно прекрасный, прославленный, древний город. Две ночи, следовавшие почти одна за другой и обогранные кровью и заревом пожарищ, возвестили потрясенным кенигсбержцам о надвигающемся конце.

## Бомбардировки Кенигсберга

Мне вновь не давал покоя вопрос о природе справедливости. Уж слишком очевидно было, что ни судьба, ни случай, ни суд Божий или человеческий не подчинялись какому бы то ни было рациональному объяснению, не поддавались хоть сколько-нибудь логическому обоснованию. На фабрике рассказывали о казненных поляках: их повесили в порту по обвинению в разворывании посылок полевой почты. Брата и сестру Шоль выдали, когда они распространяли листовки с призывом к сопротивлению, и председатель народного трибунала Фрайслер приказал их обезглавить. Где-то на межфронтной полосе истек кровью от раны в живот Курт, родители которого были нам известны как мужественные противники режима. То и дело мы узнавали об арестах, депортациях и самоубийствах еврейских родственников, друзей и знакомых. События 20 июля 1944 года потрясли нас: еще одно покушение на Гитлера не удалось, а ведь это была последняя возможность своими силами покончить с безумием. Надежду на это пришлось похоронить вместе с расстрелянными и повешенными бойцами Сопротивления. Теперь Гитлер мог избавиться от своих противников из числа генералов и усилить меры безопасности.

Казалось, силы разрушения питает неведомый источник и что-то заставляет людей без устали истреблять друг друга и уничтожать плоды своего труда. Почему удача не сопутствовала тем, кто стремился к миру? Я спорил с Богом и все больше роптал на него.

Мне казалось, что небесный режиссер искал эффектного финала для той трагедии, в которой мы, люди, играем, а подобающим образом положить конец беспредельной человеческой гордыне способна лишь катастрофа невообразимых размеров. Погибнут многие, очень многие, но Богу все равно, кто будут эти люди, пока дело не касается непосредственных виновников. Так укорял я Бога. И слышал, нет – чувствовал, в ответ: «Ты не признаешь меня, Михаэль, и питаешь ложные надежды, оттого и разочарован». С этим я был готов согласиться. Но что же тогда такое Божья милость, Божья мудрость, Божья доброта? Я нисколько не сомневался в том, что все существующее и происходящее существует и происходит, благодаря некоей влиятельной силе, и ее действие мне было знакомо. Она внушала мне благоговение; я всегда был готов склониться перед ней, восхищаться ее всемогуществом. Но зачем ей понадобилась эта трагедия?

Я все больше склонялся к мысли о неприменимости к Богу человеческих критериев. Библейские истории, считал я, не ведут к пониманию Бога, а лишь очеловечивают его. Теперь я смотрел на Библию, будь то Ветхий или Новый Завет, как на препятствие, как на то, что веками сковывало религиозное сознание и мешало иному познанию Бога. Я считал наше воображение достаточно развитым, чтобы признать первородную силу, для которой жизнь и смерть едины и которая есть первооснова всего сущего. Силу, которая в бесконечном множестве своих ипостасей вызывает становление и распад, не разделяет наших оценок и мнений и нимало не нуждается в них. Эта скрыто действующая первородная сила есть Бог земной природы с ее великими и малыми тварями, и она же есть Бог звезд и всего космоса. И Бог этот вовсе не любит людей с их разумом сильнее, чем все прочее. Они не дают ему для этого

никаких поводов, ибо человеческие чудеса недостойны его чудес. Но тот, кто хочет, может его познать. И почувствовать.

Думая так, я стал расходиться во мнениях с отцом и все сильнее его критиковать. Он раздражался глубокомысленными тирадами о добре и зле, праве и бесправии, однако не хуже моего мог наблюдать, как все вокруг доказывает абсурдность применения этих понятий. Выходило, что, коль скоро на земле нет никакой справедливости, следует ждать ее торжества на небесах, передвинув его наступление на время после смерти. Что, конечно, и удобно, и делает доказательства излишними. Медленно и неизбежно мы с отцом становились противниками и в конце концов превратились в ожесточенных спорщиков. Это чрезвычайно осложняло сосуществование: судьба объединяла нас в стремлении выжить, и в то же время мы нападали друг на друга, пытались задеть, вывести из себя. Со временем мама научилась унимать нас обезоруживающе простыми и мудрыми словами. Когда слушать наши споры становилось совсем невмоготу, она замечала: «Перемелется – мука будет», и этого хватало, чтобы остудить наши горячие головы. Другой ее фразой, всегда сопровождавшей меня в дальнейшем, было: «Но иногда можно!» – этим она прекращала «тяжбы», отнимавшие у нас столько энергии во время русской оккупации. Фраза туманная и неизменно сбивавшая с толку, ибо где же та граница, до которой еще можно и после которой уже нельзя? Снимая напряжение, это высказывание сильно озадачивало и ставило меня в тупик, однако следует признать, что оно повлияло на принятие некоторых жизненно важных решений.

Мы с Клаусом наладили связь при помощи трансформаторов и дешевого провода, протянутого через наши смежные балконы от его кровати до моей, и об-

менивались посланиями посредством азбуки Морзе и лампочек. Забавляясь этим, мы лишали себя драгоценного сна. К тому же по ночам нередко объявляли воздушную тревогу. К бесконечному вою сирен мы уже привыкли, а с недавних пор началась еще и пальба зениток. О том, что приготовил противник, мы узнали 26 августа 1944 года.

Прошло немало времени с того момента, как я отлучал Клаусу «спокойной ночи», когда раздался вой сирен. Одно из этих воющих чудищ установлено на крыше дома напротив. Мы привыкли реагировать неспешно – слишком часто тревога оказывалась ложной. До сих пор не упало ни одной бомбы, лишь в начале русской кампании несколько налетов противника застали город врасплох. В полусне натягивая на себя одежду, слышу, как начинают бить зенитки. Эти длиннотвольные пушки способны производить адский грохот. Их злые, отрывистые выстрелы слышатся и рядом, и вдали.

Сегодня пальба нервознее и чаще, чем обычно. Ясно, что на сей раз дело приняло серьезный оборот. Из любопытства выхожу на балкон. Это строго запрещено: с одной стороны, во избежание подачи сигналов авиации противника, с другой – из-за опасности быть задетым осколками зенитных снарядов. Ночное небо являет собою впечатляющее зрелище. По нему беспокойно мечутся ярко-белые лучи прожекторов, словно нарисованные грунтовой краской на черном фоне. Между ними вспыхивают разрывы зенитных снарядов, и затем город озаряют несколько источников света, висящих в небе на парашютах и похожих на огромные рождественские елки с зажженными свечами. С их помощью пилоты бомбардировщиков могут различать цели, и вот уже слышится низкий и грозный гул самолетов. Их двигатели звучат иначе, чем немецкие.

Я понимаю, что давно пора спуститься в подвал, где



уже находятся мама, отец и другие жильцы дома. Все в одном помещении: мама и я с еврейскими звездами, боец противовоздушной обороны Вольф в шлеме и с нарукавной повязкой, руководитель местной нацистской ячейки Рогалли в форме штурмовика. Потолок подпирают толстые деревянные балки, призванные защитить нас от опасности быть раздавленными обломками дома. Два расположенных на потолке окна защищены от осколков вынесенными вперед бетонными вентиляционными колодцами. Железная подвальная дверь снабжена двумя засовами. Все расселись вокруг опорных балок на деревянных скамейках. Со временем за каждым закрепилось его постоянное место. Мы стали инородными телами в этом сообществе поневоле, что неприятно и нам, и всем остальным. Особенно Рогалли старается всякий раз показать свое неудовольствие и полное к нам презрение. Его боятся все – он может навредить. Никто не рискует заговаривать с нами, семейство Норра в том числе. Так что мы с мамой в полном молчании внимаем тому, что говорят другие. (Однажды все это закончится: появится распоряжение, воспрещающее нам спускаться в оборудованное убежище, и прятаться придется в нашем крохотном угольном подвальчике рядом с домовой прачечной.)

Сегодня все напуганы. Боец противовоздушной обороны Вольф рассказывает, что объявлено о приближении к Кенигсбергу значительных соединений британской авиации, и усиливающаяся стрельба зениток подтверждает его слова. И вот началось. Земля колеблется, и неслыханные до сих пор гуд и грохот повергают нас в ужас. Со злорадством замечаю, что лицо господина Рогалли белее полотна. Грохот и вой усиливаются (по-видимому, бомбы снабжены воющим устройством), и я напряженно пытаюсь понять, можно ли по звуку установить, когда дойдет очередь до на-

ших улиц и на каком расстоянии от нас рвутся бомбы. Но поскольку они различного размера, сделать это невозможно. Тогда я пытаюсь представить себе, что будет, если наш дом поразит прямым попаданием. Пол дрожит, стены шатаются, и пропадает всякая вера в их прочность. Но я не разделяю охватившего всех смертельного страха. Возможность внезапной смерти – знакомое мне состояние, с ним я давно свикся, а раз ни на «когда», ни на «как» повлиять невозможно, мысль о том, что «смерть моя в руках Божьих», стала частью моего естества, моим панцирем. Мы никогда не говорим об этом с мамой, но уверен, что она ощущает то же самое.

Кажется, конца бомбардировке не будет. Она возобновляется всякий раз, когда возникает надежда, что все позади. В одну из передышек Вольф отваживается выглянуть на улицу и сообщает, что видел пожары, но все ближайшие дома еще целы. Наконец бомбардировка прекращается, вой сирен возвещает об отбое, и мы выбираемся из подвала с ощущением, что и на сей раз все закончилось благополучно, по крайней мере для нас.

Над северной частью города небо окрашено в алый цвет. Сколько людей погибло или было ранено? В нос ударяют запахи гари, фосфора или магния. Но облегчение, что сам остался цел, заглушает все иные ощущения.

Прошло всего три ночи, и 29 августа нас опять загнали в подвал. Это был неопиcуемый ад. Налетам и взрывам не было конца. Несколько раз казалось, что попали в наш дом, но мы ошибались. Хуфен, окраинный район Кенигсберга, был разрушен лишь частично. В этот раз весь центр города – от Северного вокзала до главного – бомбардировщики планомерно и добросовестно усеивали канистрами с напалмом, впервые

примененными именно здесь, и разрывными и зажигательными бомбами различной конструкции. В результате весь центр вспыхнул почти разом. Резкое повышение температуры и мгновенное возникновение сильнейшего пожара не оставили гражданскому населению, жившему в узких улочках, никаких шансов на спасение. Люди сгорали и у домов, и в подвалах. Спаслись смогли только те, кто, своевременно почувствовав опасность, покинул центр города прежде, чем вспыхнуло пламя. Некоторые прыгали в Прегель. Всяк знает о бомбардировке Дрездена, ее часто описывали со всеми ужасающими подробностями. То же случилось с Кенигсбергом шесть месяцами раньше.

Пока тысячи людей отчаянно пытались выбраться из пламени, я снова вышел на балкон и смотрел на языки огня над пылающим городом. Теперь уже никого нельзя было спасти. Туча дыма все отчетливей вырисовывалась на фоне предрассветного неба и своими размерами походила на грибы будущих атомных взрывов. Полуобугленные остатки бумаги, материи и древесины, поднятые вверх потоком раскаленного воздуха, падали из облаков, нависших над головой. Обгоревшая школьная тетрадь, куски гардин, постельного белья, упаковочной бумаги, картонных коробок – что только ни падало наземь, покрывая все кругом. Треск и грохот оглушали. О борьбе с огнем даже силами профессиональных пожарных нечего было и думать. Любое приближение ближе чем на двадцать метров было невыносимо из-за убийственной жары. Спасатели занялись тушением отдельных зданий на окраинах, а исторический Кенигсберг пришлось оставить на произвол судьбы. Бессильные что-нибудь предпринять, мы наблюдали, как он горел.

Невозможно описать бедственный вид города, открывшийся мне несколькими часами позже, когда я

проходил мимо центра, решив хотя бы попробовать добраться до своей работы. Сотни и тысячи лишившихся крова устраивались в парках и скверах, катили повозки, тележки, детские коляски, тачки – все, что имело колеса. Повсюду чемоданы и сумки – остатки спасенного имущества. Картина, конечно, тотчас напомнила мне сборы евреев перед депортацией. Но сходство было обманчивым, ведь эти люди остались живы и могли рассчитывать на помощь. Многие были в обгоревшей одежде и измазаны сажей, многие оплакивали пропавших близких. Преисполненный сочувствия к детям, матерям и беспомощным старикам, я, прикрыв свою звезду, отправился домой. Около трех суток в город было невозможно войти. И по прекращении пожаров земля и камень оставались раскаленными и остывали медленно. Черные руины с пустыми оконными проемами походили на черепа.

Похоронные команды собирали обугленные тела тех, кто погиб на улице, и скрючившиеся тела тех, кто задохнулся от дыма в подвале. Погибли многие тысячи, и у каждого была своя судьба. Как выяснилось позже, были тут и евреи, жившие в смешанных браках. Кто способен рассказать о последних минутах жизни несчастных? Можно ли их вообще себе представить? При какой температуре человек теряет сознание? Все были потрясены открытием, что у войны есть еще и такое – невообразимое – измерение. Члены местных отделений нацистской партии раздавали одеяла, кофе, утешали и разыгрывали из себя спасителей, а между тем эту беду навлекли сами. Руководству англо-американских войск следовало бы знать, что от подобных налетов страдали гражданские лица, женщины и дети, а ход военных действий едва ли менялся. Эти акты мести не были ни героическими, ни разумными и свидетельствовали об аморальном складе мышления, подобном нацистскому.

Этим способом гитлеровскую военную машину было не остановить – наоборот, такие действия вели к ожесточенному и отчаянному сопротивлению.

В книге «Битва за Восточную Пруссию» майор Дикерт пишет:

Значительно более тяжелый налет около 600 британских бомбардировщиков, пересекших, согласно информации вермахта, шведское воздушное пространство, произошел в ночь с 29 на 30 августа и имел опустошительные последствия для плотно застроенного центра Кенигсберга. С ужасающим успехом здесь были испытаны новые реактивно-зажигательные бомбы, и жертвами огненной стихии пало множество пытавшихся спастись бегством. Пожарная служба и противовоздушная оборона оказались бессильны.

На этот раз бомбардировке подверглись исключительно жилые кварталы с рассыпанными тут и там лавками и административными зданиями, что дает право говорить о террористическом акте. Добычей огня стали почти все культурно значимые здания с их уникальным содержанием, среди них: кафедральный собор, замковая церковь, университет, старый квартал складов. Эти два налета разрушили свыше 50 процентов архитектурного фонда города; число жертв, в основном среди гражданского населения, оценивается в 3 500 человек [их было значительно больше], и свыше 150 000 человек осталось без крова ... Еще несколько дней в Кенигсберге бушевали пожары. Многие и не пострадавшие от бомбардировок горожане также поспешили покинуть город, чтобы найти себе приют, как правило весьма примитивный, в ближних или дальних окрестностях. Кенигсбержцы никогда не забудут ужас тех ночей.

## Зимняя гроза

День и ночь пылал древний город, а мы лишь беспомощно наблюдали, как все вокруг становится добычей жадного пламени. Словно злой дух, гигантская туча дыма вздымалась над городом, не подпуская никого к своей добыче, и в течение первых двух дней эта картина почти не менялась. Затем пламя несколько ослабло, и если до того черные облака дыма были подсвечены оранжевым, то теперь они окрасились в бордовый цвет. Эти облака и повсюду распространявшийся отвратительный запах постоянно напоминали о трагедии. Многие кенигсбержцы были до того напуганы бомбардировками, что покинули не только город, но и провинцию. Все скорбели о случившемся. Страстно желая Гитлеру поражения, ведь только его капитуляция могла вернуть мне свободу и положить конец войне, я в то же время от всей души сочувствовал городу, который постигла такая участь. Он, собственно, разделил судьбу польских, русских и французских городов, например Варшавы, а также английского Ковентри и голландского Роттердама. Раньше думалось, что города переживут нас, как они пережили предшествующие поколения, думалось, что они постоянно растут, что они бессмертны. И вот – наступил конец 690-летней истории Кенигсберга, началось умирание города, навсегда потерявшего свой облик.

Крепость Кенигсберг была заложена в 1255 году Тевтонским рыцарским орденом в честь короля Оттокара II Богемского. Крепость, а впоследствии город и

весь край приходилось часто оборонять. В 1370 году от литовцев, затем от поляков. В 1525 году прусское орденское государство становится княжеством, находящимся в ленной зависимости от польской короны. Об этом времени вышедшие до 1933 года исторические сочинения пишут как об эпохе расцвета. В 1544 году герцог Альбрехт основал университет, который был назван в его честь и старше которого был только краковский, основанный в 1364 году Казимиром III (Великим). Мир был нарушен, когда Литве, Польше и Пруссии пришлось совместно защищаться от наступавших на Запад войск Московского княжества и татар. В четырех оборонительных войнах понесли много потерь. Согласно источникам, жестокие татары угнали в плен 11 000 мужчин и женщин, чтобы продать их в рабство. Шведско-польская война 1655–1660 годов стала еще одним нелегким испытанием для Кенигсберга. Шведы уже стояли у стен города, но великому курфюрсту удалось освободить Восточную Пруссию, причем его войско переправилось по льду залива. В 1701 году Фридрих I, коронованный в Кенигсберге, стал королем Пруссии. Вскоре после этого вспыхнула эпидемия чумы. Несколько десятилетий спустя русские разбили пруссаков под Гросс-Егерсдорфом, и уже тогда русская царица мечтала присоединить к своей империи Восточную Пруссию вместе с Мемельским краем и балтийскими портами. О бедствиях эпохи русского владычества, во время Семилетней войны, известно следующее: в столице края царили эпидемии и нищета, так что родители вынуждены были продавать своих детей русским торговцам по 18 серебряных грошей. Страх перед грабежами вынуждал терпеть от русских все новые поборы. Несмотря на это, люди собирали все, что могли, чтобы помочь армии Фридриха.

Период с 1762 по 1806 год был, если не считать опу-

стошительного пожара, снова спокойным. Процветали торговля и духовная жизнь, принесшая городу непреходящую славу, благодаря Канту. Но потом наполеоновские войны и три армии – французская, русская и прусская – опустошили край своими месячными постоями. Рассказывают, что лошадям скармливали солому с крыш. Ни одна из частей прусской монархии не пострадала сильнее Восточной Пруссии. Контрибуции удавалось выплачивать лишь путем займов, которые кенигсбержцы погашали и после 1900 года.

В выпущенной в 1924 году магистратом Кенигсберга книге «Кенигсберг в Пруссии» написано:

В XIX веке, после освободительной войны, Кенигсберг медленно восстановил свои силы. В середине XIX века, когда грандиозные вопросы объединения Германии при участии народа занимали все умы, в первых рядах поборников объединения стоял Кенигсберг, представленный Теодором фон Шеном, доктором Иоганном Якоби, Симсоном и рядом таких талантов, пребывавших в его стенах, как Вильгельм Йордан, Готшалль, Грегоровиус, Ховербек, Гобрехт и Рупп. Симсон, уроженец Кенигсберга, а впоследствии и его почетный гражданин, был спикером депутации, предложившей в 1849 году Фридриху Вильгельму IV императорскую корону... [Двое из вышеназванных заслуженных лиц были еврейского происхождения или евреями: доктор Иоганн Якоби и Эдуард фон Симсон.]

Не пощадила Восточную Пруссию и первая мировая война: биться с русскими пришлось под Гумбинненом и Танненбергом на Мазурских озерах. В 1920 году за принадлежность к Германии проголосовали 98 процентов жителей Восточной Пруссии (и 92 – Западной). А потом пришел Гитлер со своей мечтой о тысячелетнем рейхе. Руководствуясь идеей, что лишь представитель германской расы на что-то годен и поэтому имеет право поработать других, он превратил Восточную Пруссию



в плацдарм для коварного нападения на Россию. Собственно, со времен Наполеона всякий знал, что Россию завоевать невозможно. Было известно и то, что все неудачные нападения на Россию приводили к расширению ее территории. Но Гитлер полагал, что с помощью современной военной техники и внезапного нападения ему удастся достичь невозможного. Поэтому и только поэтому к Восточной Пруссии теперь приближалась Красная Армия. Народу, собравшемуся завоевать мир, предстояло получить жестокий урок. С надеждой на продолжение прусской истории на территории края после поражения Гитлера следовало распротиться.

Бомбардировки Кенигсберга озаменовали его закат. Восточная Пруссия была навсегда потеряна из-за неспособности своевременно закончить проигранную войну и так или иначе положить конец диктатуре. Ныне все, созданное трудом многих поколений, прекрасная земля, материальное и духовное наследие мужественных предков – все превратилось в имущество несостоятельных должников – неудачливых покорителей мира.

Это станет ясно позже, а пока пепел и сажа покрывали город серебристо-серым и черным цветом, и сквозь них еще долго проступали ярко-оранжевые раскаленные обломки, а позже красно-бурая нагота кирпичной кладки. Лишь через несколько дней, когда жар спал, стало можно передвигаться по лежащему в руинах городу, используя широкие улицы. Всюду подстерегала опасность: могла обвалиться стена. Мне пришлось проходить через блок-посты, поскольку посторонним проход был воспрещен. Но у рабочих предприятий военного значения, естественно, имелись пропуска.

Добравшись до фабрики, я обнаружил, что, несмотря на многочисленные повреждения, стены уцелели. По лестницам и этажам можно было ходить. Сразу стало

ясно, что здесь нетрудно провести ремонт. И в тот же день мы с французскими военнопленными начали убирать помещения и налаживать оборудование. От нас требовали полной отдачи сил, и русские девушки работали круглые сутки. Все они остались в живых, потому что укрылись на окраинах прежде, чем пожары вспыхнули в полную силу. Если не считать некоторого ущерба, причиненного действием высокой температуры, их квартиры в подвалах уцелели, на нарах можно было спать. Фабрика находилась не в центре города, и некоторые дома в этом районе остались неразрушенными, не повреждены были нижние этажи и угловые здания. Здесь сразу же восстановили учреждения и всевозможные предприятия.

Через какое-то время фабрика заработала на полную мощность. Рабочие вновь стояли у машин и изготавливали преимущественно стиральный порошок и «военное мыло». Теперь мои обязанности менялись чаще. Я стал «джокером» – разнорабочим. Так, однажды меня поставили у сушильной машины, чтобы непрерывно сыпавшуюся из нее мыльную стружку грузить лопатой в ящики, а их складывать штабелями. Это была конвейерная работа, и ее я ненавидел, поскольку машина весь день не давала мне передышки. Приходилось также ездить на грузовике разгружать вагоны или баржи. Для этого требовались крепкие мужчины, способные таскать на спине тяжелые мешки – некоторые весили до ста килограммов. В те времена у меня еще было достаточно сил, и я выполнял такую работу довольно охотно. Поездка на грузовике туда и обратно давала ощущение большей свободы, нежели на фабрике, где я был заперт в помещении с зарешеченными окнами.

Однажды нарядчик поручил мне дезинфицировать кровати, доставленные из квартир русских девушек.

Это занятие, увы, не осталось без последствий. Гидратом окиси натрия, который использовался при производстве мыла, я протирал разобранные на части кровати и миллионами уничтожал клопов с их потомством. Несмотря на все меры предосторожности, я прихватил паразитов домой. Заметил я это не сразу, а когда заметил, было поздно. С точки зрения выведения клопов, можно считать счастьем, что нашему дому суждено было сгореть.

Людей со звездой среди рабочих становилось все меньше. Большинство было постепенно депортировано и, надо полагать, уничтожено. Вспоминаю Олафа Бенхайма и Бернда Леви, бывших несколько старше меня. Благодаря матерям-христианкам, этим подросткам, как и их отцам, немедленная депортация не угрожала. Устроился где-то и господин Вайнберг. Время от времени он заходил к нам и, усевшись за наш прекрасный «Блютнер», просил подыграть ему на скрипке. В то время он был единственным, чьи визиты мне припоминаются. Ведь уже давно никто из отцовских знакомых и друзей не решался посещать семью, в которой имелись евреи. Всякому внушали страх те формы, которые приняла жестокость нацистов и гестапо. Самое безобидное действие можно было квалифицировать при помощи таких слов, как «государственная измена», «подрыв обороноспособности», «сотрудничество с врагами народа», «расовое преступление», «шпионаж» и т. д., и за все это полагалась смертная казнь. Интриганы удержу не знали, и такое положение дел изменилось лишь незадолго до окончательного разгрома. А пока даже мой отец из страха перед людьми, могущих навредить, приветствовал их, боязливо произнося: «Хайль Гитлер» – ведь фашистское приветствие было обязательным. Меня же этот вечный страх бесил, и порою я презирал за него отца. Наши отношения ухуд-

шались день ото дня. Ни советом, ни одобрением он не поддерживал моего стремления совершенствоваться в игре на скрипке, а ведь был признанным педагогом. Он уходил в себя и все больше игнорировал происходящее вокруг и мое мнение на этот счет. Ну а меня это злило, и у нас то и дело возникали ожесточенные перепалки.

Все труднее было добывать пропитание. Ограничиться тем, что полагалось евреям, стало невозможно, и те продукты, которые отец получал по своим карточкам, приходилось делить на троих. Мы начали голодать и сильно худеть. И тут Клаус принес мне маленького кролика. Я соорудил ему клетку на балконе принялся усердно собирать траву. Ожидалось, что на Рождество у нас будет настоящее жаркое. Увы, очень скоро я подружился со зверьком и полюбил его всем сердцем. Ему разрешалось свободно прыгать по квартире, причем мочиться он предпочитал на постели. Отучить его от этого оказалось невозможно, и пришлось снова запереть его в клетку.

Друг Клаус подарил мне и наушники с детекторным приемником, и с помощью комнатной антенны и похожего на пирит кристаллического детектора можно было при умелой настройке слушать радио. Звук был совсем неплохой. Я установил это устройство у себя за кроватью, ведь иметь его, конечно же, не полагалось. Впервые я слушал радио в тиши и спокойствии, преимущественно по ночам. Музыка, которую транслировали, завораживала меня. Вскоре я выяснил, когда бывают самые интересные передачи, и больше всего мне полюбилась утренняя воскресная «Шкатулочка». Наряду со стихами, которые читал Маттиас Виман, звучала и великолепная камерная музыка. Имена двух музыкантов сохранились у меня в памяти: пианист Михаэль Раухайзен и скрипач Рудольф Шульц, с которым судьба еще сведет меня. Восторг, с которым я слушал

Баха, Моцарта, Бетховена, так же трудно описать, как и вкусовые ощущения изголодавшегося, которому дали кусок хлеба. Я испытывал сильнейшее желание быть окруженным одной лишь музыкой. Казалось, нет ничего чище ее и ничто не контрастирует с политикой, фабрикой и войной сильнее, чем она. А то, что и звуками можно мучить, я узнал гораздо позже. Ведь мы, люди, привносим во все, чем занимаемся, свои инстинкты. Тщеславие, властолюбие и ненависть в той же степени, что и радость, страдание и любовь. Увы! Но в то время я еще четко отделял доброе и благородное от злого и низменного, и музыка для меня, несомненно, относилась только к доброму и благородному.

Другим способом отгородиться от действительности было рисование, и похвалы моим успехам многое значили для меня и сильно меня стимулировали. Я думаю, способность к живописи была тем единственным, что восхищало отца во мне. Мне удавались портреты, я писал метафизические сюжеты, но никогда не считал себя достаточно одаренным. Я ясно ощущал, что у меня нету той особой творческой жилки, которая необходима живописцу. Все мои помыслы были устремлены к музыке, и я очень жалел, что у меня так мало времени на нее. Поэтому во время перерывов на работе я упражнялся в технике владения смычком, используя палочку и карандаш. Своего рода скрипичная гимнастика, бывшая вполне эффективной.

Надежда на победу, поддерживаемая неустанной пропагандой, мешала принять решение, давно ставшее неотложным. Каждый час слепого повиновения – генералов или администраторов, военных или штатских – приносил смерть тысячам людей и разрушение все большему числу немецких городов. Тот факт, что теперь и немцы были вынуждены опасаться за свою жизнь, не увеличивал для нас, носивших звезду, шан-

сов выжить – наоборот, нашей жизни угрожали не только нацистские планы, но и военные события. Что будет, спрашивали мы себя, когда военные действия перенесутся на территорию Восточной Пруссии? Русские, плацдармом для нападения на которых она вновь сделалась, не будут разбираться в том, кто виноват больше, а кто меньше. И уж тем более их пули и снаряды – не будут. Но еще до того носителей звезды, наверняка, подвергнут «выбраковке». Необходимые для этого распоряжения уже были разработаны.

В октябре 1944 года русские заняли Мемельский край и взяли в кольцо дислоцированные в Курляндии дивизии. Положение становилось все более критическим, и после ожесточенных боев сдавался один город за другим. Кенигсберг все более походил на прифронтовой город, на военный лагерь. Сводка вермахта от 19 октября 1944 года сообщала:

Бои на восточнопрусской границе между Зудауеном и Ширвиндтом продолжаются с нарастающей силой. Эйткау потерян, но наши войска, мужественно сражаясь, предотвратили задуманный русскими прорыв. К настоящему времени за три дня сражений уничтожено 250 вражеских танков.

От 23 октября:

Большевикам удалось глубоко вклиниться в нашу оборону между Зудауеном и Гольдапом. После тяжелых уличных боев Гольдап оказался в руках противника. В тылу у прорвавшихся русских, южнее Гумбиннена, пехотинцы перерезали транспортную магистраль. Попытки большевиков прорваться по обе стороны от Эбенроде захлебнулись в крови. К настоящему времени в этой зоне военных действий в ходе семидневных боев подбито или захвачено 616 вражеских танков. Атаки русских на Мемельском плацдарме оказались безуспешны.

Эти сводки ясно свидетельствуют, что штурм Восточной Пруссии шел полным ходом. Многими овладели предчувствия беды, а слухи усиливали обеспокоенность.

Однажды в конце октября или в начале ноября господин Мендельсон с таинственным видом берет меня за руку и говорит: «У тебя ведь хороший слух. Пойдем-ка наверх, я тебе кое-что покажу!» Поднимаемся на верхний этаж, он распахивает окно, выходящее на восток, и возбужденно шепчет: «Вслушайся как следует! Слышишь?» Приходится сильно напрячь слух, чтобы услышать, как далеко-далеко что-то безостановочно гремит и рокочет, словно грозовые раскаты. Очень тихие, но зловещие. Я ломаю себе голову, что бы это могло быть. Такая гроза да при ясном небе – дело немыслимое. К тому же гром, кажется, вовсе не прекращается. «Это шум сражения. Пока еще очень далекий, но отчетливый. Ура, русские идут!»

Об этом «ура» я еще не раз с горечью вспомню. Потом никому и в голову не придет кричать «ура», а господин Мендельсон до вступления русских в город не доживет.

Конечно, в то время мы возлагали на них большие надежды. Их приход казался единственной возможностью избавиться от Гитлера. Всякий раз, когда у меня было время, я подбегал к окну, чтобы прислушаться к этому зловещему рокоту. Мне постоянно требовалось удостовериться в том, что это не ошибка. Напряженно вслушивался я в каждое изменение издали доносившихся раскатов и волновался. То мне казалось, что шум битвы слышится ближе, то – что он опять удаляется, а потом вовсе исчезает. И снова – надежда.

Заметно изменилось поведение наших мучителей, по крайней мере некоторых из них. Господин Тойбер стал приветливее, руководитель местной нацистской ячейки

Рогалли – неувереннее. Их страх усиливался, это отчетливо ощущалось. Русские были уже под Гумбинненом и даже под Инстербургом. Велись ожесточенные бои. Война была перенесена на немецкую территорию – вопреки всем до сих пор звучавшим воинственным лозунгам, исполненным высокомерной уверенности в победе. Росло замешательство, многих охватывали сомнения. Разгром близился.

Тогда же в Варшаве вспыхнуло восстание польской национальной «Армии Крайовы». Высадившись во Франции, англичане и американцы добрались до немецкой границы и заняли Аахен. Отныне и Италия стала противником Германии. Войну ей объявляют и Румыния с Болгарией. Капитулирует Финляндия, Венгрия заключает перемирие, и обе продолжают войну на стороне антигитлеровской коалиции. Болтовне Геббельса о чудо-оружии, способном переломить ход войны, мало кто верит. Мощь и превосходство многочисленных противников были слишком очевидны.

Гитлер сформировал ополчение, поставив под ружье стариков и детей, но они, разумеется, не могли предотвратить надвигающейся катастрофы. Несмотря на общее положение, его преступные приказы продолжали выполняться, что объяснялось, по-видимому, всеобщим страхом. Страхом перед расплатой, ибо многие позволили втянуть себя в эту авантюру и несли свою долю ответственности. Страхом перед безжалостным и всепроникающим контролем детально отлаженного партийно-полицейского аппарата. Страхом перед судопроизводством, которое беспощадно отправляло на казнь и даже выражение сомнений объявляло государственною изменою. Страхом перед вражеской местью. Для предотвращения капитуляции генералов была введена семейная ответственность: их женам и детям грозила смертная казнь. Генералы должны



были жертвовать собой во имя спасения своих солдат. Встречалось и такое. И все же нужно сказать, что именно недостаток гражданского мужества в 1933 году стал причиной того, что Гитлер постоянно попирает закон, а ныне тот же недостаток гражданского мужества препятствовал тому, чтобы положить конец бессмысленным смертям и разрушениям. Конечно, гражданское мужество проявляют редко, если это грозит личному благополучию. И еще реже, если на карту ставится собственная жизнь или жизнь близких. Попытка освобождения, предпринятая 20 июля графом Штауффенбергом, и другие смелые акции многочисленных одиночек не могут сегодня служить алиби для всех остальных, якобы тоже наделенных гражданским мужеством, – уж больно велико было число офицеров и чиновников, которые, хоть и не признавали Гитлера с его аппаратом уничтожения, прямо или косвенно служили ему.

## Осада Кенигсберга

Семья Штоков возобновила общение с нами. Были даже нанесены осторожные визиты. Надежда на то, что скоро все кончится, объединила нас и придавала смелости. Я слушал, как Уте играет на фортепьяно, и сам пользовался свободной минутой для занятий скрипкой. Как контрастировали звуки музыки с постоянным и все усиливающимся грохотом сражений! Непрерывающимся его делали тысячи больших и маленьких взрывов, а это означало ведь и бесчисленное множество убитых и раненых ежедневно и ежечасно. В полной неопределенности от того, что готовит будущее, каждый трудился с возрастающим возбуждением. До сих пор не вышло никаких распоряжений и не предпринималось никаких приготовлений к эвакуации гражданского населения. Напротив, складывалось впечатление, что каждому еще сунут в руки оружие, чтобы продлить жизнь виновникам происходящего.

Мое здоровье ухудшалось, особенно после того как на Рождество 1944 года забили нашего «балконного» кролика. Для чего я его, собственно, и кормил. Убил кролика наш сосед Норра, и я видел, как тушку подвесили за задние лапки, ободрали и выпотрошили. Смотреть на это стоило больших усилий. Конечно, я понимал: чтобы жить, нужно есть, но трудно было представить себе, что от всей этой истории я заболею. Рождественское жаркое оправдало всеобщие ожидания, исключая мои. После того как я съел кусок мяса своего любимого кролика, мне стало плохо. Меня вырвало. Поправиться же

я, как ни странно, не смог: все пришло в расстройство – и желудок, и, по-видимому, душа. Столь необходимые мне силы таяли с каждым днем – и это теперь, когда, казалось, терпеть осталось совсем недолго. Знакомый врач, обследовав меня, выразил озабоченность моим общим состоянием. Истощение, переутомление сердца и легких, необходимость отдыха без отлагательств – таков был его диагноз. Не самые лучшие предпосылки для наступавших тяжелых времен.

По пути на фабрику мне все чаще попадались на глаза беженцы из тех районов Восточной Пруссии, что оказались под непосредственной угрозой. По обочинам маршевым порядком, соблюдая безопасную, в десять шагов, дистанцию, следовали солдаты, облаченные в белые маскхалаты, чтобы слиться с заснеженным ландшафтом. Все больше для перевозок использовали гужевой транспорт; из-за нехватки бензина ездили на грузовиках с дровяным карбюратором. Тяжелое вооружение встречалось редко. «Сарафанное радио» работало вовсю, так что и дня не проходило без новых слухов. Рассказывали невероятные истории о зверствах русских солдат в первых захваченных немецких городах, и вскоре нам пришлось на себе испытать эти ужасы.

Теперь гремело и грохотало отовсюду: в конце января 1945 года Кенигсберг был окружен. Воздушных тревог больше не объявляли, поскольку русские самолеты и так день и ночь беспрепятственно кружили над городом. Немецкой же авиации не было видно вовсе. Страх населения возрастал. Всех привлекли к строительству противотанковых заграждений. (В решающий момент они окажутся бесполезными.) На подступах к городу под обстрелом рыли бесконечные ходы сообщения, возводили небольшие оборонительные сооружения, укрепляли перекрестки. На каждом углу встречались патрули, охотившиеся на дезертиров. Жили мы теперь

в подвале, хотя и в квартире бывали часто. Русская артиллерия уже начала, пока нерегулярно, обстреливать город. Повсюду мог неожиданно разорваться снаряд. Опасны были и осколки. Вспоминаю, как однажды в подвал заглянул господин Норра и рассказал, как неподалеку от него разорвался снаряд, задел его взрывной волной и напугал, а когда через некоторое время понадобился бумажник и Норра достал его из кармана пиджака, тот оказался до половины пробит маленьким зазубренным осколком. Бумажник спас жизнь, без него осколок попал бы в сердце.

Авиабомбы, артиллерийские снаряды, нацистские акции – все могло означать конец. Но жизнь продолжалась. Генерал Лаш, комендант крепости, в книге «Так пал Кенигсберг» запечатлел свое видение драматического ухудшения ситуации. Описываются дни гибели Кенигсберга и в книге майора Диккерта и генерала Гроссмана «Битва за Восточную Пруссию». Свои личные впечатления я далее буду дополнять отрывками из этих книг. Генерал Отто Лаш пишет:

На наши повторные настойчивые предупреждения, что с ожидаемым вскоре началом боевых действий гражданское население из-за того, что все дороги заняты войсками, будет вынуждено оставаться на местах своего проживания во избежание невообразимого хаоса, следовал стереотипный ответ: «Восточная Пруссия сдана не будет. Ни о какой эвакуации не может быть и речи». ... Жителей Кенигсберга, до краев переполненного бесчисленными обозами беженцев из восточнопруссских округов, оповестили, что в случае танкового прорыва русских со стороны Тапиау об этом объявят по радио и тогда надлежит немедленно отправляться – т. е. спасаться бегством – в Пиллау. Такое объявление прозвучало 27 января. Можно себе вообразить, что происходило в этот и в последующие дни в Кенигсберге и по дороге на Пиллау. В тот день я сам отправился туда, чтобы договориться с

комендантом флота о подготовке кораблей для эвакуации гражданского населения из Восточной Пруссии. На обратном пути из Пиллау в Кенигсберг было почти невозможно пробиться на грузовике сквозь поток беженцев. Из-за непродуманного поведения партийного руководства на этой дороге скопилось невообразимое количество людей. Пешком, на велосипедах, на телегах, женщины с детскими колясками, службы тыла тех войск, что были отведены в Земландию, – все двигалось вперед по три-четыре колонны.

В кенигсбергском порту на несколько судов еще садились беженцы, но мест было, естественно, недостаточно. На пристанях скопились тысячи людей.

Новой и сильно действующей на психику опасностью стали «штурмовики» русских, которые, не встречая никакого отпора, летали на низкой высоте над городом, охотясь за всем, что двигалось. Обнаружив человека, они открывали пулеметный огонь; заметив транспортное средство, прицельно сбрасывали небольшие бомбы. Особенно плохо было в ясную погоду. Вспоминается следующий эпизод.

По утрам, проснувшись в своем подвале, я первым делом думаю о погоде. Сияющее голубое небо означает опасность налета «штурмовиков». Нам с мамой уже знакома смертельно опасная игра с ними. Это происходит так: прежде чем выйти на улицу, нужно выбрать себе подходящее укрытие на расстоянии от тридцати до пятидесяти метров – им может быть подъезд дома, подворотня или каменная стена. Затем прислушиваешься, нет ли самолетов. Если все тихо, мчишься на велосипеде или бежишь как можно быстрее до укрытия. Достигнув его, можно позволить себе передышку. Самолеты летают очень низко, так что, если их видно или слышно, на дорогу до ближайшего укрытия имеется лишь несколько секунд. В такие дни путь на фабрику

длится бесконечно, игра в «кошки-мышки» может повторяться по несколько раз.

Сегодня особенно скверно. Едва мы проехали на велосипедах половину Шреттер-штрассе, как видим самолет, устремившийся к нам от Хаммервега. И только мы успеваем укрыться в ближайшем подъезде, как он открывает стрельбу. Нервы напрягаются от ощущения, что лишь мгновения решают, жить тебе или умереть. Тревожно ждем еще немного, прежде чем снова вскочить на отброшенные велосипеды и преодолеть очередной отрезок пути. На Хаммервеге навстречу нам попадает повозка с двумя солдатами. Конечно, мы знаем, что все военное следует обходить стороной. Но наши пути пересекаются, поскольку нам нужно к Хуфеналлее, т. е. по Хаммервегу мимо Луизенкирхе. Да и повозку мы замечаем уже после того, как оказались на перекрестке. И только мы доезжаем до Хаммервега, как оба спрыгивают с повозки и бросаются к подъезду дома. Мы еще не слышим звука моторов, но, будучи уверены, что солдаты знают, что делают, изо всех сил устремляемся туда же. У самого укрытия я успеваю заметить два самолета, которые на сей раз появляются с другой стороны. После короткой паузы раздается страшный взрыв. Мы все оглушены, а потом я слышу, как один из солдат, непонимающе уставившись на наши еврейские звезды, говорит другому: «Ну, Эрнст, крышка нашему барахлу». Выйдя на улицу, мы видим разбитую повозку. На небольшом пространстве, среди поломанных колес и остатков кузова, валяются разбитые ящики с деталями машин. Лошадь, растерзанная взрывом, лежит на земле, и ноги ее вздрагивают. Крайне расстроенный солдат стреляет в голову бедному животному. Оно тотчас вытягивается и, кажется, обретает вечный покой. Картина производит на меня глубокое впечатление; я пытаюсь представить себе, как бы выглядела смерть, наступи она мгновенно, без мучений.

Еще дважды пришлось искать укрытия, пока мы добрались до фабрики. Но и тут мы отнюдь не были в безопасности. Уничтожение восстановленной фабрики авиацией хорошо информированных русских было лишь вопросом времени, особенно с тех пор как часть фабрики в одну ночь сменила мыловаренное производство на военное и на первом этаже занялись изготовлением артиллерийских боеприпасов. Мама работала на втором этаже, я – на третьем и, когда нужно было что-нибудь погрузить или выгрузить, во дворе. Было давно установлено, с какой высоты сбрасывают бомбы крупного калибра, и в ясную погоду удавалось заранее увидеть, как самолеты, избрав своей целью фабрику, изготавливаются к бомбометанию. Они делали это за-долго до подлета. После сигнала тревоги, подаваемого сразу за тем, как бомбы отделялись от самолетов, оставалось время, чтобы молниеносно спуститься с третьего этажа на первый, а то и в подвал. Мы поочередно дежурили на чердаке, выполняя эту ответственную задачу – предупреждения о налете, и фабричная администрация не возражала. Но не дай Бог было объявить ложную тревогу! Тогда нам приходилось отрабатывать упущенное время.

За мои смены фабрику бомбили только однажды – в обеденный перерыв. Как раз в это время у чердачного окна никто не дежурил, однако из-за повышенной активности авиации мы расположились в складском помещении первого этажа. Чтобы не терять времени, мама отправилась в лавку, временно оборудованную за углом на Штайндамме, купить еды на карточки отца, и тут раздался оглушительный грохот. С короткими интервалами последовало несколько взрывов, и снова стало тихо. Наш третий этаж оказался поражен и частично разрушен. К счастью, это были бомбы небольшого калибра. И только я с беспокойством

начал размышлять, куда же упали другие, как кто-то взволнованно сообщил, что взрывы, вроде, были и на Штайндамме, прямо перед той лавкой, куда отправилась моя мама, что имеются убитые и раненые и что они еще лежат там. Я перепугался, вообразив среди них свою бедную маму, и с тяжелыми предчувствиями отправился туда. Бойцы противоздушной обороны и служащие Красного Креста как раз оказывали помощь пострадавшим, и среди тех, кого я увидел, мамы не оказалось. Тогда я стал расспрашивать, как выглядели уже увезенные, и получил утвердительный ответ на свой вопрос, не было ли среди них седовласой женщины (у мамы были седые волосы). Совершенно подавленный, я отправился обратно на фабрику, а там узнал, что мама вернулась целой и невредимой и ищет меня. Вскоре мы держали друг друга в объятьях. Мама рассказала, что была в лавке, когда бомба разорвалась, но находилась в глубине помещения, и ее не задело ни осколками бомбы, ни осколками стекла в отличие от большинства находившихся там же.

В результате контрнаступления было прорвано кольцо вокруг Кенигсберга. В конце февраля удалось восстановить сообщение с морским портом Пиллау. При этом было отвоевано предместье Метгетен, находившееся примерно в девяти километрах от нашего дома. Его жителей русские подвергли жестоким истязаниям и перебили. Судьбой несчастных воспользовались для воодушевления на продолжение уже давно проигранной борьбы: был выдвинут лозунг «Отомстим за Метгетен!» Генерал Лаш пишет:

Наиболее жестоким было поведение русских в Метгетене, где они, в частности, согнали гражданское население в количестве 32 лиц на теннисный корт, обнесенный забором, и подорвали на mine с электрическим взрывателем.



Командир одного пехотного полка следующим образом описывает впечатления от того, что он встретил в немецких населенных пунктах, отбитых у русских:

«Картины, увиденные нами на отвоеванных территориях, были ужасны. Русские убивали немецкое население массами. Я видел женщин с веревками на шее, погибших от удушения, когда их волочили по земле, и нередко в одной связке было несколько трупов. Я видел женщин, головы которых лежали в жиге канавы или в навозной яме, а нижние части тел носили отчетливые следы зверских надругательств. Изнасилчанию подвергались все женщины и девушки в возрасте от 14 до 65 лет, а нередко также более молодые и старые. Следуя приказу Сталина: «Берите белокурых немецких женщин, они ваши!», русские набрасывались на немок, как дикие звери, или нет: куда хуже. Одну девушку, едва достигшую шестнадцатилетнего возраста, в течение ночи изнасиловали 18 раз».

В последующие недели и месяцы много тысяч молодых жизней было бездумно принесено в жертву. Никогда еще призыв к мести, а тем более к мести в ответ на месть (ведь и русские мстили) не вел ни к чему хорошему. Преступлением и безумием было начинать войну, еще большим преступлением и безумием было продлевать ее подобными призывами.

Хотя небольшой части гражданского населения и удалось бежать в Пиллау по отвоеванной территории и переправиться на судах в Северную Германию, путь до Пиллау пришлось совершать под непрерывным обстрелом, по дорогам, забитым воинским транспортом, а в конце своего пути беженцы еще и подвергались риску гибели вместе с транспортным судном, как это случилось с теми, кто оказался на «Вильгельме Густлоффе» и «Штойбене», торпедированных русскими подлодками.

Складывалось впечатление, что обозы беженцев пробивались и на Кенигсберг. Многие из них, вероятно,

вырвались из-под Хайлигенбайля, где русские окружили и начали уничтожать 4-ю гитлеровскую армию. Лишь позднее я узнал о судьбе людей, пытавшихся спастись по льду замерзшего залива Фриш-Гаф под бомбами и обстрелом. Во многих местах лед проламывался. Страдания и ужас этих людей невозможно себе представить. Генерал Лаш очень точно описывает положение гражданского населения и его шансы уцелеть:

Благодаря героическим усилиям войск кенигсбергского гарнизона, было восстановлено железнодорожное и шоссейное сообщение с Пиллау. Кенигсберг вновь получил связь с внешним миром. Тем самым возникла возможность исправить непростительную оплошность партийного руководства и эвакуировать многочисленное кенигсбергское население из района боевых действий. Сколь недолговечны, однако, оказались эти надежды! Поначалу, правда, вследствие моего постоянного давления были предприняты попытки вывезти из города большое количество жителей. Но поскольку за короткий срок подготовить в Пиллау необходимое число судов было невозможно и эвакуировать население удавалось лишь постепенно, для покинувших Кенигсберг оборудовали временные лагеря в Пайзе на кенигсбергском морском канале. Вскоре в этих неподготовленных и плохо организованных, как и все в то время, барачных лагерях начались голод и эпидемии. Через короткое время направленные туда женщины стали с детьми и детскими колясками появляться у меня в Кенигсберге и умолять, заламывая руки, чтобы им разрешили вернуться в их квартиры и дома, поскольку там хоть было чем питаться. Кроме того, они испытывали и вполне естественный страх перед эвакуацией в рейх на крупных морских судах, после того как донесли слух о гибели двух таких – «Вильгельма Густлоффа» и «Штойбена», торпедированных русскими подводками и пошедших на дно вместе с людьми и грузом. Вопреки протестам партийного руководства, требовавшего, чтобы я насильственно препятствовал возвращению населения,

я без колебаний выполнял желания этих несчастных и давал им возможность остаться в Кенигсберге, чтобы, таким образом, хотя бы на время избежать еще больших страданий. ...

Зима была суровой, и люди с великим трудом тащились по обледенелым дорогам, пытаясь уйти на запад по льду замерзшего залива. Тысячи погибали – в первую очередь женщины, старики, дети. Телеги и сани часто приходилось бросать, так что тем, у кого хватило сил выжить, кого не настигли и не раздавили головные машины танковых клиньев русского наступления, кто не пал жертвой обстрелов и бомбардировок залива вражеской авиацией, тем, как правило, удалось спасти только свою жизнь. Часть беженцев успела добраться до Кенигсберга незадолго до его полного окружения и там встретила свою ужасную участь.

Наши соседи, семья Норра, были так напуганы событиями в Метгетене, что однажды вечером собрали свои чемоданы и отправились в путь. Им удалось добраться до Дании, и впоследствии я под Кельном встретился с Клаусом. А вот отец его умер, не выдержав испытаний.

Уте начала чаще приходиться к нам для занятий музыкой, и, если в воскресенье бомбили и обстреливали меньше обычного, а случалось и такое, мы шли в квартиру и разучивали «Весеннюю сонату» Бетховена. Для меня это было неопишуемым счастьем. Не только потому, что музыка была божественной, но и потому, что во время игры мы были вместе и я мог если не высказать, то хотя бы выразить свои любовные чувства. А в качестве ответа я довольствовался ее серьезным отношением ко мне. Ведь, в конце концов, совместно музицируя, люди внимательнее прислушиваются друг к другу, чем разговаривая.

Теперь многие не боялись вступать с нами в беседу и даже навещать нас. Так, в первый раз за все это

время нас посетил концертмейстер Хеверс, некогда руководивший квартетом, в котором выступали мои родители. Мне позволили поиграть перед ним, и он подбодрил меня советами. Вскоре он погиб во время бессмысленных боев за Кенигсберг.

Забывать об опасности, однако, было нельзя. От господина Вайнберга мы узнали, что партия и гестапо получили строгий приказ не допустить, чтобы хоть кто-нибудь из евреев попал в руки противника. Это, как он выразился, была информация из первоисточника (?). Что означал такой приказ в той безнадежной ситуации, в которой оказался Кенигсберг, мы понимали слишком хорошо. И действительно, распоряжение РСХА от 13 января 1945 года гласило: «Все работоспособные евреи, живущие в смешанных браках и являющиеся гражданами рейха или не имеющие гражданства (в том числе лица, приравненные к евреям), должны быть отправлены на закрытые работы в Терезиенштадт».

Мы с мамой начали искать, где бы спрятаться, и нашли такое место – в бомбоубежище, находившемся в сгоревшем центре города. Там мы хотели укрыться, пока русские не возьмут Кенигсберг. Правда, мы не знали, когда это произойдет, а ведь каждый день за нами могли придти и забрать нас, чтобы ликвидировать. Я был твердо уверен в том, что это сделает штурмовик Рогалли, и спрятал топор, которым обычно рубил дрова, прямо за подвальной дверью. Я твердо решил воспользоваться им, потребуй от нас Рогалли пойти с ним. Но его все реже было видно: забота о собственной жизни волновала его больше, чем выполнение приказов. Для каждого самым важным стала борьба за выживание, а ведь только это и делает нас теми, кем мы являемся на самом деле – Божьими тварями, такими же, как и все прочие, не больше и не меньше. Полноценный или неполноценный, богатый или бедный, образованный или

необразованный – все эти понятия лишились смысла. В борьбе за выживание все равны.

Генерал Лаш пишет:

Неравенство сил – наших и противника – было особенно разительным в воздухе. Под командованием русского маршала авиации была сосредоточена примерно третья часть их военно-воздушного флота, и этой армаде не противостоял ни один немецкий самолет. Наши зенитчики испытывали недостаток боеприпасов и были вынуждены вести обстрел только наземных целей. Подавляющим было и артиллерийское превосходство противника, особенно в отношении боеприпасов: у нас их хватило бы только на один-единственный день серьезного сражения, и с начала осады Кенигсберга мы должны были беречь их для этого. В общей сложности около 30 русским стрелковым дивизиям противостояли лишь 4 доукомплектованных наших и ополченцы, так что на примерно 250 000 атакующих приходилось 35 000 бойцов обороны. После отвода 5-й танковой дивизии соотношение танков стало 100:1. В распоряжении крепости осталась одна-единственная рота самоходных орудий. Материальное превосходство противника частично объяснялось и военными поставками США. У русских появились танки «Шерман» и американские самолеты, не говоря уже о всех прочих видах вооружения. На заключительном этапе в штурме Кенигсберга приняла участие даже французская эскадрилья, что выяснилось в ходе празднования десятилетней годовщины взятия города. ...

30 дивизий и 2 воздушные армии день и ночь безостановочно обстреливали крепость тысячами «катюш» и орудий всех калибров. Волнообразно накатывались эскадры бомбардировщиков, сбрасывая свой разрушительный груз на горевший и быстро обращавшийся в руины город. Немногочисленные и небогатые боеприпасами орудия крепости ничего не могли противопоставить этому огню, и в небе не было ни одного немецкого истребителя. Стиснутые на узком пространстве зенитные батареи были бессильны справиться с массированными воздушными

атаками, к тому же им приходилось с трудом сдерживать натиск бронетанковых сил противника. Все линии связи были немедленно уничтожены, и лишь связные пешком и наугад пытались найти среди развалин дорогу к командным пунктам и частям. Солдаты и гражданское население были загнаны градом огня в тесноту подвалов.

Жизнь становилась все опасней. Мало того, что каждый погожий день оборачивался кошмаром из-за охоты, которую устраивала авиация, – город все сильнее обстреливала артиллерия. Вероятно, каждому орудью был отведен определенный сектор обстрела, и по высоте тона мне удавалось различить среди прочих то орудие, ствол которого был направлен на наш квартал. Слыша этот звук выстрела, напоминавший производимый языком щелчок, я мог заранее оповестить всех об опасности, и времени хватало, чтобы добраться до укрытия или даже быстро спуститься из квартиры в подвал: снаряд разрывался далеко не сразу. Пока город обстреливался нерегулярно. Время страшных, ураганных обстрелов наступит позже. Не понимаю, как наши нервы выдерживали все это, ведь и ситуация с питанием и здоровьем все ухудшалась.

Снова выдался один из тех солнечных дней, что превращали жизнь в ад. Обычно мы с мамой ходили на работу кратчайшим путем – через город. Но в тот особенно опасный день мы, которым надоело прятаться, решили вернуться другой дорогой, обойдя город с юго-запада. Это означало сделать большой крюк по лесопарковой зоне, мимо кладбищ, Файльхенберга и Нойе Бляйхе, до Луизенваля.

Мы с мамой идем пешком. Так и спрятаться удастся быстрее, а главное, раньше слышно приближение самолетов. На этот раз мы избегаем дорог и идем по земляному валу, с которого открывается хороший об-

зор. Слева от нас газохранилища Кенигсберга, полные и неповрежденные. Нам предстоит пройти мимо них, так же как и небольшой группе солдат, следующей метрах в ста впереди и в том же направлении. И вот, когда мы оказываемся совсем близко от хранилищ, метрах, наверное, в трехстах, слышится гул самолетов. Их несколько, и они летят высоко. Еще не поняв их намерений, мы видим, что солдаты ищут укрытия и машут нам, чтобы мы сделали то же самое. Они раньше нас заметили, что начали падать бомбы. Но поблизости нет ничего, кроме штабеля железнодорожных шпал, и мы бросаемся ничком на землю рядом с ним. И тут начинается! На газохранилища сбрасывают крупные бомбы, но в цель они не попадают. Мы вжимаемся в землю, понимая, что нам конец, если емкости взорвутся. Рот широко раскрыт, чтобы взрывная волна нанесла меньше вреда. Сверху падает поднятая взрывами грязь, и вновь все затихает. Емкости уцелели, и можно лишь гадать, что было бы, если бы... Солдаты тоже вздыхают облегченно, спрашивают, куда мы идем, и дают несколько дружеских советов. Лаш пишет:

В условиях идеальной видимости вражеская авиация ежедневно и почти непрерывно совершала налеты и сбрасывала бомбы всех калибров на цели, казавшиеся стоящими, особенно на еще не разрушенные городские кварталы, как, например, Верхнего и Нижнего Хаберберга. Собственной противовоздушной обороны у нас почти не было. Уже вечером 6 апреля город горел во многих местах, включая Верхний и Нижний Хаберберг. Мужественные кенигсбегские жители (насколько я помню, незадолго до штурма их в городе насчитывалось около 130 000) пытались спасти все, что было в их силах. Можно было увидеть стариков, женщин и детей, выносивших из горящих домов мебель и домашнюю утварь и пытавшихся тушить пожары недостаточными для этого средствами.

Казалось, их не пугают ни падающие бомбы, ни снаряды. Командные пункты, пункты приема раненых, главные перевязочные пункты и лазареты наполнялись солдатами и мирными жителями. Вид Кенигсберга был ужасен. Было не продохнуть от дыма и гари, а по ночам небо было ярко освещено заревом пожарищ и мириадами летящих искр. Командные пункты и подвалы были переполнены ищущим укрытия гражданским населением.

Сколько же это может продолжаться? Вот уже почти четыре месяца русские держат нас в осаде, не переходя к штурму. Складывается впечатление, что они возлагают надежды на благоразумие коменданта, ибо взятие любого города всегда сопряжено с большим количеством жертв с обеих сторон. Уже наступил апрель, а город продолжают укреплять: чуть не на каждом перекрестке появляются противотанковые заграждения и бункер. Всего больше заботятся о Северном вокзале, важном транспортном узле: пройти здесь можно только в одном месте. Именно тут я увидел повешенных молодых солдат, попытавшихся поступить разумно, а именно отказавшихся бессмысленно воевать. Они сделали то, чего побоялись сделать военачальники во главе с Гитлером. Но на грудь им повесили таблички: «Мне пришлось умереть, потому что я трус». Лаш вспоминает:

Поступало все больше сообщений о том, что солдаты, загнанные в подвал вместе с гражданским населением, потеряли волю к сопротивлению. Кое-где отчаявшиеся женщины пытались вырвать из рук солдат оружие и вывесить в окнах белые тряпки, чтобы положить конец кошмару.

Но все требования капитулировать были оставлены без внимания.



## Русские

5 апреля мы добирались до дома с превеликим трудом. Артиллерия стреляла без перерыва. Боевые части занимали позиции на Хаммервеге и на Луизенвале. Судя по тому, что доносился винтовочный и автоматный огонь, бои шли совсем близко. Я словно пересекал линию фронта. То и дело приходилось предъявлять рабочий пропуск или при вое снаряда бросаться на землю. Было ясно, что начался штурм, которого уже давно ожидали. Все знали, что русские сильнее и противостоять им невозможно. Генерал Лаш сам указывал, что на примерно 250 000 атакующих приходилось 35 000 бойцов обороны, что в штурме участвовала треть всей русской авиации и ей не противостоял ни один немецкий самолет, а соотношение танков было 100:1. Никто не понимал, зачем нужно было заставлять гражданское население выдерживать штурм города со смертоносной бомбардировкой. Бог свидетель, все уже и без того натерпелись. Душила бессильная злоба на командиров, для которых так мало значила жизнь подчиненных. Их ругали громко, не таясь.

Еле добравшись до нашей Штайнмец-штрассе, мы решаем, что теперь уже не уйдем отсюда, суждено ли нам увидеть приход русских или погибнуть под обломками дома. Мы вновь спускаемся в бомбоубежище. Рогалли уже несколько дней как исчез. Семья Норра и две другие семьи покинули город, так что нас осталось совсем немного и можно чувствовать себя свободнее. Теперь, конечно, мы больше не молчим. Время нацис-

тов прошло, и относиться к нам стали любезно. К тому же соседи, хоть об этом и не говорится, надеются, что мы заступимся за них перед русскими.

6 апреля: снаружи доносится адский грохот. В дом попадают снаряды, но слышно, что мы пока вне эпицентра сражения. Солдаты в боевом снаряжении, с гранатометами и рациями переходят из подвала в подвал: еще до штурма их соединили узкими проломами. Но ведь и русские могли вследствие этого преодолевать под землей целые городские кварталы. Возможность для тех и других сторон проникать по соединенным между собою подвалам на территорию, занятую противником, повышала ожесточенность уличных боев.

Проходивших по подвалам немецких солдат умоляли прекратить борьбу, подумать о беззащитном гражданском населении. Солдаты выражали сожаление, что не могут сделать это, и ссылались на приказы. Противоправные приказы как «основание крайней необходимости» служили оправданием и для солдата, и для генерала, ведь тот, кто обязан их выполнять, может не беспокоиться об ответственности, сколько бы народу ни полегло и что бы ни разрушили. Диккерт и Гроссман пишут:

6 апреля началась агония крепости Кенигсберг. В 7.30 с севера и в 8.30 с юга был открыт ураганный огонь. Защитники попали под обстрел тысяч орудий, минометов и «катюш». Над Кенигсбергом непрерывно кружило устрашающее количество бомбардировщиков, которые тоннами сбрасывали свой разрушительный груз на несчастный город. Вновь и вновь над укреплениями и городскими магистралями проносились «штурмовики», стреляя из всех стволов. Город обращался в развалины и пылал. Немецкие позиции были разбиты, окопы перепаханы, огневые точки и целые подразделения засыпаны землей, связь прервана и склады боеприпасов уничтожены. Над руинами городского центра стояли облака

пепла и дыма. Повсюду лежали обломки домов, разбитый транспорт, трупы людей и лошадей. Перепуганное население в страхе покидало свои уничтоженные или горящие дома и металось в поисках другого убежища. Иные же оставались на развалинах – оглушенные, безразличные ко всему.

После огненного смерча, сразу вслед за огневым валом русская пехота и танки начали атаку. Свои удары противник наносил с севера на юг через Танненвальде и с юга на север через Понарт, чтобы взять защитников в клещи. Артиллерия крепости, небогатая боеприпасами, не могла оказать превосходящим силам русских сколько-нибудь серьезного сопротивления; зенитки были бессильны против такого количества авиации, и из них стреляли по вражеским танкам. Пехота, состоявшая, главным образом, из только что сформированных и еще не обстрелянных частей, не выдерживала нервного напряжения. ...

Та же ужасная ситуация и на следующий день! Русские вновь осыпали немецкие позиции градом бомб и снарядов всех калибров, и вновь их «штурмовики», изрыгая огонь, носились над головами защитников. Рушились дома, в щепки разлетались деревья. Даже связным едва удавалось передвигаться по городу.

В южном направлении противник продвинулся дальше и в районе порта и судоверфи натолкнулся на угасающее сопротивление. На севере он достиг Амалиенау западнее Луизенваля. Предложение генерала Лаша провести наступление силами 5-й танковой дивизии из расположения 561-й дивизии, чтобы вернуть позиции 548-й дивизии, получило одобрение, но, намеченная на 7 апреля, эта операция не состоялась, поскольку, пока устанавливали связь с 5-й танковой дивизией, началось мощное наступление русских на позиции 1-й дивизии севернее Зеераппена. Противник атаковал непрерывно. Из пятнадцати подбитых вражеских танков часть была уничтожена средствами ближнего боя. ...

Силы защитников, быстро тая под страшным градом бомб и снарядов, мужественно обороняли свои позиции.

Русские с помощью огнеметов один за другим выжигали очаги сопротивления. Число раненых росло с устрашающей скоростью. Среди развалин погибающего города не было места для их размещения, и медицинская помощь не справлялась с их наплывом. ... В этой безнадежной ситуации генерал Лаш запросил о разрешении отдать гарнизону крепости приказ прорываться на запад, чтобы спасти население от русских. [Лаш не мог не знать, что шансов на такой прорыв нет никаких!] В просьбе было резко отказано.

7 апреля грохот боев достиг своего максимума. Мы сидели в подвале, заткнув уши. В довершение всего явился унтер-офицер с четырьмя солдатами, чтобы занять оборону в окнах двух угловых подвалов. Наш дом был угловым, а в уличных боях именно такие сравнивали с землей. Отец спросил у командира отделения, выглядевшего вполне разумным, отдает ли тот себе отчет в собственных действиях. Ему же должно быть ясно, что при малейшем сопротивлении наш дом будут обстреливать до тех пор, пока камня на камне не останется. Поскольку подвалы битком набиты гражданскими лицами, открывать стрельбу жильцы дома запрещают. Унтер-офицер все спокойно выслушал и произнес: «Мы скоро уйдем, не волнуйтесь». Эти слова нас успокоили, в них мы усмотрели гарантию того, что солдаты не собираются здесь воевать. Они расположились в своих подвалах и стали внимательно следить за шумом боя, который доносился то с одной стороны, то с другой.

К обеду обстрел усилился. Теперь, несомненно, бои велись в непосредственной близости от нас. И вот дошла очередь до нашего квартала. Разом раздавалось по нескольку артиллерийских разрывов и залпов «капюш» – реактивных гранатометов, установленных на грузовиках и выпускавших свои заряды столь часто,

что взрывы звучали почти одновременно. А в небе без конца гудели самолеты, сбрасывая бомбы крупного калибра. Одна из них угодила во двор, другая на перекресток перед нашим домом. Пол задрожал, стены затрещали, подвал наполнился известковой пылью, и казалось, что сейчас голова лопнет от грохота и давления воздуха. По сравнению с этим артиллерийские снаряды были безобидными хлопушками. Мы накрепко заперли подвальную дверь и возложили все наши надежды на то, что потолок, хорошо укрепленный толстыми подпорками, выдержит, если дом рухнет.

В эти часы 7 апреля наш район стал зоной боевых действий и подвергся сильнейшему обстрелу. Это было невыносимо, и не дай Бог было попасть под него на открытом пространстве. Не дай Бог было и оказаться в доме, который пытался сопротивляться. К счастью, наши бойцы незаметно исчезли. К вечеру стало спокойнее. Обстреливали другие улицы. Затем стало даже угрожающе тихо, и мы уже ждали, что в подвал бросят гранату или заглянут русские. Мы находились на ничейной территории. Напряжение росло, и я то и дело отправлялся к одному из незащищенных окон – посмотреть, что происходит. Оказалось, что все дома сильно повреждены: стены зияли большими пробоинами, часть этажей была разрушена, не осталось ни одного целого окна, а фасады, словно лица с веснушками, были усеяны бесчисленными пулевыми и осколочными отметинами: точка за точкой, отверстие за отверстием. Но пожаров поблизости, кажется, не было.

На двери дома напротив я увидел белую простыню, вывешенную в знак местной капитуляции, и сообщил об этом нашим. Мы решили немедленно проделать то же самое. Еще несколько часов назад этот поступок сочли бы предательством, теперь же он стал призывом к долгожданному миру. Я вывесил по белой простыне

на входной двери и на двери во двор. При этом мне показалось, что в проеме ворот на противоположной стороне двора мелькнуло несколько серо-бурых фигур, но из-за темноты я ничего толком не разглядел. Мы стали ждать развития событий, однако до рассвета все осталось без изменений.

Диккерт и Гроссман едят:

Не обсудив с комендантом крепости план сбора и сосредоточения населения для вывода из города, партийное руководство велело жителям собраться в 0.30 у шоссе, ведущего на запад. Подвозившие их транспортные средства производили сильный шум. Сразу же заметив эти приготовления, противник открыл мощный артиллерийский огонь, что привело к страшному количеству жертв среди собравшихся. Попытка прорыва, поначалу удачная, была пресечена. Генерал Зудау пал, смерть настигла и Гроссхерра, генерал Шперль был тяжело ранен. Все хлынули обратно в Кенигсберг. С большим трудом удалось укрепить западные позиции.

Сегодня 8 апреля, день рождения отца. Я просыпаюсь оттого, что уже давно слышу лязг танковых гусениц. Еще довольно далекий, но приближающийся. Шум ожесточенных боев звучит вдали. По сравнению с адским грохотом предыдущего дня сегодня в нашем квартале все спокойно. Любопытство не дает мне покою, и я снова иду в тот подвал, из которого хорошо видна Штайнмец-штрассе. Долгое время ничто не шелохнется, а затем посреди мостовой появляется русский солдат на велосипеде. Он медленно приближается справа, направляясь в сторону перекрестка со Шреттер-штрассе, едет не таясь, без всякой защиты, одной рукой управляя велосипедом, а в другой держа автомат наизготове. Он проезжает мимо моего окна, и я нагибаюсь, чтобы остаться незамеченным, а когда вновь выглядываю, он, обогнув воронку, уже исчезает

из поля зрения. Я поражен смелостью этого молодого русского и не понимаю, как можно так открыто вести себя на вражеской территории, ведь должен же он отдавать себе отчет в том, что ему в любой момент грозит смерть. Невероятной кажется такая разведка на ничейной территории, и я гадаю, было ли это выполнением приказа, испытанием храбрости, наказанием или пари. Все чрезвычайно взволнованы: наконец наступил момент, которого мы так долго ждали и который не могли себе вообразить.

Снова слышится лязг гусениц, на сей раз все ближе и ближе. Я перемещаюсь между своим наблюдательным пунктом и безопасным подвалом и решаюсь выглянуть наружу лишь тогда, когда лязг неожиданно обрывается. Смолкает даже двигатель, наступает тишина. Я осторожен, ведь следует учитывать, что меня, если заметят, могут принять за прячущегося солдата. Прямо перед собою, у самого перекрестка, рядом с большой воронкой, вижу бронированную спереди самоходку. Это орудие. Мне хорошо видна открытая задняя часть самоходки: там четверо или пятеро русских что-то разворачивают и начинают есть. Они завтракают совершенно спокойно. Их шлемы похожи на шлемы танкистов. Все это напоминает маневры, но вот я впервые в жизни слышу «dawai», самоходчики поспешно занимают свои места, включают двигатель и уезжают. По-видимому, их завтрак был прерван приказом по рации.

Сейчас же возобновляется адская канонада, над нашим домом с воем проносятся снаряды, кажется, в обоих направлениях. Бой переместился дальше, а значит, мы оказались на занятой русскими территории. Теперь немецкие орудия бьют из центра города по кварталам, захваченным противником. Это лишь одиночные выстрелы, но все равно непонятно, как артиллеристы могут стрелять (такое впечатление, что вслепую) по

домам, где находятся женщины и дети. Тем временем по нашим улицам движутся тяжелые танки, и земля дрожит. (Позже, в Новой Зеландии, когда в Окленде однажды утром случилось продолжительное землетрясение, мне приснилось, будто идут русские танки.) И снова тихо. Нет, приход русских представлялся мне иначе. Я не ожидал, что событий будет так мало.

Неопределенность длится примерно до полудня, а потом в подвал заглядывает первый русский. Он явно навеселе. Спрашивает, нет ли где немецких солдат, и размахивает автоматом. Мы с отцом пытаемся завоевать его расположение, но почти не понимаем его. Эх, если бы мы хоть немного знали русский – это бы сильно облегчило первые контакты. По всей Германии общественные бомбоубежища обозначались сокращенно: LSR [от «Luftschutzraum», бомбоубежище. – примеч. пер.], и это в шутку расшифровывали так: «lernt schnell Russisch» [«учите поскорее русский». – примеч. пер.]. Правильный совет. Но вот раздается недвусмысленное требование «уры, уры» [от «Uhr», часы. – примеч. пер.], и отец отдает русскому свои серебряные карманные часы. Тот с гордостью демонстрирует свои карманы, набитые часами.

Такой оказалась наша первая, столь долго ожидаемая, встреча с освободителем. Впрочем, было ясно: передовые части и не могут сразу исправить ситуацию, следует ждать и надеяться. Что это второй круг ада, а будет еще и третий, мы не подозревали.

В течение дня русские появлялись часто, всякий раз в поисках врага, часов и выпивки. Многие пребывали в сильном раздражении и угрожали автоматом, если ни у кого не находили часов. Еврейская звезда их не интересовала. К вечеру появился еще один подвыпивший русский – кажется, искавший женщину. Он сердито обращался к маме, но хотел, похоже, чего-то другого.



Отец в это время находился в дальнем подвале. После утомительных переговоров с обильной жестикуляцией нам удалось убедить солдата уйти, и тут мама допустила ошибку. Напуганная, она хотела позвать отца и принялась, как это у нас было заведено, чтобы привлечь внимание другого члена семьи, насвистывать мелодию второй части (*allegretto*) квартета Бетховена, оп. 59/1. Однако вместо отца в подвал вновь ворвался русский, на этот раз с пистолетом в руке. Он что-то яростно кричал и уже готов был стрелять. Что его так взбесило, мы не понимали, но чувствовали, что это как-то связано со свистом, и пытались успокоить его словами и жестами. А он все кричал «немецкий солдат» и вдруг возьми да выстрели рядом с моей головой – так близко, что ушам было больно. Никого не задело, поскольку стрелял он в потолок. После такого эффектного финала он удалился, и тут появился испуганный отец. Праздником день его 65-летия не стал, но ознаменовал собою начало нового периода в нашей жизни.

Мы уже сообразили, что русским солдатам все равно, с кем они имеют дело: с нацистом или с евреем. Им, главное, было найти прятавшихся немецких солдат и собрать трофеи, а ко всем нам они испытывали величайшую ненависть, презрение и отвращение.

Настал вечер, а мы сидели в своем угольном погребе. Квартиры в доме были разгромлены и остались без стекол. Ночью несколько раз заходили русские и всякий раз высказывали подозрение, что я немецкий солдат. Прочсть наши удостоверения они не могли, поскольку у них другой алфавит. Очень скоро, впрочем, стало ясно, что ищут они не солдат, а женщин. В нашем подвале женщин моложе пятидесяти лет не было, а те, что были, быстро вырядились так, чтобы казаться еще старше. Но крики о помощи из других подвалов свидетельствовали о том, что кого-то русские все-таки нашли.



1. Гедвига Вик с Михаэлем.  
1928–1929 гг.



2. Мириам и Михаэль. Май 1935 г.

# DAS KÖNIGSBERGER STREICHQUARTETT



*August Kewers*   *Karl Wink*

*Karman Koenes*   *Kudwig Wink-Kalroh*

3. Кенигсбергский струнный квартет. Гравюра Эмиля Штумпа 1927 г.

4. Кенигсбергский струнный квартет. 1920-е гг.

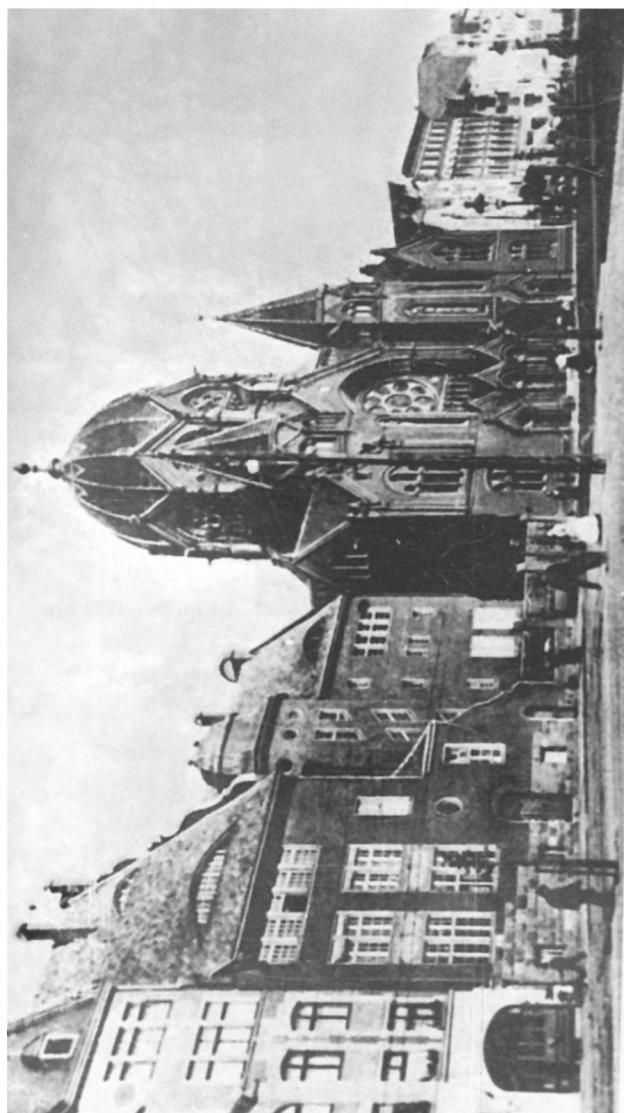




5. Курт Вик. 1920-е гг.



6. Тетя Фанни с Мирнам. 1926 г.



7. Новая синагога на Линденштрассе, школа и сиротский дом еврейской общины.



8. Синагога общины «Адат Исраэль».



9. Ее интерьер, уничтоженный в «Хрустальную ночь».



10. Учителя еврейской школы: Д. Ф. Кельтер, Л. Нусбаум, Г. Эрлбахер, Р. Вольфф и К. Хиллер. Первые двое спаслись, уехав в Палестину.



11. Звезда Михаэля, сохраненная его матерью.



12. Михаэль накануне бар-мицвы.





13. Товарные склады.



14. Они же после бомбардировки.



15. Южные кварталы города.



16. Они же после бомбардировки.



17. Замок и Кайзер-Вильгельм-плац.



18. То же после бомбардировки.



19. Советская армия на Штайндамме. Апрель 1945 г.



20. Дом на углу Шреттер-штрассе и Штайнмец-штрассе, в котором Вики жила до апреля 1945 г.



21. Восстановление трамвайного движения на Кайзер-Вильгельм-плац. 1948–1949 гг.



22–23. Гедвига и Михаэль Вики на снимках для удостоверений личности. 1947 г.



24. В Берлине. 1949 г.



25. Встреча с Мириам в Эдинбурге. 1949 г.



26. Выступление на Берлинском радио. 1950 г.





27. Михаэль Вик – скрипач Штуттартского оркестра. Снимок Гуго Йене ок. 1980 г.

Было очень тяжело слышать эти крики. Представить себе изнасилование я не мог, но, и не имея никакого сексуального опыта, считал, что это убивает душу и что бедные девушки и женщины испытывают невыразимые страдания. Чопорное еврейское воспитание, полученное мною, окружало все, что относится к сексуальной жизни, аурой таинственности, и из-за обилия недомолвок подростковая фантазия помещала соитие в область чего-то ужасного. Неужели, мучительно размышляя я, акт любви может стать и актом ненависти?

Я все думал об этих криках, на которые никто не откликался, думал об Уте и о сестре, которой с нами, слава Богу, не было. Вспомнились известия о зверствах в Метгетене, которые прежде казались нам отчасти пропагандистскими или, по крайней мере, преувеличенными. Теперь же мы задавались вопросом, кто станет следующей жертвой.

Уже вечером 8 апреля радость от окончания нацистского периода и чувство облегчения уступили место новым страхам и отчаянию. Крики о помощи, пистолетный выстрел, необузданный нрав, выказанный большинством русских, не давали повода для иллюзий. Каждое появление русского заставляло сердце тревожно биться и возбуждало худшие опасения. Конечно, иногда случалось встречать приветливый ответ на приветливое обращение, но обычно сталкиваться приходилось с бешеной яростью, жаждой мести и ледяной ненавистью ко всему немецкому. Жизнь наполнялась знакомыми заботами.

Я слабел и чувствовал себя все хуже. Никогда раньше мне не приходилось слышать голос попавшего в беду человека, взывающего о помощи, а теперь этот голос не давал мне покою. Мы напряженно вслушивались в ночь, и услышанное не радовало. Русские команды, выстрелы и далекий шум ожесточенного боя – поутру

он вспыхнул с новой силой. Было ясно, что солдаты продолжают держать оборону в укреплениях, возведенных в центре города, и что генерал Лаш так и не капитулировал. Это еще сильнее раздражало русских, и свою злость на бессмысленное упрямство защитников крепости они вымещали на гражданском населении. Если немцы, уже проиграв, стараются уничтожить как можно больше русских, то стоит ли удивляться безудержному стремлению русских убивать немцев.

И потому я повторяю: если Вам, господин генерал Лаш, действительно было важно спасти гражданское население и сохранить человеческие жизни, как Вы утверждали впоследствии, то следовало капитулировать намного раньше, а не тогда, когда русские оказались перед Вашим бункером на Параде-плац или неподалеку. Нам пришлось пережить не только страшные бомбардировки, но и ужасные бесчинства, и причиной их была ненависть, вновь и вновь возбуждаемая борьбой до последней капли крови. Я сам находил на улицах листовки с призывами к капитуляции: они звали к Вашему благоразумию и заклинали Вас остановить дальнейшее кровопролитие. Авторы этих призывов не были «плохими немцами и вражескими наемниками», как Вы, господин Лаш, о них писали. В моих глазах именно Вы были плохим немцем и наемником преступника Гитлера, а капитулировать Вы отказались, скорее всего, из-за страха за свою шкуру, а потом по той же причине капитулировали!

На следующий день, 9 апреля, я отправился в подвал к Штокаму. На душе у меня было беспокойно. Но у них в подвале кто-то немного знал русский и мог ловко уговорить, утихомирить и выпроводить любого незваного гостя. Как-то раз один из них хотел увести Уте, однако его удалось отвлечь бутылкой шнапса. Но чего было ждать от следующих? Что делать дальше, думали мы

озабоченно, а рассказы об изнасилованиях и расстрелах в соседних подвалах усиливали тревогу. По улице вели пленных немецких солдат, и мы почти завидовали им. Ведь они не были, как мы, рассеяны по подвалам и отданы на произвол любого пьяного русского. У них была единая судьба. А мирные жители, особенно несчастные девушки и женщины, оказались объявленными вне закона. Генерал Лаш пишет в книге «Так пал Кенигсберг»:

С оперативной точки зрения, дальнейшая оборона Кенигсберга к тому времени уже не имела значения для исхода войны, поскольку в начале апреля сильные русские армии уже глубоко вторглись в Померанию, Бранденбург и Силезию, а английские и американские войска перешли Рейн и стояли под Ганновером.

9 апреля тактическая обстановка в Кенигсберге была безнадежной. К моменту принятия решения о капитуляции удерживалась лишь ... северная часть центра города, где находились измотанные боями остатки войсковых соединений, не располагавшие никаким тяжелым вооружением.

Но сильнее всего повлияло на мое решение осознание того, что продолжение боевых действий привело бы лишь к бессмысленной гибели тысяч моих солдат и мирных жителей. Взять на себя такую ответственность ни перед Богом, ни перед своей совестью я не мог, а потому решил прекратить борьбу и положить конец кошмару.

Мне было ясно, что крепость передается в руки жестокого и не ведающего пощады врага, но, если продолжение борьбы определенно привело бы ко всеобщей гибели, то в случае сдачи можно было надеяться на спасение большинства человеческих жизней. Дальнейшее развитие событий доказало мою правоту, и, хотя своим решением я уже не мог предотвратить потерю восточнопрусской отчизны, я испытываю удовлетворение по крайней мере от того, что уберег множество людей от неминуемого уничтожения. ...

Когда после переговоров русские вместе с нами покинули командный пункт, одно из русских подразделений уже добралось до Параде-плац. ...

Многочисленные описания боев за крепость Кенигсберг свидетельствуют о том, что каждый образцово и до конца исполнял свой долг и что эта последняя битва за родную восточнопрусскую землю навеки останется славной страницей в истории края и в истории германского воинства.

Выбирая цитаты, я стремился показать, как развивались военные события и какими соображениями руководствовались военачальники. Но при всем моем старании сохранять беспристрастие я не могу читать эти отчеты без содрогания. Ведь сколько офицеров слепо выполняло приказы и продолжало вести заведомо проигранный бой! Уже находясь в безнадежном положении, они соглашались сдаться, как правило, только после гибели большинства вверенных им солдат. Генерал Лаш сдался, когда противник находился перед самым его бункером, и это можно назвать спасением собственной жизни. Он пишет, что согласился на капитуляцию из чувства ответственности перед Богом и перед своей совестью, ради спасения людей. А как же тогда предпринятая им мобилизация немецкой молодежи, которой пожертвовали ради продолжения безнадежных, по его собственным словам, боев? Было ли и это «славной страницей в истории германского воинства», которой гордятся он и подобные ему?

Последние очаги сопротивления в полностью разрушенном центре города, где уже давно не было мирного населения (хотя я допускаю, что в последний момент кто-нибудь в поисках укрытия мог туда вернуться), капитулировали лишь после того, как русские подожгли захваченные ими городские кварталы, в которых еще жили люди. При этом в ряде случаев сгорели и запер-

тые в подвалах – позже мне пришлось хоронить жертв этого пожара. Под предлогом того, что военные действия не прекращаются, русские обращались с мирным населением особенно жестоко. С начала штурма 6 апреля и в последующие дни бессмысленной защиты Кенигсберга его жители оказались в самом пекле войны. Будь капитуляция подписана хотя бы тремя днями раньше, тысячи были бы спасены.

Гитлер приговорил генерала Лаша к смерти, но мог бы и наградить – за ревностное исполнение долга, ведь 9 апреля Кенигсберг все равно пал бы ввиду превосходства сил противника. Просто смерть коменданта крепости отвечала требованию чистоты жанра, которое Гитлер предъявлял к создаваемой «саге» о Кенигсберге. Так что заявление генерала Лаша, что его вера в Бога и совесть потребовали от него спасти человеческие жизни, не более чем очковтирательство. Впрочем, свою жизнь он спас.

Военные мемуары генералов вроде Лаша могут быть весьма содержательными историческими свидетельствами и даже удивлять примерами того, как много энергии и организаторских дарований способен проявить человек в военных целях. Но многое остается непонятным – то, например, что весь гнев мемуаристов за катастрофическое поражение обрушивается, главным образом, на трусливых партийных бонз местного значения (как гауляйтер Кох), которые заботились лишь о собственном спасении, а солдат призывали сражаться до последней капли крови. К тем же, кто своей высокомерной идеологией и систематическим наращиванием военной мощи втянул народы Европы в убийственную войну, генералы снисходительны. Никто из них не пишет, что к разделению Германии, к разрушению Европы и к миллионам жертв привело безумие, которым, как правило, были заражены и они

тоже, что делает их соучастниками преступлений. Каждый из них стремится оправдать себя, и никто не обнаруживает ни малейшего сожаления по поводу того, что немцы натворили в России, по поводу разрушения городов России, Польши и Франции, нападения на эти страны и угона мирных жителей на принудительные работы, по поводу убийства немецких и иностранных евреев, коммунистов, цыган, политических противников и т. д., ибо выражение такого сожаления поставило бы под сомнение их собственный героизм. Развязанная Гитлером война была преступной, эти люди были его пособниками, и все их победы были ничем иным как преступлениями.

То, что разом исчезли все, кто носил немецкую униформу, принесло чувство глубокого облегчения – слишком уж мы натерпелись от таких. Нет, никто больше не станет называть нас неполноценными и по этой причине желать нашей смерти. Наоборот, может быть, теперь нам, невиновным в нацистских преступлениях и подвергавшимся преследованиям, начнут оказывать предпочтение и каким-нибудь образом возместят нанесенный ущерб? Что ж, это было бы справедливо. Но, прежде всего, мы наконец сможем нормально питаться, а то ведь наши силы на исходе. Самое же главное – это то, что войне конец и Гитлер побежден. Мы размышляли, избавиться ли нам теперь от еврейских звезд или продолжать носить их в знак своей непричастности к нацистам. Разве не должны эти нашивки вызывать уважение у всех русских? В таком примерно духе мы рассуждали, и, хотя больше всего на свете мне хотелось сбросить наконец это позорное клеймо, я решил пока его оставить. Мало ли что.

Явилась ли вместе с долгожданным чувством освобождения и жажда мести? Да, в самом начале. Убедившись, что русские заняли Хуфен, я немедленно

бросаюсь к дому напротив, на первом этаже которого живет лавочник Доссов, постоянно к нам придиравшийся и доносивший на нас. Выставив напоказ звезду, я стучу в дверь его квартиры и, когда он открывает и пугается при виде меня, говорю с чувством недоброго удовлетворения: «Господин Доссов, русские здесь. Времена, когда Вы могли нас обижать, кончились. Вот и все, что я хотел Вам сказать». Что-то в замешательстве пробормотав, Доссов захлопывает дверь, а я, так и не испытав чувства удовлетворения, иду обратно. Совершенно упустив из виду, что разгуливать по улицам еще крайне опасно: русские, следовавшие за передовыми частями, стреляли по всем, кто им попадался. Особенно в этом отличались «тыловики». Визит к Доссову был, собственно, единственным «актом мести» и оставил неприятный осадок. Ибо месть не имеет ничего общего со справедливостью. Это в высшей степени непригодное средство сведения счетов. Как правило, месть минует действительно виновных.

Пополудни я случайно узнал, что гражданскому населению надлежит собраться на пересечении Луизеналлее и Германаллее. Сообщили, что русские намерены предать огню все неразрушенные районы Кенигсберга, что эта угроза содержится в ультиматуме о капитуляции и будет осуществлена сегодня же, если гарнизон крепости, засевший в подземных сооружениях центра города, не сдастся. Ультиматум, смысл которого был непонятен, ведь уничтожением собственных трофеев противнику навредить нельзя. Остается предположить, что угроза систематического и окончательного разрушения города должна была произвести впечатление на коменданта постольку, поскольку это нанесло бы невосполнимый ущерб всем жителям. Не знаю, существовал ли в действительности такой ультиматум, звучала ли такая угроза, но думаю, что Сталин хотел



навсегда стереть с лица земли Кенигсберг и немецкую Восточную Пруссию. В своей книге генерал Лаш не упоминает о листовках с требованием капитуляции, которые сбрасывали с самолетов и которые можно было найти на улицах и во дворах, и напрасно не упоминает: это было бы полезно в интересах полноты рассказа о падении Кенигсберга.

Всякому ясно, что русские были крайне заинтересованы в уменьшении количества жертв со своей стороны. Они ведь уже пожертвовали двадцатью миллионами жизней, чтобы дать отпор захватчикам, считавшим их неполноценными и желавшим их порабощения. Так что они, конечно, предпочли бы взять Кенигсберг без кровопролитных уличных боев. И их можно понять: потери, уже понесенные ими при штурме города, были столь значительны, что теперь они настаивали на капитуляции и не желали идти ни на какие уступки. Нет надобности обсуждать утверждение, что им в любом случае следовало вести себя цивилизованней и гуманней, даже несмотря на то, что поведение немцев, особенно частей СС, не было образцовым. Я убежден, что при своевременной капитуляции русские пошли бы на уступки, как они это сделали в другой ситуации (описана в «Битве за Восточную Пруссию» Диккерта и Гроссмана).

Стоило усилий убедить жильцов нашего дома, сидевших в подвале на своих последних пожитках и съестных припасах, что лучше всем вместе пойти на указанный сборный пункт, чем оставаться здесь без всякой защиты и дожидаться, пока не явится очередной пьяный русский и чего-нибудь не потребует или не натворит. Кроме того, если русские, как пообещали, подожгут Хуфен, то для сидящих в подвале может возникнуть критическая ситуация. Мы упаковали скрипки, собрали свои пожитки в рюкзаки, сумки и чемоданы и,

сбившись в небольшую группу, отправились по Штайн-мец-штрассе к Шиллер-штрассе.

Над головой в сторону городского центра все проносились еще с воем снаряды, только в ответ уже не стреляли. Мы продвигались по улице, изрытой воронками и усеянной кирпичами и обломками, мимо полуразрушенных домов, которым теперь предстояло еще и сгореть. Кончится ли когда-нибудь это безумие? Навсегда я запомнил картину, увиденную в самом начале нашего пути: монголоидного вида солдат гнал в руины под дулом автомата двух молодых женщин, и они – а что им еще оставалось? – беспрекословно подчинялись ему. Очень надеюсь, что он их потом отпустил, ведь изнасилованных женщин часто убивали, как я впоследствии узнал, когда мне пришлось хоронить трупы. На соседних улицах мы видели, как куда-то гонят немецких военнопленных.

К тому времени мы, вероятно, уже избавились от еврейских звезд, поскольку стало ясно, что исключений не делают ни для кого и что нам суждено разделить общую участь. Да я и сам не хотел находиться на особом положении, снова быть выделенным. Нет, для русских мы все без исключений были ненавистными немцами. Даже с угнанными в рабство русскими девушками обращались так, словно эти несчастные добровольно сотрудничали с немцами. Понять это было невозможно. Вообще, в поведении русских не прослеживалось сколько-нибудь определенной линии; казалось, они действовали без всякого плана.

В нашей группе было человек восемнадцать, и мы медленно тащились к пункту сбора. Каждый понимал, что русские солдаты, которые нам встречаются, были не из передовых частей – те сейчас продвинулись к центру города примерно на километр. А этих заботили трофеи: они отнимали часы и ручной багаж, прочесывали поки-

нутые квартиры и подвалы в поисках вещей, которые стоило отослать домой. Повсюду отыскивая вино и шнапс, который жители непредусмотрительно не припрятали от них, солдаты напивались и переставали хоть сколько-нибудь сдерживать себя. И некому было остановить этот разгул. Некоторые пробовали освоить велосипеды и падали с них. Этих русских мобилизовали из таких мест, где не знали ни велосипедов, ни ватерклозетов. Зайдя в один из еще действовавших туалетов на втором этаже нашего дома, я обнаружил, что здесь справили большую нужду прямо на пол и воспользовались полотенцем вместо бумаги. Воняло ужасно. Большие потери, понесенные за несколько лет войны, вынудили русское командование призывать людей с окраин страны, и, заняв Кенигсберг, эти дети степей, наверное, впервые попали в современный город. Пьяные, воспламененные ненавистью к врагу, необузданные в своей победной эйфории, изумленные встречей с цивилизацией и видом атрибутов роскоши, они безудержно, бесконтрольно, не опасаясь наказания или иных последствий, предавались удовлетворению всех своих влечений – к сексу, власти, вещам, жратве, выпивке, убийству. О, какую силу ненависти они обнаружили! Ожесточению, с которым сами немцы атаковали и оборонялись, соответствовала теперешняя безжалостность их победителей.

Солдаты сразу обратили внимание на нашу группу и принялись разглядывать женщин и багаж. В конце концов они заинтересовались только двумя хорошими и прочными чемоданами. Угрожая заряженным пистолетом, русские отобрали чемоданы, открыли их, вытряхнули содержимое (это была преимущественно одежда и памятные вещи вроде фотоальбомов) и с пустыми чемоданами удалились. Им нужна была только тара, чтобы отправить домой более ценные трофеи. А нас

все меньше волновала утрата личного имущества – избежать бы телесных повреждений. Женщины постарались выглядеть как можно старше и непривлекательней и все, включая Уте, ходили на горбатых старушек.

Наконец мы дошли до сборного пункта, где собрались жители со всех концов Хуфена. Здесь уже было нечто похожее на дисциплину; офицеры распределяли людскую массу по палисадникам, и там мы, изрядно уставшие, смогли присесть. В присутствии старших офицеров, которым солдаты подчинялись, мы почувствовали себя в большей безопасности, и я обнаружил, как робко возвращается ощущение счастья – только от сознания, что теперь я не изгой и не нужно испытывать страх, вступая в беседу и задавая вопросы. Наконец-то никакой особой участи. Я наслаждался этим состоянием, хотя на лицах вокруг отражались тяжелые переживания, страх и беспомощность, да и мои мысли были неотступно заняты только что увиденным и услышанным ночью. А рассказывали невероятное. Об изнасилованных девочках одиннадцати и двенадцати лет. Об убитых при попытке вмешаться родителях. О простреленных щеках – у тех, кто не сразу отдавал свои вещи. Ничто не казалось невероятным или невозможным. Ежеминутно можно было столкнуться с проявлением страшной жестокости, и это было, скорее, правилом, чем исключением. Все, что было известно о Тридцатилетней войне, о набегах татар, о разбойниках и прочих кошмарах, за одну ночь стало реальностью, и она оказалась куда хуже самого ужасного вымысла. Диккерт и Гроссман свидетельствуют:

Страшная участь ожидала попавших в руки русских – независимо от того, остались ли они по какой-то причине в своей квартире или были настигнуты, спасаясь бегством от большевиков. Многих мужчин русские убивали – прежде всего тех, кто вступался за своих жен и

дочерей. И днем, и особенно ночью они забирали к себе и женщин, и юных девушек, и даже семидесятилетних старух, и насиловали несчастных одну за другой. В 54 населенных пунктах округа Рессель русские убили, по меньшей мере, 524 человек. Брошенные в погреб 26 крестьян были взорваны. В Гросс-Розене 28 человек загнали в сарай и подожгли его. Других та же участь постигла в церкви. В Кронау, округ Летцен, русские убили 52 человек, в их числе 18 французских военнопленных; в колонне беженцев из Лыка было убито под Никольсбергом 97 человек; под Шлагакругом, округ Инстербург, 32 ребенка, отделенных от колонны. Убили и каждого, кого сочли ополченцем.

Мы провели на сборном пункте долгие часы. Сходить в туалет и достать воды стало целой проблемой. Заботиться о пропитании надлежало самостоятельно. Я, кажется, уже давно не ел и не пил, и особенно мучительной была жажда. К трем часам дня начали формировать большие группы, и они по мере готовности уходили в сопровождении двух конвоиров. Никто не знал, куда. Наша группа двинулась в направлении Шарлоттенбурга и, выйдя из города, в сторону Земландии. По пути попался ручей, я сейчас же попросил у соседей посудину и, спустившись к ручью, наполнил ее водой, которую мама, отец, я сам и еще кто-то из соседей с жадностью выпили. Но передохнуть нам не дали, непрерывное «dawai» конвойных гнало нас дальше.

Мы проходим мимо немецкой и русской разбитой военной техники, бронированных машин, противотанковых орудий и мертвых солдат. Конечно, большинство трупов уже убрано, но некоторые еще видны. В люке русского танка, подбитого, должны быть, из ручного гранатомета, застряли два танкиста, наперегонки пытавшиеся выбраться. Верхние части их тел свешиваются в разные стороны, а нижние, внутри танка,

должно быть, сгорели. На дереве висит пожилой ополченец, а неподалеку, у следующего дерева, скорчился другой – застреленный. Не только вид хуторов указывает на тяжесть сражений – все кругом изрешечено стрельбой и изрыто воронками, деревья расщеплены и расколоты. Еще через несколько метров видим сидящих на обочине крестьянок – наверное, мать и дочь. Кровоточащие губы, застывший взгляд. Бежав из ада, которым стал их собственный дом, они надеялись, что будут в большей безопасности на открытом пространстве. У оживленной трассы, думали они, над ними сжалются или побоятся насиловать их вновь и вновь. Зрелище, которое они являют собою, столь жалкое, что никому из нас его не забыть. Рядом с этими двумя фигурами разорванные или вздувшиеся тела погибших кажутся избавленными от страданий.

Короткая передышка на небольшом косогоре, и нас окружают очередные искатели трофеев, заинтересовавшиеся нашим багажом. Конвой пытается оттеснить их, но безуспешно. Отбирают вещь за вещь. Просто чудо, что нам до сих пор удалось сохранить свои скрипки. Впрочем, и прячем мы их надежно. Мамин альт совсем незаметен у нее под пальто. Но только мы трогаемся с места, как один из русских обнаруживает скрипку у отца за спиной. Солдат приближается и требует скрипку, но отец не отдает, и тогда солдат, вынув пистолет, приставляет его к отцовской щеке. Стоя рядом, я оказываюсь на линии выстрела, и, когда отец произносит: «Ну и стреляй», отклоняюсь назад, чтобы пуля в меня не угодила. Жестами я прошу солдата не стрелять. Он убирает пистолет и отходит – раздраженный, но и, кажется, проникшись некоторым уважением к нам.

Хотя по натуре отец вовсе не был героем и поступил так из крайнего отчаяния, мне его поведение понравилось. Скверное это дело – из-за выстрела остаться без

коренных зубов. Нам уже было известно, что русские таким образом подавляли сопротивление тех, кого не собирались убивать. Снова можно было говорить о везении – этом удивительном и порою чуть не назойливом спутнике многих уцелевших.

Штоки шли с нашей группой, и все мы старались огрadyть Уте от посягательств. Тем временем стемнело, и ночь мы провели на траве под открытым небом. Все увиденное за день до того ужасало, что разговаривать никто не мог или не хотел. Но услышанное ночью потрясало еще сильнее. Дневное принадлежало прошлому, а доносившиеся сейчас вопли, мольбы о помощи, выстрелы, рыдания и снова мольбы – все это было настоящим, непосредственно действовавшим на воображение и восприятие, и вынести это не было сил.

Фоном ко всему служило зарево пожарищ. Русские выполнили свою угрозу и подожгли все уцелевшее жилье. Хорошо, что нас вывели из города, но что случилось с оставшимися в зданиях? На сей раз я наблюдал горящие предместья Кенигсберга с большего расстояния, чем пожар в центре города после бомбардировок. Снова языки пламени лизали небо и были так же безжалостны и неумолимы, как все происходящее вокруг.

Дорожные впечатления следующего дня не отличались новизной, разве что на сей раз отец лишился своей скрипки в результате сочетания угроз и обещаний. Его поставили перед выбором: расстрел или две буханки хлеба. О хлебе мы могли только мечтать, и отец, понимая, что рано или поздно со скрипкой придется расстаться, выбрал хлеб. После чего скрипку забрали и навсегда с нею исчезли. Хлеба мы ждали напрасно. Моей скрипкой в неприметном футляре пока никто не интересовался. Со скрипкой у ее владельца отнимают часть души, и ныне отец выглядел совсем из-

можденным и сломленным. Идти дальше сил не было, а мы все еще не достигли цели. По дорогам к линии фронта направлялось пополнение: грузовик за грузовиком (определенно американские), между ними танки и другая гусеничная техника. Движением на перекрестках руководили русские регулировщицы с флажками. Вообще, чем дальше от театра военных действий, тем чаще встречались женщины в униформе. Наши конвоиры оказались довольно приветливыми, и, благодаря установившемуся контакту с ними, выяснилось, что у победителей имеются человеческие черты. Но проявлять человечность им, похоже, было запрещено. В книге Льва Копелева «Хранить вечно» имеется некоторая информация об этом запрете, однако масштабы и продолжительность бесчинств он преуменьшает.

Мы сделали остановку на брошенном подворье, и я бросился искать съестное. Нашел мешочек мака, и мы съели его с большим удовольствием и с пользой. Один из наших обнаружил пакетик овсяных хлопьев, другой – испорченный картофель. Наконец-то у нас снова была пища. В целом вечер был спокойнее предыдущего, и, проведя в подвале ночь, которая тоже была лучше, мы на следующее утро добрались до конечного пункта нашего маршрута.

Место называлось Квандиттен. Там было покинутое, не пострадавшее от войны имение – с несколькими зданиями, парком, озером, рядом с лесом. Когда мы пришли, одни русские мылись в озере, а другие, стреляя из автоматов, сбивали с великолепных деревьев толстые сучья – так они добывали топливо. Позже они кинули в пруд ручные гранаты, и всплыло множество мертвой рыбы – доселе незнакомый мне способ рыбалки. Но, несмотря на вандализм, эти русские казались менее опасными, чем те, что встречались в Кенигсберге и в его окрестностях. Эти, похоже, даже



проявляли некоторую заботу о нас. Видимо, мы оказались в комендатуре со старшими офицерами, которых солдаты слушались. Нам отвели просторное помещение и выдали одеяла, что было очень кстати, поскольку нас вдобавок ко всему еще и бил озноб. Наконец-то покой, который можно было использовать для сна. Женщин забирали, но только для кухонных работ, и уже вскоре мы ели картофельный суп. Ну вот, думал я, хоть немного мира наконец.

Был там старший лейтенант, хорошо говоривший по-немецки. В его немецком легко угадывался идиш, однако надежда на то, что еврей-офицер, говорящий по-немецки, отнесется к нам с пониманием, совершенно не оправдалась. Он был только переводчиком, мало на что мог повлиять, и ему было скорее неприятно узнать, что мы евреи. Заметно было, что он стыдится своего еврейства и старается его скрыть. О наших еврейских удостоверениях он отозвался так: «Известно, что Гитлер убивал всех евреев, а раз вы, несмотря на это, остались в живых, значит, вы сотрудничали с нацистами». Вот как все обернулось. Нам же еще и доказывать пришлось, что он неправ, не то мы бы оказались на подозрении. Мы попросили Штоков подтвердить нашу невиновность, когда всех, одного за другим, начали вызывать на допрос. Кажется, русские заводили на каждого дело и хотели выведать секреты, вроде местоположений тайников оружия и данных о возможных акциях Вервольфа – организации, созданной по инициативе нацистов в основном из членов Гитлерюгенда для диверсий на занятых русскими территориях. По-видимому, именно диверсий и опасались русские, и, наверное, потому они начали с перемещения гражданского населения.

Вечером мы слышали, как они поют. Это было невероятно красиво. Хоровое и сольное пение чередова-

лись, и я не мог понять, как люди, умеющие так петь, способны быть столь жестокими и бессердечными.

Было уже совсем поздно, когда появился старший лейтенант и потребовал, чтобы я сыграл на скрипке. Я сперва подумал, что им движет любовь к музыке или желание развлечься, и так оно, вероятно, и было, однако главное, что его интересовало, это сама скрипка и ее звучание. Он стал выяснять, сколько ей лет и кем она изготовлена. Мы уже ничего хорошего не ожидали. Мама, в свою очередь, очаровательно исполнила несколько салонных пьес Крейсера и Венявского. Ее игра сразу же собрала множество благосклонных слушателей, и их лица, до сих пор хмурые и неподвижные, заметно оживились.

Спустя два дня, в течение которых нас еще не раз допрашивали, русские сформировали команду из мужчин, куда включили и меня со Штоком, и объявили, что отправляют нас на работы. Это означало разлуку с семьями. Теперь Шток еще сильнее беспокоился за жену и дочь. Я тоже был привязан к Уте. Никто и не ведал, как я боялся именно за нее. Немного утешала надежда (как выяснилось, напрасная), что мы уходим ненадолго. Вещи надлежало оставить, и тут-то старший лейтенант забрал мою скрипку. Меня это сильно разозлило, маму с отцом опечалило.

С тяжелым сердцем мы тронулись в путь в сопровождении одного солдата. Снова никто не знал, куда нас ведут, но вскоре выяснилось, что наша конечная цель – дымящийся вдали Кенигсберг. Мы пересекали магистрали, по которым все еще двигались грузовики, танки, «катюши» и то и дело встречались пешие колонны – просто невероятной длины. Не иначе как вся Россия струнулась с места, если повсюду к тысячекилометровой линии фронта подтягивали столько техники и живой силы. На перекрестках движение регулиро-

вали вручную и виднелись указатели с выведенными кириллицей топонимами. Восточная Пруссия стала русской.

Наша команда росла. К ней прибывались новые группы, в которых были и женщины, иногда даже молодые. Уже совершенно естественным казалось, что по ночам их забирают и, освещая путь фонариком, уводят под пистолетом и что они, привыкнув к страданиям, безропотно подчиняются. Мы научились, несмотря на все это, засыпать, а поутру они были на своем месте. Мысли об Уте не давали мне покоя.

А потом мы опять шли в Кенигсберг и вновь пересекали места сражений. В разбитых машинах по-прежнему виднелись застрявшие и распухшие трупы, а на обочинах все так же сидели женщины. Раненая пожилая женщина протянула к нам руки, и стоявший рядом с нею русский жестом потребовал, чтобы я помог ей идти. Я был слишком слаб и едва двигался сам. Тотчас вспомнилась тетя Фанни.

## «Кладбище» Кенигсберг

И вот мы в Кенигсберге. Большую часть жилья, пострадавшего от штурма, но в общем уцелевшего, русские предали огню, в том числе нашу квартиру на Штайнмец-штрассе. Дом сгорел целиком, вместе с подвалом. Нельзя представить себе ничего безотраднее, чем Кенигсберг того времени. Развалины, одни развалины. Лишь изредка то тут, то там встречается полуобгоревшее и, удивительное дело, почти не пострадавшее внутри здание.

В пригородах имелись небольшие комендатуры. Нас снова подвергли обстоятельной регистрации. Пропитание нам предстояло искать в подвалах. Порошковый пудинг «Доктор Эткер», ванильный сахар, банка овощей, а если очень повезет, то мясные или колбасные консервы. Мы ели все, что удавалось найти.

Вскоре выяснилось, в чем состоит наша работа. Город все еще был усеян трупами. Мертвых солдат предали земле, а гражданских лиц армия хоронить не собиралась. Нам поручили отыскивать трупы в домах, подвалах, во дворах и садах и «убирать» их. Слово «хоронить» здесь вряд ли уместно. Приходится преодолевать себя, чтобы описать эту нашу деятельность. Первым был труп молодой женщины, полуобнаженной, с засохшими струйками крови на бедрах и в уголках рта. Она лежала на нижнем этаже наполовину сгоревшего дома. Лицо у нее было тонкое и нежное. Надев выданные нам перчатки, мы взяли ее за руки и за ноги и вынесли на улицу. Было велено сбросить ее в ближайшую

воронку. Другие принесли расстрелянного мужчину. Его сбросили туда же. Их тела уже разлагались, пролежав около недели. Русским не нравилось, что мы слишком долго возимся, и нам показали новый метод: каждый получал по веревке с петлей, которой стягивались руки или ноги трупа, и теперь даже в одиночку его можно было доволочь до ближайшей воронки – так получалось куда быстрее. Я до сих пор помню почти всех несчастных, мужчин и женщин; я вижу не только их лица, но и позы, в которых их обнаружили, а иногда и предметы, которые их окружали. И детей помню, и стариков. Это были по большей части застреленные, некоторые заколотые или задушенные. Попадались и самоубийцы, принявшие яд или повесившиеся в лестничном пролете. В одном случае счеты с жизнью свела целая семья.

На одной из улиц Хуфена, название которой я уже позабыл, была огромная воронка от авиабомбы. В нее мне пришлось стаскивать тела, скрючившиеся от жара сгоревшего над ними дома. Их живыми заперли в подвалах, а снаружи подперли засов железной двери брусом. В городе, увы, имелись подвалы без спасительного пролома в стене. Эти трупы были легче других, а вот выглядели куда ужаснее. Прежде чем засыпать воронку, в нее стащили совсем разложившийся лошадиный труп. Засыпку могил русские производили чем-то вроде плужного снегоочистителя на специально приспособленной для этого гусеничной машине, а мы работали лопатами. Меня до сих пор мороз по коже пробирает при воспоминании о той могиле для людей и лошади, находившейся посреди улицы. Ее то и дело заново засыпали, поскольку грунт проседал.

Голод и психическое напряжение расстроили мой желудок. Как-то раз один русский, добросердечный и жалостливый, желая сделать нам приятное, вручил каждому по ломтику сыра, а сверху еще и меду намазал.

Редкость по тем временам такая, что ума не приложу, где он все это раздобыл. К сожалению, от изысканного лакомства меня вырвало и самочувствие ухудшилось.

Со взаимопониманием дело обстояло плохо. Мы старались побыстрее выучить русский, и некоторые проявляли при этом поразительные способности. Все чаще можно было стать свидетелем разговора на смешанном языке. Если мы с укоризненным видом указывали на тела жестоко убитых, русские пожимали плечами и возбужденно говорили о матери, об отце, сестре или брате, которые тоже погибли, и рассказывали, с непонятными нам подробностями, о своей разрушенной родине и обо всем ужасном, что там произошло.

Те, кто, подобно генералу Лашу, еще и в 1960 году говорят о «большевистском отродье», конечно же, при Гитлере относились к русским с еще большим презрением. Жестокие убийства коммунистов, комиссаров, евреев, партизан, голодная смерть, на которую обрекали русских военнопленных, уничтожение городов и деревень (только в блокадном Ленинграде погибло около миллиона жителей), – ведь все это совершенно немцами. И могли ли русские делать различие между поведением СС или гестапо и поведением других организаций, например вермахта, подчинявшихся одним и тем же оккупационным властям? И почему они вообще должны были проводить различие, коль скоро все эти организации участвовали в нападении? Русские видели только одного врага – немецких захватчиков, которые подчинялись одному главнокомандующему – Гитлеру. (Нет надобности говорить о разнице между образовательными уровнями напавших на Россию немцев и завоевавших Восточную Пруссию русских, тем более что образованный обязан лучше отдавать себе отчет в своих поступках, чем необразованный.) Оглядываясь назад, не будем постоянно путать причину со след-

ствием. Очень жаль, что из-за невероятных зверств русских, т. е. их актов мести, многие немцы не сочли необходимым задуматься о собственной вине или хотя бы испытать сожаление за собственные бесчинства по отношению к другим. И речь здесь не только о многочисленных военных мемуарах. «Неспособность к скорби» есть негативное следствие того, что в Германии не состоялось честного обсуждения проблемы вины.

Да, говорить о коллективной вине не позволяет уважение к настоящим противникам нацистского режима, подвергшимся за свои убеждения преследованиям и арестам. Ведь и они – немцы. Коллективной вины не было, но было непростительно много коллективно виновных. Невообразимые масштабы, которых достигли обман, бесчеловечность, слабыхарактерность, с ужасной ясностью показывают, сколь несовершенны люди. К сожалению, те, у кого были все основания задуматься о своей личной вине, нашли себе оправдание в идеях Теодора Хойса, отрицавшего коллективную вину и говорившего вместо этого о коллективном стыде. Стыд можно испытывать и за те действия, которые совершили и за которые понесут ответственность другие люди. В отличие от уже самого слова «вина» чувство стыда не требует задумываться о своих поступках. А потому, хотя чувство стыда и испытывали (часто лишь за то, что проиграли войну), всю ответственность перекладывали на нескольких «ведущих исполнителей» и ждали того момента, когда чувство стыда сможет смениться чувством новой гордости. Футбольные чемпионаты, успехи в экономике и особенно рост враждебности друг к другу у держав-победительниц – все это помогло быстро преодолеть чувство стыда, не задумываясь долго о вине.

Наша новейшая история предоставляет нам уникальный шанс проникнуть в глубины человеческой психо-

логии – при том, однако, условии, что мы не будем отмахиваться от неприятных фактов. Важно уже с молодости знать, что поведение запуганных людей по отношению к тем, кто облечен властью, и этих последних по отношению к бессильным чревато господством низких инстинктов и иными роковыми последствиями. Солженицын называет этот феномен смертельнейшей и опаснейшей из людских болезней. Я бы предпочел говорить об опаснейшем неведении и, тем самым, по-прежнему робко надеяться на то, что знание сможет преодолеть эту болезнь. Но знание и стремление забыть о неприятном исключают друг друга. Ищущий забвения отвергает знание, а незнающий подвергает себя опасности повторения роковых ошибок.



## Концлагерь Ротенштайн

Поиски воды и остатков пищи среди развалин, принудительная работа, необходимость защищаться от холода и произвола – все это требовало колоссального напряжения сил, интеллекта и внимания, и, чем больше интуиции и смекалки человек проявлял, тем лучше. Ведь совсем непросто было сообразить, что в кухонных кладовых даже полностью, включая лестничные пролеты, сгоревших домов могли сохраниться покрытые сажей консервные банки, а в них, помимо угля, имелось съедобное содержимое. Передвигаться по такому зданию с помощью приставной лестницы нужно было осторожно: стены могли обрушиться. Питаться мясом, срезанным с полуразложившегося трупа лошади и испеченным, было выше моих сил, но некоторые находили его питательным. Впрочем, очень скоро начались болезни, и еще до тяжелой эпидемии тифа широко распространилась дизентерия. Но и без нее почти все мучились от поноса, и многих постоянное судорожное опорожнение кишечника лишало последних сил.

Смертельно усталый, я лежал вместе с двумя десятками других на полу какого-то крытого помещения. Было нестерпимо холодно, несмотря на то что оконные проемы были сравнительно плотно закрыты картоном, жестью и холстами картин. Каждую ночь нас по несколько раз будили русские: они шумно вваливались, каждому светили фонариком в лицо и неизменно искали женщин и девушек, которые, бедняги, были вынуждены подчиняться их воле.

В ту ночь меня, как обычно, ослепили фонариком, а потом неожиданно пнули ногою в бок. Солдат сердито приказал мне немедленно следовать за ним. Я повиновался, накинув поверх одежды драгоценное шерстяное пальто, которое где-то нашел и с тех пор использовал вместо матраца. На улице нас дожидалась группа штатских, с которыми мне куда-то предстояло отправиться под строгим конвоем. Члены этой группы прошли регистрацию, но один сбежал, и, чтобы число подконвойных соответствовало списку, конвоиры взяли меня. Теперь цифры сходились, но имена нет, что мне еще осложнит жизнь. Остаток ночи мы провели в русской комендатуре, откуда бежать было невозможно и где я пытался заснуть на столе. Наутро нас повели через Маруненхоф, мимо Верхних прудов, к бывшим казармам Ротенштайн, переоборудованным теперь в концентрационный лагерь. Здесь нас окружали вечные приметы недостойного людей бытия: высокий забор с вышками и колючая проволока. В лагерь отправляли всех подозрительных, чтобы установить, не скрывается ли среди них партийное начальство. У меня уже давно забрали все удостоверения и справки, свидетельствующие о том, что меня как еврея преследовали, а рассказывать об этом я перестал: русские либо вовсе не слышали о таких вещах, либо ничему не верили. Нелегко было убедить их даже в том, что я не состоял в партии. Как если бы уже мой юный возраст не служил тому ручательством. И еще труднее было доказать, что я не воевал и не вхожу в Вервольф. На все остальное им было наплевать. О евреях и их судьбе они и слышать не желали, это я к тому времени уже сообразил. Цена за принадлежность к немецкому народу между тем сильно поднялась, и мне предстояло ее заплатить сполна. Выбора не было.

Нас выстроили во дворе казармы, и офицер зачитал инструкции. Каждое предложение заканчивалось

словами «за невыполнение – расстрел». Запрещено было все. Вдруг из наших безмолвных рядов выскочил какой-то сумасшедший паренек и, кривляясь и что-то бормоча, направился к офицеру. Тот выхватил пистолет, и бедняга, издав истошный вопль, кинулся прочь, чем спас себе жизнь. Затем нашу группу отвели в какое-то одноэтажное строение вроде сарая. Здесь стояли бочки с дождевой водой; мы бросились к ним и все никак не могли напиться. Раз в день давали поесть, но похлебку наливали только тем, у кого имелась посуда, и только тот, у кого была кастрюля или горшок, мог взять порцию похлебки и для другого. У меня посуды не было, и я не знал никого, кто мог бы взять для меня еду, поэтому во время первой раздачи я так и остался ни с чем. Через некоторое время нашу группу вызвали и отвели в «подвал». То, что это было худшее место в лагере, мы еще не знали. «Подвал» был до того переполнен, что нам как новоприбывшим пришлось стоять в узком коридоре.

Здесь нас разделили. Меня и еще двоих затолкали в какой-то совершенно темный закуток под крутой лестницей. Выпрямиться в полный рост здесь было невозможно. Прежде немецкие солдаты держали тут свиней, может быть – тайком. На унавоженном полу валялось несколько чурбаков и не было ни одной доски. Совершенно ничего не видя и согнувшись в три погибели, мы установили чурбаки так, чтобы создать иллюзию, будто ложиться прямо на вонючее дерьмо не придется. Сначала мы сидели на этих неудобных штуковинах, но вскоре, смертельно устав, улеглись и, поскольку все стало безразлично, смогли внутренне расслабиться. Навоз уже подсох, правда, не настолько, чтобы не пачкалась одежда или пальцы, если коснуться пола рукой. И тут я начал грезить. Это были не сны, а именно грезы наяву. Думал о родителях и надеялся, что они все еще в

имении за пределами Кенигсберга – оно казалось раем по сравнению с концлагерем. Вспоминалось совместное музицирование с Уте. Мечталось снова оказаться в какой-нибудь квартире из прошлой жизни. В чистой постели. Или, например, море, солнце, свежий воздух. Я начал наслаждаться этими грезами с такою полнотою, словно они были реальностью. Мои соседи оказались приветливыми людьми в возрасте. Меня, самого молодого, они жалели и старались утешить. Бесценные спутники на короткий срок.

На следующий день, около полудня, нас выводят из этой вонючей дыры, где, ко всему прочему, пришлось справить нужду. Снова раздача пищи, на сей раз в конце подвального коридора. Водянистая похлебка и черствый хлеб, местами зеленый от плесени. Снова приходится отказаться от похлебки, поскольку посуды ни у кого нету. Я напряженно думаю, где бы ее раздобыть, ведь иначе – голодная смерть. Сосредоточенность на этой мысли (кто-то, возможно, сказал бы: «молитва») приносит успех. Когда нас выводят справить нужду к казарменной ограде, я в первый момент чувствую себя ослепленным, словно от света подвальных ламп после кромешной тьмы. Инстинктивно зажмуриваюсь, начинаю открывать глаза постепенно, и тут меня осеняет: лампы-то ведь защищены от сырости колпаком. На обратном пути, пользуясь моментом, когда часовой не глядит в мою сторону, быстро откручиваю колпак и прячу его. Теперь наконец имеется посуда, которую, хочется надеяться, русские не отвергнут и не посчитают за кражу или порчу имущества. На следующей раздаче пищи они сразу догадываются о происхождении моей миски, но по их улыбкам видно, что они не сердятся; более того, за находчивость меня вознаграждают полным половником, предварительно несколько раз помешав им в котле, так что теперь в моей порции,

состоящей обычно из одной только беловатой жижи, плавают несколько кусочков картофеля и даже мяса. Я прикидываю, что в миску вмещается около литра. Мы делим порцию и с наслаждением едим. Другие, естественно, пользуются моей идеей и снимают оставшиеся колпаки.

Похлебка настолько укрепляет мои силы, что при случае я начинаю громко жаловаться и бранить русских: условия, в которых нас содержат, сравнимы с пыткой и совершенно невыносимы. И что-то, действительно, меняется. Когда в подвал приводят новую партию, нас присоединяют к ней. У одной из дверей длинного и разветвленного подвала часовой останавливается, и в пустое помещение заводят около восьмидесяти человек. Мы стоим вплотную друг к другу; оставшегося места хватает только для того, чтобы захлопнуть дверь, которая открывается вовнутрь. Здесь только два окна, и они снабжены противоосколочной защитой, а это означает, что расположенные под потолком окна замурованы и имеют лишь две вентиляционные щели, чего явно недостаточно для проветривания помещения, набитого таким количеством людей. Сначала все стоят неподвижно, беспомощно озираясь по сторонам, затем некоторые начинают усаживаться на пол и тем самым отнимают место у других. То тут, то там вспыхивает потасовка, слышатся ругань и перебранка. Каждый расталкивает и отпихивает других, отвоевывая себе клочок пространства на полу. Но места так мало, что хоть ложись друг на друга. Мы бы, наверное, все передрались, не одолей нас усталость и парализующая покорность судьбе. Так, должно быть, чувствует себя скот, набитый в вагон перед отправкой на убой. По сравнению с этим подвалом свиной закут, несмотря на грязь, мог показаться каютой второго класса. Скверное пробуждение ожидает

того, кто впал в забытие: он обнаруживает на себе чужие руки, ноги, головы и даже тела, от которых не так-то легко освободиться. Засыпающие оказываются внизу, проснувшиеся пробираются наверх. Дышать все труднее. У кого-то сохранились спички, и он зажигает одну, поскольку в подвале тьма кромешная. Но горит только серная головка, а палочка нет – настолько здесь мало кислорода. Чтобы справлять нужду, имеется желтый жестяной бочонок из-под варенья. Еле до него добираться и обнаруживаешь, что его занял больной дизентерией – «долгосранец», как здесь говорят. Бочонок недостаточно вместительный и в первый же день переполняется. Мой сосед кашляет, стараюсь отворачиваться. Ему очень плохо, а я еще и налегаю на него, но он все терпит и трогательно беспокоится обо мне, время от времени советуя на восточнопрусском диалекте держаться от него подальше.

Всего один, иногда два раза в день нам разрешают покинуть подвал. Охрана выводит нас к растущему недалеко от проволочного ограждения кустарнику. Там мы должны справить нужду в неглубоко вырытую канаву, и этому приходится учиться. Искусство состоит в том, чтобы находиться как можно ближе к краю и не опрокинуться – а голова от свежего воздуха кружится и никакой опоры нет. Крючков для одежды и бумаги тоже.

На обратном пути видим груды трупов, уложенных штабелями у стены казармы. На следующий день она исчезает, а еще через день появляется новая, еще внушительнее. Люди умирают, а русским это, кажется, вовсе не мешает, наоборот. Однажды перед обедом приносят питьевую воду. Некипяченую, из Верхнего пруда. Разливают из ванны, и дна почти не видно, до того вода мутная. Пить это я не собираюсь. Пропитываю водой нижнюю рубашку и кладу ее себе на лицо.

Действует как воздушный фильтр. Замечаю, что у самого пола воздух посвежее: сквозит из-под двери.

Пополудни разливают похлебку. Беру для себя и двух ближайших соседей, не имеющих посуды. Кашляющий, на которого мне приходится облакачиваться, благодарит за предложение разделить с ним похлебку, но отказывается. Признается, что болен туберкулезом, и беспокоится, как бы ему меня не заразить. Наливаю ему похлебку в сложенные ковшиком ладони, чтобы он хоть так поел. Поминутно у двери появляется русский и выкрикивает чье-нибудь имя. Читает и произносит неверно: «Ганс Гонгейм» вместо «Ханс Хонхайм» и т. п. Иногда вызывают и кого-нибудь из нас. Человек, надеясь вырваться из этого ада, радуется. А через несколько часов возвращается избитый в кровь и не в состоянии говорить. Глаз заплыл, а челюсть, похоже, сломана. Следующий уходит со страхом и больше не появляется. А третий возвращается цел и невредим. Как начальство пожелает.

Особенно ужасно по ночам. Постоянно кого-нибудь вызывают на допрос. А чтоб никто не спал, кричат и направляют в подвал прожектор. Хотят быть уверенными, что все бодрствуют и слушают. Но и это не помогает, так что русские требуют, чтобы все вставали, когда произносят имена. Слышно и то, как вызывают на допрос в соседних камерах. Дополнительная пытка, если это по десять-двадцать раз за ночь повторяется. А мое имя, естественно, никогда не назовут, ведь меня нет ни в одном списке. Кажется, я навсегда останусь в этом аду.

В камере начинают умирать, и теперь, когда нас выводят по утрам, мы вытаскиваем трупы во двор и складываем их в общую груду. Некоторые при смерти. Кто-то устал бороться за жизнь и отказывается принимать пищу. У него тотчас же забирают посуду. Чувствую, что воля слабеет с каждым днем.

Один из русских однажды спросил, нет ли среди нас художников. Я немедленно вызвался и был отведен к офицеру. Тот, скептически улыбаясь, вручил мне цветные карандаши и бумагу, и я старательно изобразил его в профиль. Хотя уловить сходство немного удалось, он остался недоволен, но прежде, чем отослать меня обратно, дал кусок хлеба. Хоть что-то! И все же настроение ухудшается. Друг-туберкулезник уговаривает не сдаваться. Ему самому, между тем, все хуже. Слабеет и с трудом дышит. И вообще, недостаток кислорода страшный, хотя мы оба уже переползли поближе к двери, из под которой немного тянет свежим воздухом, так что я почти утыкаюсь носом в пол. Каждое утро мы выносим из камеры минимум один труп, и все радуются дополнительному свободному месту. В самом деле, постепенно становится просторнее, но мы все равно еще вынуждены лежать вповалку.

Совершенно не представляю себе, как долго я тут. Кажется, что целую вечность и что мое имя никогда не назовут. Чем безнадежнее мне представляется мое положение, тем сильнее я погружаюсь в детские воспоминания о Куршской косе. Вот бы снова подышать ее дивным воздухом, поесть тамошней копченой рыбы. Я даже даю себе обет, что если мне когда-нибудь удастся выбраться отсюда живым, я до конца дней своих буду счастливым, благодарным и всем довольным, особенно если судьба позволит мне зарабатывать на жизнь помощником рыбака на косе. Рыбацкая жизнь на берегу залива, в воздухе, напоенном морским ветром, кажется наивысшим счастьем.

Стиль моей дальнейшей жизни, как и любой другой, определялся ростом запросов. Тогда, в камере, я глазам своим не поверил бы, окажись возможным заглянуть на двадцать пять лет вперед, когда русские слушатели в Москве и Ленинграде будут восторженно аплодировать



нам, исполняющим Баха, Гайдна и Моцарта, и когда в честь нашего Штутгартского камерного оркестра министр культуры госпожа Фурцева и посол Германии господин Зам будут устраивать великолепные приемы, на которых печеночные паштеты, мясные пироги, икра, шампанское и прочие деликатесы будут подаваться в таких количествах, что больше половины останется нетронутым. Узник концлагеря и чествуемый музыкант – бывают ли большие контрасты? А что касается моего обета, то его я исполнил на две трети. Счастливым и благодарным я был, всем довольным нет.

Однажды утром, когда нас вывели на opravку, я замечтался, справляя нужду в стороне от других. Опомившись, вижу, как мои сокамерники, замыкаемые охраной с винтовками, уже спускаются в подвал. Стремглав бросаюсь вслед за ними. Увидев меня, один из двух русских, вероятно, подумал, что я пытаюсь сбежать, но вернулся, поняв тщетность этой затеи. Иначе не могу объяснить себе приступа его ярости: он занес свою винтовку так, словно собирался заколоть меня штыком. Но остановленный – не знаю, чем именно: моим защитным жестом или моим ангелом-хранителем, – он поворачивает ее прикладом и, когда я пытаюсь использовать заминку, чтобы проскользнуть в подвал, с такою силой ударяет меня в спину, что у меня внутри что-то обрывается. Ясно ощущаю, как лечу в подвал сбитый ударом. Что-то рвется и ломается – в том числе и моя воля к жизни. Ко всем прочим несчастьям выясняется, что мое шерстяное пальто украли. На его месте лежит тяжелая шинель – из тех, что надевали немецкие караульные, заступая на пост. Слишком тяжелая для меня, полностью истощенного. Кто-то использовал наш «выход», чтобы «обменять» свою жуткую шинель на мое пальто.

Я сдаюсь и уже не поднимаюсь, когда вызывают на

очередную – раз в сутки – раздачу пищи. Все, кто умер, с этого и начинали – переставали ходить за едой. Я хочу умереть, и мысль о смерти делает меня спокойным и умиротворенным. Но мой все еще живой друг-туберкулезник уговаривает меня одуматься. Сам он уже только хрипит, но не отстает от меня, заклиная не сдаваться. И на следующий день я вновь бреду на раздачу, и надо же было так случиться, что именно в этот день нам впервые дают по чайной ложке сахара. Я лижу его медленно, с еще никогда не испытанным наслаждением. Он действует словно лекарство, словно чудесные таблетки. Еще не доев, я чувствую, как меняется мое мироощущение. Я разом перестаю видеть все в черном свете и испытываю прилив мужества. Оживают надежда, вера в себя и убежденность, что я непременно выберусь отсюда. Это и в самом деле похоже на чудо: всего несколько минут назад мое отчаяние достигало предела, и вот маленькая ложечка сахара с каждым мгновением возвращает меня к жизни. Вскоре я случайно встречаю в подвальном коридоре офицера, портрет которого рисовал, и с жаром пытаюсь изложить ему ситуацию, в которую попал. Он слушает без интереса, но в конце концов до него, кажется, доходит, что меня нет ни в одном списке и допроса на предмет установления личности я не дождусь до своей смерти. По его уходу возникает ощущение, что он непременно что-то предпримет. Надежда возвращается.

Следующего утра мой друг не увидел. В последнее время его мучения усилились, но он старался быть как можно менее обременительным. Эту смерть я принимаю близко к сердцу. Тело относят в общую гробу.

Цветет форзиция, и мне кажется, что это добрый знак. Сердце наполняется таким восторгом, что мне представляется, будто эти желтые цветы – неопалимая купина и из них Господь обращается ко мне. Во всяком

случае, созерцание цветов доставляет мне огромное счастье и вселяет в меня веру и мужество. И, словно это могло случиться лишь сегодня, меня наконец вызывают и вместе с другими выводят наверх. После длительного сидения в проклятом подвале казарменный двор кажется избавлением. Я снова попадаю в сарай с двумя дождевыми бочками, а поскольку непрерывно идет дождь, они полны до краев. Посреди сарая разведен костер, и у него греются. А некоторые тут же кипятят дождевую воду и дают ее нам, «подвальным». Но чем больше я пью, тем сильнее жажда. Я пью всю ночь напролет, от жадности обжигаю себе рот и губы, но пью, пью и пью. Никто не верит, что я столько времени провел в подвале. О нем слышали все, и считается, что попавшие туда обратно не выходят. Телесно и душевно я поврежден на всю оставшуюся жизнь, но, несмотря ни на что, чувствую, что худшее позади.

Теперь мои разговоры с Богом происходили, если можно так выразиться, напрямую. Оставив в стороне то, что произошло с другими (и то, что они сами считают хорошей или плохой жизнью и сами себе желают), я, пожалуй, готов признать Бога милосердным. Но не добрым. Конечно, говорить я могу только за себя, а не за тех, кого видел в ситуациях, в которых отсутствовал и намек на милосердие. Может показаться ересью, но, критикуя Бога, я не испытываю ни малейших сомнений. Я знаю, Бог мою критику выдержит и вряд ли оставит без ответа. У нас, так сказать, имеются расхождения во взглядах, но между друзьями – я бы даже рискнул сказать, дальними родственниками – это ведь не повод для вражды.

Наблюдая за умирающими, я убеждался, что все они воспринимали смерть как избавление от страданий. Поэтому смерть для меня позитивная реальность – объятья, распахнутые каждому в конце его пути. Ни

в коем случае нельзя видеть в ней одно только воплощение угрозы или низводить ее до простого уполномоченного Бога, заурядного исполнителя потустороннего приговора. Людям следовало бы научиться видеть в ней величайшее утешение, финал, гарантирующий мир и покой.

## Встреча

На следующий день нас построили, вывели из этого кошмарного лагеря и повели в сторону Кенигсберга. Я едва мог идти, и моему соседу приходилось время от времени меня поддерживать, а другим было и того хуже. Когда мы проходили мимо берегового ограждения Верхнего пруда, кто-то вдруг вырвался из строя и, перевалившись через низкую ограду, кинулся в воду. Яростно ругаясь, конвоир сдернул с плеча автомат и дал очередь вослед, что, хочется надеяться, принесло самойбице желанную скорую кончину. Мы двинулись дальше, хорошо понимая мотивы его поступка.

По какой-то причине наша колонна должна была остановиться, и несколько человек опустились на землю передохнуть, я в том числе. Желание никогда больше не вставать было настолько велико, что моему незнакомому соседу пришлось меня поднимать. И опять в путь, назад в несчастный Кенигсберг, механически переставляя ноги и дрожа от холода, ибо слишком тяжелую шинель я уже давно бросил. Через несколько часов, показавшихся вечностью, мы достигли цели. На путь от концлагеря до Кенигсберга ушла вся вторая половина дня. Вдобавок дважды нас вели не туда, прежде чем нашлась комендатура, в которую нас надлежало сдать.

Пока бесконечно тянулось составление списка, мы сидели или лежали на голом холодном полу. Мне мой новый помощник ложиться не велел, сказав, что я простужусь. Опасаться какой-то смешной простуды – мне, чувствовавшему себя смертельно больным! Какой аб-

сурд! Однако я подчинился. После долгого ожидания двое подвыпивших русских повели нас на ночлег. По дороге они палили по попадавшимся собакам. Ночлег представлял собою жилое помещение, которое на скорую руку привели в порядок и в котором уже находились гражданские лица, в том числе женщины. Наш приход обрадовал их не слишком, ведь мы отнимали у них место. Я быстро соорудил себе ложе из старых иллюстрированных журналов, сорванных гардин и распоротого валика, свернулся клубочком и почувствовал себя счастливым, обретя наконец уголок, в котором меня хотя бы временно никто не потревожит. Погружаясь в сон, я слышал, как наши конвоиры требовали от двух женщин пойти с ними: «фрау, ком».

Чего бы я только не дал, лишь бы меня оставили в покое! Мой тихий уголок посреди хаоса стоил царствия небесного, но грубое «dawai, dawai» молодого русского здоровяка нарушило идиллию. Делать нечего, пришлось вставать и идти, хотя я еле держался на ногах. Отправились в комендатуру, там посадили на готовый к отправлению грузовик, в кузове которого лежали лопаты и заступы. В городе почти не осталось проезжих улиц, так что ехали окольными путями, пока не добрались до перекрестка с мешавшей движению огромной воронкой от авиабомбы. Кругом руины, щебень и стальные балки. Задание было – вместе с другими штатскими засыпать эту воронку привезенными лопатами и заступами. Охраняло нас несколько русских, вооруженных до зубов. Я был не в силах даже пошевелить лопатой, не говоря уже о том, чтобы засыпать щебнем яму, и беспомощно стоял, готовый свалиться от слабости. Вид у меня был до того жалкий, что это подействовало на стоявшего поблизости охранника. Он отозвал меня в сторону и повел в подвал ближайшего разрушенного дома. В какой-то момент я подумал,

что сейчас он меня убьет, но он указал мне на ржавую, обгоревшую кровать и дал понять, что я могу улечься. Этот человеческий жест, собственно, спас мне жизнь: пока другие работали, я лежал и пытался прийти в себя, полностью расслабившись, а заставь русский меня работать вместе со всеми, это неизбежно вызвало бы упадок сердечной деятельности и смерть. Кто не мог двигаться, погибал, – о таких не заботились.

Когда меня вечером вывели из подвала, я чувствовал себя несколько лучше. Не помню, пришлось ли мне в тот день утолять голод и жажду. Кажется, нет. На другой день все произошло точно так же: я отправился в подвал к своей койке и лег, всецело сосредоточившись на стремлении восстановить силы. Русский охранник принес мне в котелке остатки своего супа из перловки. Осчастливленный и расстроганный, я крошечными глотками отхлебывал это лакомство. Вообще, все заметнее становилось, что некоторые русские начинают видеть в нас людей. В свою очередь, и мы обнаруживали, что у них есть сердце и душа. Все еще не было конца их кошмарным ночным вторжениям, от которых страдали женщины, но днем русские уже не внушали нам того страха, что прежде.

В команде, работавшей на улице, оказался знакомый моих родителей. Во время обеденного перерыва он зашел ко мне в подвал и предложил перейти к ним. Жили они неподалеку от нашей бывшей квартиры на Штайнмец-штрассе. Я с благодарностью принял это предложение и отправился вместе с ними. Русские охранники не возражали, узнав, что я ищу родителей. Они были настроены довольно дружелюбно, не то что охрана других команд, обращавшаяся с узниками, как с опасными преступниками. У моих новых знакомых житье было получше. Мне посочувствовали, дали пшенной каши и устроили настоящее ложе. Похоже, здешние женщины

устроились убирать, стирать и стряпать для офицеров, благодаря чему получали дополнительное продовольствие. От этих щедрот сейчас перепадало и мне.

Каким счастьем было на следующий день остаться лежать на новом месте. Здешним было невдомек, что такое Ротенштайн, мне же он едва не стоил жизни, и теперь я медленно приходил в себя. Но вечно их самоотверженная помощь длиться не могла. Некоторые уже начали ворчать. Пора было уходить. Я попросил тех, с кем делил кров, разузнать, не слышал ли кто о моих родителях, и уже на следующий день они вернулись с известием, что родители живут на Шреттер-штрассе, в шести кварталах отсюда. Значит, и их вернули в Кенигсберг.

Вне себя от радости я тотчас же отправился в путь. Предстояло одолеть около полукилометра. Волоча ноги и то и дело останавливаясь, я прошел два квартала, после чего силы меня оставили, и я, почти падая, понял, что не доберусь. Не оставалось ничего иного, как вернуться к исходному пункту, что я с величайшим трудом и сделал, какое-то время беспомощно и потерянно постояв, а потом выбрав наикратчайший путь. Куда подевалась моя сила, с помощью которой я шестнадцатилетним таскал стокилограммовые мешки? Даже мечта поскорее увидеть родителей не помогла мне пройти пятьсот метров. Своим товарищам я сказал, что завтра попробую опять и наверняка получится. Меня снова накормили пшенной кашей, и я заснул, полный надежд и предвкушая радость встречи.

На другой день у меня хватило сил, чтобы медленно, поминутно останавливаясь, дотянуться до Шреттерштрассе. Пришлось, правда, порасспрашивать, но в конце концов здесь и было-то всего два полуобгоревших дома, куда вселилось некоторое количество кенигсбержцев. С тех пор как мы покинули Штайнмец-



штрассе, я впервые видел знакомый район. Все дома, которые после прихода русских уцелели или пострадали так, что их можно было отремонтировать, сейчас являли собой руины, выгоревшие до самых подвалов.

А потом состоялась столь горячо желанная встреча. Мой вид вызвал у родителей слезы. Я тоже нашел, что они очень изменились и выглядят неважно. Не стоило ни о чем им рассказывать, и я не стал. В комнатке, которую они, к счастью, ни с кем не делили, родители любовно устроили мне ложе – под маминой кроватью, чтобы меня не обнаружили русские патрули. Наконец-то я обрел долгожданный покой и был вместе с родителями. Моя беспомощность повергла маму в шок, и она с невероятным упорством и энергией принялась добывать пищу – путем поиска, обмена и просьб. Немного белого хлеба за скатерть, картошку за серебряные вилки, чуточку конского жира за сломанные стенные часы – любые вещи можно было нести к русским и предлагать на обмен. Неутолимой была их потребность во всем и вся. И за кусок хлеба они получали в буквальном смысле золото и серебро.

Целыми днями я лежал под кроватью и медленно восстанавливал силы, благодаря заботливому уходу мамы. Через пять дней начал вставать и немного двигаться. Поврежденные прикладом ребра постепенно заживали. Но следовало оставаться под кроватью: то и дело заходили русские, чтобы забрать трудоспособных мужчин и женщин или просто присмотреть себе вещи, которые могут пригодиться. По-прежнему доносились пронзительные крики: изнасилования стали рядовым событием. По-прежнему ночь наполнялась адской музыкой: кто-то колотил чем-то тупым и тяжелым в забаррикадированные двери, громко бранился, орал и угрожал по-русски, слышались пистолетные выстрелы, вой собак, причитания, мольбы, заклинания

и долгий-долгий плач. Все это напоминало кошмарный сон, но было, увы, реальностью.

Постепенно ко мне возвращались силы, и я видел, что мама одна не в состоянии обеспечить всех троих продовольствием в достаточном количестве. Менять уже было нечего, а чтобы раздобыть новые вещи на обмен, требовались ловкость и проворство, и здесь преимущество было на стороне более молодых соседей. И за водой нужно было ходить за полтора-два километра, на Луизенваль. Раз в три дня мама преодолевала это расстояние с ведром воды, которое несла попеременно то в одной, то в другой руке. Я видел ее мучения и не мог дожидаться момента, когда смогу помочь.

Я уже дней восемь поправлялся, лежа под кроватью, и тут к нам нагрянул злобный офицер, говоривший на смеси идиша и немецкого. Он осмотрел нашу комнату основательно, обнаружил меня и, ударив кулаком в лицо, вытащил из-под кровати. Мама, я и отец сообщили, что я «bolnoj», и он, хоть и успокоился немного, все же потребовал, чтобы я одевался и следовал за ним. Мы прошли несколько улиц и оказались у разрушенного дома, в котором русские решили поселиться. Нужно было очистить его от мусора. Этим уже прилежно занималось несколько человек, и я, поначалу медленно и неуверенно, тоже включился в работу. Место было приличное: работавшие получали еду – 400 г хлеба, а кроме того, удавалось то тут, то там найти что-нибудь полезное.

Неописуемый праздник закатили русские по случаю подписания адмиралом Деницем договора о капитуляции. Целый день они палили из всего, что можно. Каждый испытывал облегчение от того, что наконец-то окончилось это безумие и можно подумать о новой жизни. Расизм и претензии на мировое господство вызвали ответный удар, ни с чем не сравнимый по своей

сокрушительной силе. Итогом мечтаний о верховенстве Великой Германии стала разрушенная Европа с невероятно расширившейся сферой советского влияния.

С этого дня я все больше становился главным кормильцем семьи. Особенно неприспособленным к новым жизненным условиям оказался отец. А между тем, жизнь превратила всех в хищников со слишком маленькой охотничьей территорией, и следовало мобилизовать все свои чувства и действовать ловко и хитро. Чтобы уцелеть, необходимо было научиться присматриваться и прислушиваться, комбинировать и импровизировать. Сделаться полезным для русских, завоевать их симпатии, суметь что-нибудь починить – часы или керосиновую лампу. За это давали хлеб или овсяные хлопья, ячмень или суп.

Таская тяжелое ведро, мама заработала себе воспаление оболочки сухожилия и испытывала сильные боли. За пару вечеров я смастерил для нее коромысло: положив его на плечи, можно было привешивать по ведру справа и слева. Это значительно облегчило походы за водой. Теперь мама могла носить по два до половины наполненных ведра, не испытывая болей. Впрочем, вскоре я уже и сам мог ходить на Луизенваль за жизненно необходимой водой. Наши отношения с отцом опять начали обостряться: он привык к тому, что о нем заботятся, и снова занялся китайским; я же считал, что ему, несмотря на пожилой возраст, следует хоть как-нибудь участвовать в поисках пропитания, тем более что русские стали ценить седовласых, солидного вида мужчин и доверять им административно-организационные посты. Так или иначе они стремились решить стоявшие перед ними огромные проблемы, тем более что эпидемия дизентерии и тифа коснулась и их. Открылась и, благодаря усилиям профессора Штарлингера, заработала инфекционная больница. Тем самым

был обеспечен уход за инфекционными больными; но о прочих не заботился никто.

По улицам бродят кенигсбержцы, близкие к голодной смерти. Все еще стоит запах непогребенных тел. Распространяются венерические болезни и чесотка. Правда, теперь иногда женщине удается избежать изнасилования, сказав, что она больна. Большинство заразилось, но кто бы и чем бы ни страдал, ни для кого нету ни врачей, ни лекарств. Остается либо самолечение, либо воронка.

Одичавшие собаки избегают встреч с человеком, каким-то образом чуя его намерения. Всех кошек уже давно съели. Однажды средних размеров собаку сбивает мчащийся джип. В состязании за ее труп я оказываюсь победителем и несу добычу домой. Тут-то и оказываются полезны наблюдения за тем, как разделяли и свеживали моего кролика. То же самое я проделываю с тушкой собаки, и ее мясо приходится всем домашним по вкусу и укрепляет наши силы. А однажды в куче мусора мне попадает на глаза целая банка сиропа – вот это удача!

По моим оценкам, к этому времени из предполагаемых 130 000 оставшегося в Кенигсберге гражданского населения уцелело не более половины. В течение ближайших месяцев оно сократится вдвое, а в последующие три года – еще раз вдвое. Не было никакой пищи, каждый сам думал, как прокормиться. Или работать у русских за 400 г хлеба в день, или искать еду среди развалин, выменивать на вещи, красть, выманивать обманом. Или голодная смерть. Русских и самих-то снабжали довольно скупо, так что излишков у них не было. В таких условиях пожилые люди почти не имели шансов выжить, как, впрочем, и молодые, не проявлявшие предприимчивости, ведь и их тогда ждала скорая смерть от тифа или последствий голода. Говорят, что

из 130 000 выжило и было выселено в Германию лишь 20 000. Но мне кажется, что и это число завышено. Описать условия жизни и нужду, которые сократили численность кенигсбержцев более чем на 80 процентов, невозможно, но я попробую – в память об этих несчастных.

## Конфликты и судьбы

Доктор Шток тем временем умер, и его вдове с дочерью пришлось самим бороться за выживание. Госпожа Шток поступила умно: сошлась с русским офицером и тем обеспечила себе пропитание и защиту. Это пошло на пользу и Уте, однако отрицательно сказалось на ее развитии и тяжелейшим образом повлияло на всю ее последующую жизнь.

Что касается отца, то если изучение китайского языка и удовлетворяло духовные его запросы, то удовлетворению физических потребностей несомненно препятствовало. Игнорировать реальность было непозволительной роскошью. Мы изо всех сил уговаривали отца хотя бы попытаться помогать нам. Но тщетно. Я начал ненавидеть его звучные сентенции. Если бы хоть одно из мудрых изречений научило нас, как прожить завтрашний день! Нет, для этого требовалась не мудрость, для этого требовалась хитрость, а ее отец глубоко презирал. Итак, я воплощал низкую и коварную хитрость, а он – возвышенную и достопочтенную мудрость. Само собой разумеется, низкой хитрости надлежало заботиться о высокой мудрости, не то она умерла бы с голоду. Было невозможно объяснить отцу, что в изменившихся условиях действует иная система ценностей. Наши ожесточенные споры лишь усложняли и без того трудную повседневную жизнь. Они очень беспокоили меня, и я много об этом думал. Я находил, что мудрость годится лишь для сытых, а хитрость есть главная добродетель голодных. А мы уже не просто

голодали, но умирали от голода. Добывать пропитание на троих стало невероятно трудно, не воруя – уже невозможно. Пусть бы отец лишь морально поддержал меня – нет, сделать это ему не позволяли идеалы. Он не отказывался от продуктов питания, добытых обменом и воровством, но не желал оправдывать эти методы, что меня очень удручало, ведь для шестнадцатилетнего мнение отца значит столь много.

Здесь следует сказать, что у нас теперь было больше свободы передвижения. Мы уже не находились под постоянной охраной, а сами искали себе работу и могли ее оставить по собственному желанию. Но хлеб давали только за труд у русских, причем этих 400 г едва хватало на одного, и я постоянно ломал себе голову, что бы такое предпринять, чтобы прокормить всех троих. Как-то пронесся слух, что восстанавливают судовой верфь и там хорошо с питанием. Настолько хорошо, что домой можно унести супу в котелке. Я сразу же устроился туда. Рабочий день составлял двенадцать часов, включая часовой перерыв на обед, и на дорогу туда и обратно уходило еще по часу. Я выходил из дому в семь утра и возвращался в девять вечера. Но вскоре понял, что это выше моих сил, и через десять дней уволился. Да и котелка супа не хватало, чтобы накормить еще и родителей.

Нужно было искать другое решение. И тут я обнаружил, что русские обнесли забором один из относительно неплохо сохранившихся домов – надо сказать, что такие еще кое-где остались. Здесь, вероятно, намеревались разместить армейское начальство, так что выставили охрану. Разумеется, и этот дом был разграблен боевыми частями, и все же полезных вещей в нем хватало. С двух сторон к нему примыкали руины соседних зданий, и на границе с ними кончался деревянный забор. Мне пришло в голову, что все эти

здания могут быть соединены проломом в подвалах. Последние сохранились, но, поскольку все лестницы оказались засыпанными, пробраться туда удалось лишь через подвальное окно. Я не ошибся: пролом существовал. У меня появилась уникальная возможность красть из дома, предназначенного для начальства, постельное белье, кухонную утварь, посуду, столовые приборы и многое другое. Потом мама предлагала эти вещи русским на обмен. Вечером она с гордостью возвращалась домой с выменянными продуктами. Но однажды охрана обнаружила проломы и заделала их. Мне еще повезло, что меня не заманили в ловушку – в таких случаях русские стреляли без предупреждения. Настигни они меня тогда, навсегда избавились бы они от вора, который доставит им в ближайшие годы немало неприятностей. Этот эпизод был лишь безобидным началом все более успешной карьеры взломщика и вора. Но здесь я несколько забегаю вперед.

Попыток справиться с нашими проблемами и нуждами честным и, следовательно, менее опасным путем было сделано достаточно. И думал я не только о сегодняшнем и завтрашнем дне, но и о будущем. Не в том смысле, кем я стану и где смогу чему-нибудь выучиться – нет, главное, что меня тревожило, это как добывать пропитание через пару месяцев, когда будут исчерпаны все теперешние возможности. Было ясно: русские хотят, чтобы все мы умерли от голода, погибли, исчезли. Восточной Пруссии надлежало навсегда стать русской и польской. Оставшиеся в живых немцы были лишь помехой, нарушителями порядка, ведь рано или поздно они могут потребовать свои земли назад, захотят отнять их у новых хозяев. Так русские, вероятно, думали.

Проявив предусмотрительность, мы посадили в конце Штайнмец-штрассе, на довольно просторном садовом участке, картошку. К тому времени мы наменяли



ее в достаточном количестве. Я разрезал картофелины на две части и более и сажал их во вскопанную землю – так же, как, по моим детским воспоминаниям, это делали на Куршской косе. Только как наивно с моей стороны было питать надежду, будто мне удастся собрать урожай! Едва картошка достигла размеров лесного ореха, ее в одну ночь выкопали голодающие. Так пропал и посевной картофель, и труд, и надежды.

Хлебозаводу – чего стоило одно название! – требовался плотник. Русские пытались восстановить некоторые отрасли для обеспечения нужд собственного населения, и из России приезжали специалисты, чтобы воссоздать то, что было преднамеренно разрушено. Неимоверно возросла ценность профессионалов, ремесленников, и я выдал себя за плотника, зря что ли я учился обращаться с пилой и рубанком? Офицер, которому я представился плотником, не поверил и, выдав мне досок, гвоздей и ручную пилу с молотком, показал в разрушенной части завода пустой дверной проем и велел изготовить дверь. То, что я в конце концов соорудил, его устроило, и я был принят плотником на хлебозавод. В этой должности там работали еще трое. Они признали меня коллегой, и с ними я выполнял то, что поручали. Все мы нанялись на завод, чтобы быть поближе к хлебу или муке, но, как выяснилось, добраться до них было не так просто. Русские к тому времени уже неплохо нас изучили и охраняли продовольствие, словно королевские сокровища. Но что они могли сделать, если время от времени приходилось ремонтировать окна в помещениях с мукой? А в этом случае почти всегда удавалось, уловив момент, засыпать половину мусорного ведра мукою и закрыть ее штукатуркой и щепками. Далеко не сразу русские сообразили, как мы орудуем. Работать приходилось по двенадцать часов, в обед выдавали мучную похлебку и по куску хлеба.

Вот и вся оплата. Однако похлебки давали столько, что можно было взять домой литровый бидон. Свой я сперва наполовину наполнял мукой, а потом похлебкой, так что через очень бдительный контроль на проходной мне удавалось пронести как минимум полфунта муки. Но, разумеется, красть муку удавалось нечасто, а к хлебу мы и вовсе доступа не имели.

Завод был окружен кирпичной стеной и располагался в совершенно разрушенном районе города. Здесь была охраняемая проходная. Администрация занимала барак в задней части заводской территории. Велосипеды, на которых солдаты и офицеры приезжали на завод, представляли собою огромную ценность. Расплачиваться за них русские были готовы мясными консервами. Наши русские ставили свои велосипеды у задней стены барака, и однажды я, заметив, что за мною никто не наблюдает, быстро схватил один из них и перекинул через заводскую стену на кучу битого кирпича с другой стороны. Русские обвиняли друг друга в краже, я же вечером вытащил велосипед из развалин, намереваясь доехать на нем до дома, а потом обменять его на продукты.

Но далеко уехать мне не удалось. Вместо этого мне пришлось столкнуться с одним весьма неприятным явлением послевоенного времени. Вслед за наступавшими советскими частями двигалась масса беспорядочных русских и польских подростков. Они селились в непроходимых развалинах и организовывали самые настоящие банды. Русские терпели это, не зная, что с ними делать. Многие беспорядочники были одеты в залатанную солдатскую форму и носили подобранное где-то оружие. Для гражданского населения они представляли собой дополнительную опасность. Однажды они довольно серьезно поранили мою маму: какой-то подросток полоснул ей бритвой по руке, в которой она

держала предлагаемые на продажу сигареты. Порез был такой сильный, что она сразу все выронила. Это-то и было целью беспризорников, и они моментально исчезли со своей добычей. Порез заживал долго, и шрам от него остался вечным напоминанием о том времени. И вот теперь меня окружили такие подростки. Угрожая ножами и пистолетом, они отняли у меня велосипед. Мне еще повезло, что тем только дело и ограничилось.

Однажды вечером, вернувшись, я обнаружил у нашего дома часового, который никому не давал войти. Родители оставили на заборе записку с сообщением, куда отправились. Дело в том, что постепенно русские конфисковывали все более или менее сохранившиеся здания, чтобы разместить своих специалистов, которых приезжало в Кенигсберг все больше. Родители рассказали, что им дали час, чтобы очистить комнату, и разрешили взять с собой только то, что они могли унести. Они лишились как своих любимых кроватей, так и многого другого. Как и прочие, оказавшиеся в такой ситуации, они заняли подвал в руинах. Его пришлось постепенно обживать. Одна доска служила скамьей, другая – столом, а спали на обугленных каркасах железных кроватей. Одеяла и простыни удалось сохранить. Во мне крепло чувство досады и желание вернуть конфискованное имущество. Но сперва отцу пришлось по подозрению на тиф отправиться в соответствующий изолятор. Там, по крайней мере, кормили. У отца оказалась легкая форма тифа, и вскоре он смог вернуться домой. Но условия жизни в нашем подвале были крайне неблагоприятны, и оставаться здесь сколько-нибудь долго было просто невыносимо.

Русские женщины-врачи все больше заботились о локализации эпидемий. Необходимость самим уберечься от заражения и потребность в здоровой рабочей силе и немецких «специалистах» вынуждали к приня-

тию тех или иных мер, которые заслуживали названия гуманных. Была даже оказана поддержка второй больнице, которая раньше называлась «Милосердие» и с которой мне еще предстояло свести близкое знакомство. В оправдание русских можно было бы сказать, что проявлять заботу даже о своих людях администрация была не в состоянии, и тем более ей было не до немцев. Но лично у меня сложилось впечатление, что целенаправленно перекрывались все жизненные источники и что попыткам гражданского населения самостоятельно прокормиться сознательно препятствовали – будто стремясь ускорить его гибель.

Одуванчики и крапива были единственными известными нам съедобными дикими растениями. Если бы мне доверили определять содержание школьных программ, то дети обязательно учили бы, какие грибы и растения годятся в пищу, и узнавали, например, что горсть свежеразмолотого и размоченного жита питательнее любых консервов. Они бы учились находить воду, ставить западни, ориентироваться на местности; они бы узнали, что улитки и черви съедобны. Простые и краткие курсы, посвященные основам питания, выживания, оказания первой помощи, экстренной медицины, т. е. лечения без врачей и лекарств. Может быть, когда-нибудь в жизни эти знания спасут им жизнь, и одно только это оправдало бы введение подобных курсов в стандартный учебный план. Все, чему меня прежде учили, от чистописания до древнееврейского, оказалось бесполезным, а вот времени, проведенному в столярной мастерской, я многим обязан.

В Кенигсберг приезжало все больше русских, и на наших глазах Восточная Пруссия становилась русской. Ничего другого я, собственно, и не ожидал, и все же ежедневные изменения ошеломляли. Незнакомая одежда и униформа, своеобразные деревянные заборы,

транспаранты со Сталиным, Лениным, Марксом, Калининым и еще чьими-то головами, на всех значительных перекрестках большие репродукторы, из которых нередко доносилась великолепная музыка или замечательное пение русских армейских хоров, – все это столь сильно определяло визуальный и акустический облик города, что можно было подумать, будто находишься в Советском Союзе.

Русских принято считать чувствительными и добрыми, но нам все еще редко приходилось встречаться с проявлениями именно этих черт их характера. К детям (а я ведь тоже был почти ребенком) они временами относились хорошо, но в основном их реакции определялись ненавистью, и не дай Бог, если алкоголь высвобождал их агрессивность. Следовало бы, однако, почаще вспоминать о том, что их объявили недочеловеками, что на них вероломно напали и что их страну разорили. Каждый русский нес в своем сердце боль за миллионы павших в бою, умерших от голоду, за убитых родственников или знакомых. А потому разве нельзя понять измученных, напрягших последние силы людей, когда в опьянении от долгожданной победы они перестают сдерживать себя? Я говорю: только понять, а не простить, поскольку сама людская природа есть предпосылка человеческой трагедии.

Еврей, я при нацистах был обречен на пассивность, а при русских – в той же мере – на активность. Две противоположные линии поведения в ежедневной борьбе за жизнь. Горе тому, кто прекращал бороться за каждый новый день. Очень скоро он попадал в число тех 80 процентов, что, уцелев во время войны, погибли при русских.

Вскоре в Кенигсберге, как повсюду в России, появился так называемый черный рынок. Сперва тайком, ютятся то тут, то там, затем – официально и в установ-

ленных местах. Черный рынок есть жизненный нерв всякого вынужденного сообщества и зародыш всякой экономики. Здесь торгуют и меняются, получают информацию и извлекают выгоду. Товар за товар, товар за деньги, деньги за товар. Эта основа основ любой формы экономических отношений очень скоро стала для многих единственным шансом выжить. И именно здесь русские патрули подвергали немцев арестам и притеснениям. Русские называли рыночных торговцев спекулянтами и отнимали у них выменянные продукты, поэтому требовалась величайшая ловкость, чтобы прибыльно вести дела прямо за спиной у милиции. Это, однако, совсем неплохо удавалось кенигсбержцам, которые становились все более предприимчивыми, так что с появлением черного рынка первые проблески надежды озарили темный горизонт будущего.

Наведя справки об оставшихся в живых евреях, я выяснил, что большинство из них погибло в последние часы штурма в результате мощного взрыва, оставившего на Штайндамме, на месте фабрики «Гамм и сын», одну гигантскую воронку – самую большую, которую я когда-либо видел. По-видимому, на нижнем этаже фабрики взорвались артиллерийские снаряды и погибли все: остававшиеся евреи, французские военнопленные, русские девушки и немецкий персонал. То обстоятельство, что днем раньше русские взяли Хуфен, спасло нам с мамой жизнь.

Мне рассказали, что господин Вайнберг был расстрелян русскими. Концертмейстер Хеверс погиб в последние часы штурма. Зато я встретил парня из еврейской школы, немного старше меня – Олафа Бенхайма, который со своим отцом пережил и британскую бомбардировку, и штурм города русскими. С Олафом мы потом несколько раз забирались в квартиры, где жили русские, и воровали у них продукты. Его ожидала тра-

гическая кончина. Год спустя к заботам о пропитании прибавились заботы о топливе. Выдалась на редкость суровая зима – я еще расскажу об этом подробнее, и однажды ко мне пришел в состоянии крайнего отчаяния его отец и рассказал, что они с Олафом сегодня занимались поиском дров и наткнулись на домик, в котором сохранилась потолочная балка. Олаф собирался выбить ее топором, но дом обрушился на него. Испуганный отец пытался разгрести обломки, из-под которых доносилось: «Папа, помоги! Папа, помоги!», но не хватало сил, чтобы сдвинуть тяжелый кусок стены, и он бросился за подмогой, которую в такие моменты редко удается найти сразу. Когда Олафа наконец откопали, он был мертв. На ручной тележке отец отвез тело сына домой, совершил обряд по еврейскому обычаю, а потом мы вдвоем его очень скромно похоронили. Я еще долго вспоминал горе отчаявшегося отца и всю эту историю. Позже я встретил Бенхайма-старшего в Лондоне: он производил впечатление человека совершенно потерянного. Именно после смерти Олафа и еще раз, спустя многие годы, после мучительной кончины мамы от рака костей, я особенно сильно восставал против Бога, и здесь я хочу повторить то, что сказал в конце первой главы: среди допускаемых им несправедливостей самой большой я считаю неравную по тяжести смерть.

В живых остались еще два еврея: дантист Леви и некий господин Принц. Обоих я потерял из виду. Принц был схвачен милицией во время попытки добыть продукты и приговорен к длительному сроку принудительных работ. Подобные приговоры были равносильны смертным, ибо после всего перенесенного вряд ли кто-то был способен выдержать и год русской каторги. Его постигла судьба, которая могла постичь каждого, кто был бы застигнут при совершении какого-нибудь противоправного деяния, причем минимальный срок тогда

составлял семь лет, и его давали уже за кражу сигарет. Но почти все умерли бы с голоду, если бы не нарушали закон. И в этой изматывающей обстановке мы жили годами.

Оглядываясь назад, понимаю, что все эти люди были последними членами кенигсбергской еврейской общины, по крайней мере последними из тех, кто не выехал до 1941 года. С появления двух евреев – они были врачи – началась в 1540 году жизнь этой общины, и эвакуацией в апреле 1948 года двух евреев ее 408-летняя ее история завершилась, по-видимому, навсегда. О ее истории «Encyclopaedia Judaica» сообщает:

В сколько-нибудь значительном количестве евреи начинают селиться здесь лишь со второй половины XVII века, когда еврейские купцы из Литвы и Польши стали посещать кенигсбергские ярмарки. С 1680 года им на время проведения ярмарок разрешалось открывать свою молельню. В 1716 году в городе жило уже тридцать восемь еврейских семей, и в 1756 году, когда число евреев выросло до трехсот человек, построили первую синагогу. Затем поток эмигрантов из России увеличивал количество кенигсбергских евреев: в 1817 году их было 1027 человек, в 1880 – 5082 (3,6 процента населения), в 1925 – 4049 человек. С этого времени число их постоянно сокращалось, и в 1933 году в Кенигсберге насчитывалось 3200 евреев, что составляло один процент населения города.

Подобно Берлину, Кенигсберг был центром Просвещения, и образованные еврейские семьи получали доступ в «общество» христиан. Уже в 1712 году евреи начинают получать университетское образование, преимущественно медицинское, и одним из таких был Маркус Герц. Были евреи и среди учеников Канта, и в 1783 году, под влиянием Моисея Мендельсона, Исаак Абрахам вместе с Эйхелем и Менделем Бреслау организовали Общество поддержки еврейского языка. Они выпускали еврейский журнал «Ha-Meassef». Преподавание религии в



школе первым начал Исаак Ашер Франкольм, сторонник реформ. Однако он столкнулся с неприятностями: ортодоксальное большинство воспротивилось введению церемонии конфирмации для мальчиков и девочек и запретило открытие училища. После этого Франкольм уехал в Бреслау, а его дело постарался продолжить Иосиф Левин Заальшютц. Он даже преподавал в 1847 году древнееврейский в Кенигсбергском университете, но, как еврей, не мог получить звания профессора. Столь же деятельным был в это время и радикальный политик Иоганн Якоби, отстаивавший в меморандуме 1847 года еврейскую эмансипацию. С 1830 по 1865 год раввином был Якоб Мекленбург. После него эту должность с 1865 по 1896 год занимал Исаак Бамбергер.

Важным для кенигсбергской общины явился период с 1897 по 1920 год. Духовное руководство взял на себя Герман Фогельштайн, один из виднейших представителей немецкого либерального еврейства. [Не менее значительны были заслуги кантора Эдуарда Бирнбаума (1855–1920). Его исследования еврейской музыки периода итальянского Ренессанса положены в основу кенигсбергской синагогальной музыки.] Его современник Феликс Перлес удостоился в 1924 году звания почетного профессора. Он преподавал арамейскую и современную еврейскую литературу. В XX веке обратили на себя внимание такие выдающиеся врачи, как Людвиг Лихтхайм, Юлиус Шрайбер, Макс Яффе и Альфред Эллингер. В 1925 году в Кенигсберге имелось пять синагог и несколько социальных учреждений. Среди изгнанных нацистами в 1933 году профессоров были Фрида Райхман и Вилли Вольфляйн.

Можно вообразить, какая богатая событиями жизнь скрывается за скупыми строчками этого некролога по религиозной общине. Но невозможно представить себе глубину разочарования тех, кто со времени эмансипации надеялся и верил, что, благодаря заслугам и патриотизму (велико было число и значителен про-

цент евреев, участвовавших в первой мировой войне), удастся добиться признания или хотя бы терпимости со стороны христианского окружения.

Теперь иногда подвальные перекрытия не выдерживали тяжести битого кирпича и обломков зданий и неожиданно обрушивались. Так, одиннадцатилетний мальчик, вернувшись домой, обнаружил, что его мать и четверо сестер и братьев похоронены под обломками рухнувшего подвала. Это история тронула даже нас, привыкших к страданиям и оупевших от них. Никто уже не чувствовал себя в безопасности, находясь в жилищах, доступных для большинства. А русские лишь в отдельных случаях разрешали своей немецкой прислуге жить в их домах. Двумя годами позже нам удалось попасть в число этих счастливых. В одной из следующих глав я расскажу о нашей жизни в русском доме на Бетховен-штрассе.

Пожалуй, знаменательной для нашей безнадежной ситуации была история госпожи Б., перебивавшейся пением и игрой на фортепьяно. Она подверглась насилию, как и другие женщины, забеременела и родила, но никакой помощи ни от кого не получила, и ребенок от недоедания умер.

Упорно держался слух, что в Пиллау стоят корабли, предназначенные для переправки немецкого гражданского населения в «рейх». Были ли это только мечты, отголоски заключительной фазы войны, никто не знал, и однажды я отправился туда, чтобы проверить слухи. Далеко мне уйти не удалось, слишком уж сильны были муки голода, и в какой-то деревне меня, совершенно изможденного, приютила женщина с шестилетним ребенком. Я получал тарелку горохового супа, присматривая за ребенком, пока она днем работала на солдатской кухне у русских. Вечером она баррикадировала входные двери и окна мебелью и досками. Из

вечера в вечер повторялось одно и то же: громкий стук, крики и ругань. Кажется, она впускала только определенных русских и с их помощью успешно держала на расстоянии остальных. Днем мы ходили с ее мальчиком побираться, останавливаясь у заборов и дверей, за которыми жили русские. Остатки своей трапезы они выливали в подставленные детские миски, но случилось увидеть и другое: оставшийся суп демонстративно выплескивался на землю под ноги голодающих детей – картина, приводившая в содрогание.

Долго здесь оставаться я, конечно, не мог. Ничего обнадеживающего о транспортных судах узнать не удалось. Наоборот, моя «приемная мать» рассказала, что Пиллау полностью разрушен и, как ей говорили русские, там нет ни одного готового к отправке судна. Моя разведка сразу же представилась мне нелепостью и дезертирством. Обходятся ли родители своими силами, было неизвестно, и я решил вернуться в Кенигсберг.

Но перед этим мне пришло в голову украсть одну из нескольких кур, которых русские держали за проволочным ограждением. Улучив минуту, когда меня никто не видел, я открыл клетку, и оставалось лишь протянуть руку, схватить курицу и тут же прикончить, свернув ей шею, например. Но я почему-то не сделал этого. Некоторое время я еще пытался преодолеть свою нерешительность, потом закрыл клетку и поплелся прочь, охваченный чувством стыда и даже ужаса от собственной несостоятельности. До сих пор не могу понять и объяснить свое поведение. Кто знает, впрочем, не была ли моя нерешительность спасением – ведь иначе куры могли бы поднять страшный шум и выдать меня!

## Кража со взломом

### Эпизод первый

Русским, командированным в Восточную Пруссию для работ по ее восстановлению, разрешили вызывать к себе семьи, так что число русских домов и квартир увеличивалось, в частности за счет жилья, которое было занято кенигсбержцами, оставшимися без крова. Теперь их отсюда изгоняли. Чувствовать относительную уверенность, что тебя не выкинут на улицу, можно было только селясь в подвалах и в таких развалинах, которые считались непригодными для русских. Моим родителям и мне пришлось в общей сложности шесть раз сменить жилье, и понятно, что всякий раз это было очень непросто.

Как и прежде, кенигсбержцы, не нашедшие работы у русских, не имели никакого продовольственного обеспечения. Единственными возможностями добыть пропитание были работа у русских, воровство и черный рынок. Что касается работы, то за двенадцатичасовой рабочий день давали лишь 400 г хлеба и исключительно редко порцию супа. Обшаривание развалин, мусорных куч и руин фабричных корпусов уже давно ничего не приносило, почему я и пытался использовать все три канала, чтобы прокормить нашу семью. На работу я старался устроиться там, где имелись наилучшие перспективы оплаты, т. е. получения большего количества продуктов питания, а чтобы обеспечивать родителей и себя всем необходимым, совершал кражи. Если вместо продуктов мне удавалось украсть, например, сигареты,

то мама меняла их на рынке на хлеб. Все это требовало ловкости и выдержки. Воровские рейды, разумеется, были неизменно сопряжены с риском для жизни. Русские солдаты и офицеры и сами-то мало чем обладали, а потому они особенно не церемонились с теми, кто пробовал это немного стащить. Не раз мне едва удалось избежать большой опасности, а в трех случаях, когда меня ловили, спасало невероятное везение. Зато с тех пор я знаю жизнь взломщиков и сочувствую им.

Началось все с проникновений в подвал охраняемого дома и постепенно продолжилось взломами русских квартир, даже когда в них находились хозяева. Единственной причиной, заставлявшей идти на столь высокий риск, был мучительный голод – мой и родителей. Каждый раз мне надо было преодолевать себя, и каждый раз кража была последним, что оставалось.

Оглядываясь назад, могу констатировать, что проявлял недюжинную смекалку и талант на нелегком поприще квартирного взлома. Смертельная опасность, которой я подвергался всякий раз, требовала тщательной предварительной подготовки: следовало продумать варианты исчезновения, заметания следов и поведения в случае поимки. Все начиналось уже с того, что я надевал свою синюю спецовку. В глазах русских это была униформа столь ценимых теперь «специалистов», и она должна была помочь мне изобразить выполнение какого-нибудь рабочего задания в том случае, если не повезет с самого начала. На плечо я вешал сумку с инструментами, в которую потом прятал добычу. Отмычки, которыми я вскоре научился виртуозно орудовать, прятались в карман для дюймовой линейки на штанине, и их невозможно было обнаружить при самом тщательном досмотре. Затем я заранее выяснял, какие имеются пути для отступления. Всего лучше были дома с сообщающимися чердаками: я отмыкал чердачные

двери и обеспечивал себе возможность бегства. Только после этого я проникал в бесшумных спортивных туфлях в офицерские квартиры, внимательно следя за каждым шорохом. Попадалось немногое. Кусок хлеба, фунт муки, пшенная или перловая крупа, немецкие часы и т. п. Но и это означало питание на один или несколько дней.

Следует сказать, что описанные выше условия жизни не улучшались, но оставались почти неизменными на протяжении почти двух лет. Собственно говоря, все это ни представить себе нельзя, ни толком изобразить. Наше положение было отчаянным, особенно в зимние месяцы. Все это время я был вынужден красть, нередко ежедневно, и каждый раз трудности были разными – лишь степень риска оставалась одинаково высокой.

Однажды решаю отправиться в предместья. Поселившиеся там русские беспечней, чем те, что в городе. На краю обширных развалин вижу несколько домов. Тут живут русские семьи. Прикинувшись «специалистом», совершаю обход и выясняю, что жильцы дома. В подобных случаях я обычно отправляюсь искать новые объекты. Но сегодня замечаю вывешенное для просушки белоснежное постельное белье, главным образом наволочки. Обменная их стоимость высока, так что хочется сунуть в сумку несколько штук. Из-за кажущейся легкости предприятия теряю всякую осторожность, и мои действия оказываются немедленно замечены. Пронзительный женский голос возвещает о них и призывает на помощь всех находящихся поблизости русских. Понимаю, что дело принимает самый серьезный оборот и остается одно – немедленно уносить ноги. Изо всех сил мчусь через поле к ближайшим развалинам, но не успеваю удалиться от места преступления и на сотню метров, как раздаются первые выстрелы. Оглянувшись, вижу, что меня преследуют два

полуодетых русских, размахивая то ли винтовкой, то ли автоматом. Ясно, что эта погоня может закончиться смертью, так что, петляя и стараясь, чтобы между мною и преследователями оставались каменные груды, вытаскиваю на бегу из сумки свою добычу и подбрасываю ее высоко в воздух. Так высоко, чтобы это увидели. Я надеюсь, что они немного успокоятся, когда найдут эти наволочки, и прекратят преследование. Бег под выстрелами стоит мне таких нервов и сил, что, пробежав до ближайших развалин, я опускаюсь на землю позади какой-то стены, ловя ртом воздух. Знаю, что мне конец, если они продолжат погоню, но в очередной раз покоряюсь судьбе и остаюсь сидеть в своем небезопасном укрытии. Выжидаю, надеюсь – и выигрываю. Преследователи переоценивают мою спортивную форму. Хвати у меня сил бежать дальше, я бы смог укрыться от них в лабиринтах, и русские, видимо, приняли во внимание эту возможность, а потому и прекратили преследование. Несомненно, всего в нескольких шагах от моего убежища. Чувствую себя очень скверно, злюсь на свое легкомыслие и ругаю себя. Предпринять что-нибудь еще нету ни решимости, ни сил, и я возвращаюсь домой без всякой добычи. Разочарованы и голодные родители, ведь обычно я не возвращаюсь с пустыми руками. К счастью, маме удалось выменять немного еды за простенький бинокль, украденный мною прежде.

Разумеется, я никогда не рассказываю им о своих приключениях, они ведь люди пожилые, и отец не одобрит моего поведения, а мама будет сильно переживать. Разобраться в пережитом предстоит самому, но важно другое – чтобы поскорее вернулась готовность к риску.

## Ловля копченой рыбы

Между тем пришла зима, а с нею новые заботы. Нужно было устанавливать печку, добывать топливо. Я снова принялся искать работу с доступом к продовольствию. С хлебозавода нас уволили, после того как все оконные и дверные проемы были на время заколочены досками, как это тогда делалось. До меня дошел слух, что русские хотят оборудовать рыбокопильный цех и ищут плотников. «Рыбокопильный» звучало чрезвычайно заманчиво, я уже мысленно лакомился копченой рыбой и готов был довольствоваться головой и хвостом. Я обратился туда и был принят на работу. Начались привычные занятия: здесь окно отремонтировать, а там кладовку, перила, стремянку, стол, скамью и все что придется. Уже в первые дни нас вызвали на своего рода производственное собрание. Как обычно, грозили суровыми наказаниями в случае, если... Хотя мы вообще не имели дела с рыбой – ни с копченой, ни с сырой. Как обычно, ежедневные 400 г хлеба были одновременно платой и пищевым довольствием. Тем не менее никто из нас не оставлял надежды на счастливый случай. Пока же мы были вне себя от радости, если удавалось подобрать выброшенные после еды рыбы хвосты или головы. Но тайная мечта явью не становилась.

Рыбу мы видели только сквозь запертую решетку. За ней стояли взвешенные деревянные ящики, доверху наполненные великолепной свежескопченной рыбой, – вроде, и на виду, но от решетки все же далеко. Висячий замок – внушительных размеров: не снимешь, не



взломав. Нужно было что-то предпринять. Вот только что? И однажды мне в голову пришла идея. Помещение, в котором хранили рыбу, было проходным с тремя дверьми. Мой план заключался в следующем: перед решеткою как будто случайно рассыпаются опилки и прочий мусор, чтобы начальство, требовательное к чистоте, немедленно поручило нам навести идеальный порядок. Так и произошло. В черенок метлы я заранее вбил под острым углом гвоздь, и она незаметно превращалась в удочку, которую можно было достаточно далеко просунуть сквозь решетку. Выставив наблюдателей, условившись о сигналах предупреждения и улучив момент, я выудил из ящиков двух копченых рыб. Нужно было быть чертовски осторожным, чтобы они не сорвались с крючка до того, как окажутся по эту сторону решетки.

Этот фокус удавалось проделать несколько раз; у русских же возникли неприятности с недовесом ящиков, что мы имели возможность наблюдать. Но затем случилось то, что рано или поздно должно было случиться: когда я выуживал очередную рыбину, прозвучал сигнал опасности. Пришлось поторопиться, что плохо отразилось на процессе ловли: проклятая рыбина сорвалась и осталась лежать на полу между ящиком и решеткой. Страшно спеша, я еще успел поставить метлу в угол, чтобы ее не увидели у меня в руках. Когда офицер, наш начальник, вошел, мы старательно чистили плитку и стены. К сожалению, он тотчас обнаружил валявшуюся на полу рыбину и долго рассматривал ее, наморщив лоб. Затем смерил взглядом каждого из нас, но не произнес ни слова. После краткого раздумья направился к стоявшей в углу метле, обнаружил вбитый в черенок гвоздь и обнюхал его. После чего исчез, по-прежнему молча. Мы приготовились к самому ужасному и уже видели себя в сибирских лагерях.

В обед всех собрали. Рабочих-немцев построили в ряд. Появился начальник с переводчиком. Приняв серьезный, непроницаемый вид, он произнес: «Товарищи! Я еще никогда не видел, чтобы рыбу выуживали метлой да еще из запертого помещения. Самое же удивительное, что ее, оказывается, можно ловить глубокой зимой и уже копченую. Но поскольку эти невероятные вещи произошли сегодня на моем предприятии, я поставлен перед необходимостью бессрочно уволить некоторых из моих работников или подвергнуть их наказанию». Мы почувствовали такое несказанное облегчение, что начали смеяться и готовы были заключить шутника в объятия. Ведь ему, собственно говоря, полагалось вызвать милицию, после чего был бы запущен весь обвинительно-карательный механизм. Но, зная о суровости советского военного судопроизводства, он ничего не предпринял для нашего изобличения. Его остроумную речь следовало понимать так: будем считать случившееся маленьким чудом, а не воровством, заслуживающим сурового наказания. К сожалению, нас, как и было объявлено, перевели на стройку, и на этом работа в рыбокопильном цеху завершилась.

## Предчувствия

Мама все лучше осваивала возможности, предоставляемые черным рынком. Так, купив или выменяв пачку папирос, она продавала их поштучно с небольшой выгодой. То же самое она проделывала и с хлебом: покупала буханку за 100 рублей и продавала нарезанные куски. Занятие утомительное, но дающее в конечном итоге определенный доход. Вот только тревожений много – с одной стороны, от милиции, которая задерживала торгующих немцев как спекулянтов, а с другой стороны, от русских грубиянов, которые порою попросту отнимали весь товар. Бывало, и голодные немцы вырывали хлеб из рук.

Я устроился подмастерьем каменщика за 600 г хлеба в день. Отец нашел себе наконец легкую службу в качестве сторожа и тоже получал хлеб. Мама понемногу зарабатывала на черном рынке. Прочее я добывал в русских квартирах, если в том возникала настоятельная необходимость. Несколько дней все шло хорошо. Я таскал кирпичи, мешал раствор и делал все остальное, что положено подмастерью каменщика. А потом произошло нечто странное. Однажды, это было в первой половине дня, я вдруг почувствовал столь непреодолимое желание вернуться, что сразу бросил работу и побежал домой. Поведение совершенно необычное и, как правило, ведущее к увольнению, так что, размышляя по дороге о своем поступке, я только недоумевал. Сворачиваю на нашу улицу и вижу маму, которая, странно пошатываясь, тоже направляется домой. Она

бледна, как полотно, на голове ужасная рана. Рассказывает, что ее оглушили и ограбили. Не помнит, сколько пролежала без сознания в развалинах, куда ее под предлогом выгодной сделки заманил какой-то русский. Там он ударил ее кирпичом по голове. Когда очнулась, несколько раз вырвало, после чего поплелась домой. На меня смотрела так, словно я был призраком, до того не ожидала меня встретить. Я помог ей дойти и уложил в постель.

Какое-то странное ощущение было от того, что мы встретились. Было в этом что-то особенное, чувствовали мы оба. К счастью, мама быстро поправилась, и все же этот случай не перестает занимать меня до сих пор. Несомненно, здесь имела место передача мыслей на расстоянии. Действующая на расстоянии связь двух людей. Но если возможно такое, то что же возможно еще? Связь сквозь пространство и время? Составляем ли мы некое единство с людьми, влияющими на наши мысли и действия? В довершение ко всему я пережил несколько ситуаций, когда, будучи охвачен предчувствием, смог предвидеть непосредственную опасность или событие, которому только предстояло произойти. Правда, это бывало только в экстремальных ситуациях и никогда преднамеренно.

Спустя некоторое время после описанного события случилось следующее. Очень тихо открыв отмычкой дверь русской квартиры, я долго и напряженно прислушиваюсь. Замок поддался легко, тогда еще не было автоматических замков с секретом. Предварительно я постучал в дверь, и, хотя никто не отозвался, отчетливо ощущаю присутствие опасности. Конечно, подобное – и необоснованное – чувство тревоги возникало и раньше, а потом я досадовал на себя за то, что испытывал страх понапрасну. И сейчас я говорю себе: «Не трусь и действуй». Как можно тише иду на кухню

и вижу на полу большую сетку картошки – предмет наших пламенных мечтаний. Быстро схватить ее и исчезнуть. Но не могу. Что-то силой удерживает меня от этого. Буквально парализованный недобрым предчувствием, стою и стою перед картошкой, не в силах прикоснуться к ней. Ошеломленный, удивляюсь своей беспомощности, и вдруг где-то громко, резко и зло распахивается дверь, и через мгновение вижу, как в кухню несется русский, занеся топор. Злобное выражение его лица говорит о решимости нанести удар. Наши глаза встречаются, и взглядом и жестом мне удается его остановить. Ясно ощущаю, что смог оказать на него влияние, а значит, могу в момент крайней опасности вызвать в себе нечто вроде гипнотической силы. Русский замирает с занесенным над головой топором и замороженно смотрит на меня. Позади появляется его испуганная жена. Тотчас же обращаюсь к русскому и рассказываю, что я «специалист» и мне поручено проверить электропроводку. Что ничего не взял, он сам может в этом удостовериться. Не сразу, но удается его убедить и успокоить. Сила моего влияния, дар убеждения вместе с его добродушием и доверчивостью помогают мне выйти из этой ситуации невредимым.

Какие силы действовали в этот момент? Счастье, случайность, высшая власть? Тайная сила, которая дает нам способность к интуиции и позволяет предвидеть, – что это? Какая-то особая чувствительность? А не связана ли она с Богом? Особенно если понимать Бога как силу, имманентно присущую всему, как нечто, обуславливающее все формы проявления, и духовные, и физические, и тем самым связывающее все со всем.

Как обычно, уже на следующий день суровая действительность спустила меня на землю, к борьбе за существование. Мама принесла с рынка выменянные грибы и приготовила их, насколько позволяли наши

условия. Через полчаса после еды у нас начались страшные боли в животе и резко ухудшилось самочувствие. Мы, разумеется, слышали, что грибами можно смертельно отравиться, но не знали, что действительно опасное отравление – бледными поганками – проявляется лишь спустя много часов после еды. Так что, хотя организм отреагировал крайне болезненно и ослаб от этого еще больше, испугались мы напрасно: умереть от грибов нам не было суждено.

## Больница «Милосердие»

Профессор Вильгельм Штарлингер, организовавший по распоряжению оккупационных властей работу первой Немецкой инфекционной больницы, пишет в кратком отчете о ситуации того времени (цитирую по его книге «Границы Советской власти»):

1) Основную тяжесть телесных и душевных страданий несли женщины и дети, поскольку почти все мужчины, если им удалось пережить заключительные бои, были вскоре после взятия города отправлены в лагерь. Женщины были абсолютно беззащитны, семьи – полностью разрушены, наладить питание маленьких детей, необходимое для сохранения их жизни, было невозможно.

2) Первые хлебные пайки, нерегулярные, недостаточные и предназначенные только для трудоспособного взрослого населения, начали выдавать с мая, и 400 г очень водянистого хлеба оставались до лета 1946 года единственным продуктом питания, выдававшимся нерегулярно и лишь малой части населения. Большинство питалось зернами ржи, засеянной зимой 1944/45 года, не убранный и все сильнее прораставшей летом 1945 года. Ее собирали наиболее активные и предприимчивые. Очень часто в пищу употреблялось мясо давно зарытых и вновь выкопанных животных. Зимой 1945/46 года были зарегистрированы случаи настоящего каннибализма. Только с лета 1946 года появились незначительные продуктовые прибавки к хлебному пайку, а позже и денежные выплаты постоянным и нужным работникам.

3) Жилая площадь была крайне ограничена, что вело к чрезвычайной скученности на всем возможном пространстве; домашний

скарб, белье, одежда и особенно обувь были в основном полностью утрачены; дров в суровые зимы едва хватало на приготовление пищи, и в некоторые ночи самой суровой зимы – 1946/47 года – от холода и истощения вымирали целые семьи. 4) В пик эпидемии тифа, осенью 1945 года, Кенигсберг потреблял только воду из собственных, за малым исключением загрязненных, колодцев или, если этого не хватало, воду из воронок; поскольку дорога к Прегелю была неблизкой и небезопасной, мылись водой из воронок; поменять и постирать белье удавалось крайне редко. Система канализации была разрушена, отхожих мест имелось недостаточно, уход за ними не велся, добираться до них было долго и небезопасно, отчего загрязненность дворов и подвалов была очень значительной. Электричество появилось в отдельных районах лишь в 1946 году и было доступно немногим. 5) Летом 1945 года мухи размножились в таком количестве, что густыми роями облепляли все сосуды, каждый кусок хлеба, всех больных, а также все свежие экскременты. Завшивление началось в мае и до зимы 1945/46 года было сплошным и полным; крысы плодились столь стремительно, что начали нападать на спящих людей. 6) Население не имело и не получало никаких дезинфицирующих средств, даже мыло встречалось крайне редко. Уборка города ограничивалась расчисткой от завалов проезжих улиц. Закладка и эксплуатация отхожих мест продвигались медленно. Даже уборка трупов завершилась только по прошествии нескольких недель. 7) С созданием неплотной сети немецких амбулаторий, по существу оформившейся и хорошо функционировавшей уже в начале мая 1945 года, возникла возможность регистрирования инфекционных больных, а позже и людей с подозрением на инфекционное заболевание. Уже с началом первой волны тифа регистрирование велось эффективно; запаздывало лишь раннее выявление заболевания. Выявленные и зарегистрированные больные направлялись в новообразованные Немецкие инфекционные больницы. Транспортировка, особенно в первый год, была чрезвычайно затруднена; тяжелобольных везли



долго, утомительно, часто с непосредственной угрозой для жизни и всегда на гужевом транспорте [ручных тележках!].

О своей области – борьбе с инфекционными болезнями – профессор В. Штарлингер пишет:

5) Завшивление, по крайней мере зимой 1945/46 года, было всеобщим и сплошным. 6) Профилактику эпидемии приходилось ограничивать изоляцией и помещением в стационар выявленных инфекционных больных. Выявление ранних стадий заболеваний шло постепенно. 7) Размещение больных и уход за ними в импровизированных, неудовлетворительно обеспеченных и беспрерывно наполнявшихся Немецких инфекционных больницах осуществлялись в тяжелейших и совершенно неудовлетворительных условиях; возможности активной медицинской помощи были крайне ограничены. Из этого следует, что эпидемии в Кенигсберге поражали изолированное и однородное немецкое население, которое 1) не могло приобрести иммунобиологической защиты, ни переболев соответствующим заболеванием ни раньше, ни через вакцинацию; 2) не было защищено от вызванного окружающими условиями бурного распространения инфекции никакими активными мерами санитарно-гигиенического характера (исключая часто запоздалую изоляцию и диспансеризацию зарегистрированных явных больных), тогда как для лавинообразного распространения инфекций условия были максимально благоприятными из-за повсеместной дезорганизации нормального течения и поддержания жизни, и 3) испытывало такие душевные и телесные страдания, что следствием могла быть только индивидуальная и массовая предрасположенность к любым болезням, тогда как врачебная помощь и уход за больными не удовлетворяли основным требованиям медицинской науки. Таким образом, можно с полным правом сказать, что эпидемии в Кенигсберге протекали в самых примитивных условиях.

В то время у автора доклада нередко создавалось впечатление, будто providение и природа желают проверить, сколько способен вынести человек и как он поведет себя в условиях свободного распространения инфекций.

Состояние нашего здоровья было плачевным. Отец очень ослаб и страшно похудел. Складывалось впечатление, что женщины в целом лучше приспособлены к потреблению совершенно неудовлетворительной пищи, в которой, прежде всего, недоставало протеинов. Смертность мужчин была заметно выше. В нашей семье мама тоже оказалась самой стойкой, и, наблюдая ее в то время, нельзя было не восхищаться ее неутомимостью и энергией, готовностью прийти на помощь и мужеством в ежедневной борьбе за жизнь. Возможно, она бы не выжила без моей поддержки, но я бы без ее поддержки не выжил точно. Самое тяжелое испытание выпало на ее долю в декабре 1945 года. Однажды утром я был не в состоянии пошевелиться, бредил и имел все признаки высокой температуры. Позже оказалось, что 41° С. Именно так это и происходило: человек отчаянно боролся с голодной смертью, и тут его настигала какая-нибудь болезнь, и человек умирал. Это ожидало бы и меня, не сражайся мама за мою жизнь – молча и жестоко. Заметив, что я болен не на шутку и что мое состояние с каждым днем ухудшается (я едва мог дышать), она устремилась на поиски и вернулась с русской докторшей. Та осмотрела меня, велела несколько раз произнести «trizet trie» и распорядилась немедленно отправить меня во вновь открывшуюся больницу «Милосердие», о существовании которой мы еще не знали. По приказу этой решительной докторши, имевшей высокое офицерское звание, русская санитарная служба доставила меня в больницу, где работали немецкие врачи.

В приемном покое медсестра и дежурный врач заспорили, следует ли меня сперва, согласно инструкции, направить на дезинсекцию или сразу поместить в отделение. Я слышал, как врач сказал: «Нельзя его отправлять на дезинсекцию, не то он у нас там и помрет». Затем, посмотрев, нет ли у меня в волосах вшей, он распорядился немедленно отправить меня в одно из отделений больницы. Обращались со мной чрезвычайно осторожно, отвезли в палату на восемь коек. Настоящих кроватей с белым постельным бельем. Четыре – у правой стены, четыре – у левой, поперек палаты. Проход между рядами был ненамного шире расстояния между кроватями. Здесь я почувствовал себя в безопасности, впервые испытал заботу официального учреждения о моем физическом благополучии. Правда, вскоре выяснилось, насколько ограничены были возможности учреждения. Как бы то ни было, сейчас я лежал в чистой постели, и наконец-то не нужно было ничего предпринимать и планировать. Даже заботы о родителях отступили на второй план, когда мама, после первой, очень тяжелой, недели рассказала, каким образом ей с отцом удастся раздобыть денег на покупку продуктов. Как-то раз мне посчастливилось украсть изрядное количество «мукефука» (так называли эрзац-кофе «Мосса Фаух»), и теперь отец варил его, а мама с горячим кофейником и парой чашек отправлялась на черный рынок и продавала этот напиток мерзнувшим русским по рублю за чашку. Выручки родителям хватало на жизнь, а мне это приносило душевное спокойствие, столь необходимое для медленного, очень медленного выздоровления.

Доктор Франк, сделав рентген, установил, что у меня, помимо плеврита и истощения, двустороннее воспаление легких. Курировали отделение два врача – профессор Беттнер и доктор Шаум. И хотя в моем

случае им оставалось только терпеливо ждать – ведь лекарств-то все равно не было никаких, их забота и личное внимание, несомненно, имели решающие значение для постепенного преодоления тяжелой болезни. Пользуюсь случаем сердечно поблагодарить их обоих. Доктор Шаум, наверное, и не подозревал, сколь важно для меня было время от времени беседовать с ним. Ощущение собственной значимости и возможность расслабиться приносили мне внутреннее удовлетворение, какого я уже давно не испытывал.

Я лежал в постели и был совершенно спокоен, счастлив и полон надежд. Раз в день нам давали поесть – как правило, мучную похлебку, иногда бобовый или гороховый суп, казавшийся изысканным деликатесом. Порой и во второй половине дня кое-что перепадало. Однако еды было недостаточно, чтобы спасти моих соседей по палате, страдавших от тяжелых голодных отеков. Они умирали один за другим, и их места тотчас занимали такие же безнадежные больные. У всех были отеки, незаживающие раны и водянка. Доктор Шаум постоянно пунктировал плевру и окологердечную сумку – единственное, пожалуй, что он мог сделать в этих условиях. Меня особенно тронула смерть моего соседа, тринадцатилетнего мальчика, которому несколько раз пунктировали окологердечную сумку. Его никто не навещал, он скончался почти беззвучно и был закопан в братской могиле вместе с другими бесчисленными безымянными жертвами. Та же участь была бы суждена и мне, если бы мама не начала почти ежедневно приносить чего-нибудь с черного рынка: кусок хлеба, немного конского жира, консервы, снова хлеба. Она быстро сообразила, что без добавочного питания я никогда не поправлюсь. У нее самой опять было воспаление оболочки сухожилия, и она смастерила себе для ношения кофейника нечто вроде лотка, который

подвешивался на шею. Теперь она выглядела заправской маркитанткой. С утра до вечера на ногах с единственной целью – раздобыть хлеба или другой какой еды, что требовало напряжения всех сил. Отец должен был искать дрова, поддерживать огонь и варить кофе, а мама на рынке без устали зазывала и продавала этот горячий бодрящий напиток.

Принося еду, она совала мне ее под одеяло, и я съедал все сразу и, насколько это удавалось, незаметно. Откладывать часть на потом было бессмысленно – еду воровали сразу же, как только хозяин засыпал. Кроме моего юного соседа, я ни с кем не делился – утопающий ни с кем не делится соломинкой, за которую вынужден хвататься. Ситуация была жестокая: кто еще не впал в полную апатию, говорил о еде и только о еде. Но я в состоянии безмятежного ничегонеделания чувствовал себя счастливым. Вместе с тем от моего внимания не укрылось, что среди находившихся в больнице имелось и некоторое число паразитов, которые пользовались скудным пайком, выделявшимся военной администрацией для персонала и пациентов. Доходили до больничных палат и слухи о злоупотреблениях при распределении продовольствия и о воровстве на кухне.

Я снова начал читать. В больничной библиотеке было много книг по философии, и я с настоящей одержимостью набрасывался на все, что бы мне ни приносили. Особенно меня захватывали логические схемы мироустройства в сочинениях досократиков – Анаксимандра, Гераклита, Фалеса Милетского и др. Выдвигается гипотеза и согласно ей объясняется мир; но едва один философ успевает сказать, что мир устроен так-то и так-то, как появляется другой и говорит, что дело обстоит совершенно иначе. Все это казалось мне необыкновенно увлекательным, и я читал и читал.

Пришла зима, жить стало тяжелее, поползли слухи о каннибализме. Врачи обнаружили, что на рынке предлагают человеческое мясо. То же касалось и поступивших в продажу биточков. А потом русские обнаружили в городских развалинах настоящий мясной цех по разделке людей, которых заманивали, убивали, а мясо, сердце и легкие пускали в переработку.

Сейчас мама пыталась заработать побольше розничной торговлей. Она рассказывала о строгостях милиционеров, о том, как трудно скрывать свои действия от их контроля. Сообразив, что помешать кенигсбержцам, борющимся за существование, заниматься мелкими торгово-обменными операциями невозможно, милиция стала распространять слухи, будто немцы продают русским отравленные продукты питания. Видимо, милиции очень не хотелось, чтобы мы остались в живых.

Я лежал уже пять месяцев и только начал было потихоньку поправляться, как вдруг снова поднялась температура. На другой день она спала, затем поднялась вновь и т. д. Я подхватил малярию, вспышку которой объясняли загрязнением противопожарных прудов. Эти пруды, задуманные и как резервуары питьевой воды на случай прекращения нормального водоснабжения, представляли собой заложенные при нацистах искусственные водоемы, которые ныне протухали и заражались от сброшенных в них трупов и отходов. Мухи и комары размножались беспрепятственно и становились такою же карой Божьей, какой уже давно были вши, крысы и прочие паразиты. Так в Кенигсберге вдруг возникли доселе неизвестные заболевания, в том числе малярия. Да и как лечить ее без хинина? А его, разумеется, не было. На моем выздоровлении был поставлен крест. Однако в один прекрасный день лихорадка прошла сама собой, и я постепенно преодолел недуг. На память от него осталась больная селезенка.

Очень тяжелым оказался май: есть стало совсем нечего. Сначала все жиде становился суп, затем его и вовсе перестали приносить. Что произошло? Оказывается, военную администрацию должна была сменить гражданская, а она принимала на себя ответственность лишь с 1 июня. Поскольку же военные уже в мае сложили с себя полномочия, возникла смертельно опасная для нас ситуация междуцарствия. (Указами Президиума Верховного Совета СССР от 7.4.46 и от 4.6.46 Кенигсберг был присоединен к РСФСР и, тем самым, к СССР.) Военные попросту прекратили снабжение больницы и оставили нас на произвол судьбы. Мы были в отчаянии. Бедственное положение, в котором мы оказались, трудно описать. Те, кто не получал дополнительного питания извне, были обречены. Уже примерно через неделю после снятия больницы с довольствия смертность пациентов возросла до сорока человек в день. Вокруг то и дело умирали люди, и в число постоянно наблюдаемых жестов вошло движение руки, закрывающей лицо только что умершего. Приходили бездушные санитары и уносили мертвых. Невозмутимо, словно это были отработанные батарейки. Человеческая жизнь по-прежнему не только ничего не стоила, но и была нежелательна. Никто не обольщался, слушая, как в коридоре медсестры красиво выводят хорал. Чем быстрее человек умирал, тем было лучше. Под конец, по моим оценкам, из 120–130 тысяч оставшегося гражданского населения более 100 тысяч оказало русским такую услугу. Гитлер хотел очистить Европу от евреев, Сталин – Восточную Пруссию от немцев. Конечно, сравнивать одно с другим нельзя, но как мне в обоих случаях удалось уцелеть, непостижимо.

От отчаянья врачи распорядились, чтобы пациенты и медсестры собирали съедобные травы на лугах и среди руин. Посылался каждый, кто без посторонней помощи

мог ходить в туалет, ведь речь снова шла о жизни и смерти. Таким образом, я, еще очень слабый, начал совершать свои первые прогулки. Если что и было хорошо, так это то, что я наконец узнал, что крапиву, сныть, лебеду и одуванчик можно есть. Из собранной за день травы варили суп. Уменьшило ли это смертность, не знаю. Мама все сильнее уставала и все больше нуждалась в моей помощи. Она страшно переутомилась. Добывать пищу на троих стало делом невозможным. Почти чудом было уже то, что до сих пор ей удавалось обеспечивать себя и отца и что-то приносить и мне. Поэтому задолго до своего окончательного выздоровления я покинул больницу и вернулся «на волю».



## Кража со взломом

### Эпизод второй

Выйдя из больницы, я обнаружил, что родители снова переехали. Теперь они жили на первом этаже разрушенного дома. Там сохранилось защищенное от дождя помещение. Окна можно было обшить досками, и от прежних, ныне покойных, жильцов осталась добротная входная дверь. Поскольку жилье было неплохим, родители взяли к себе жить старую знакомую отца, учительницу музыки Герду З. «Наша Герда», как называли ее мои родители, разделила тяжелую участь многих женщин, но у нее, крепкой помещицкой дочери, был сильный характер, и с помощью антропософии и музыки она на удивление хорошо сумела сохранить свое духовное и физическое здоровье. Уроками музыки в русских семьях или игрою на рояле в солдатских клубах она зарабатывала себе пропитание. Оптимизм и духовность, при помощи которых она преодолевала последствия пережитого, благотворно действовали и на нас. Интересно было и говорить с нею о ее «религии», хотя и я, и родители мало что понимали, когда она с жаром и жестикулируя пыталась объяснить нам суть антропософии. Она пользовалась такими понятиями, как «эфирное» и «астральное тело», «дух» и «духовное существо», и красочными образами, цветовое богатство которых было обращено скорее к чувству, чем к разуму адепта антропософии. Я же предпочитал, чтобы чувства исходили от красок и звуков, а от слов я ожидал большей ясности и говорил ей примерно следующее:

если высшее воплощается в непонятном, из этого еще не следует, что непонятная философия и есть высшее. А может быть, Герда просто невысоко оценивала свою способность к логическому мышлению и полагала, что понятное не бывает одновременно высокодуховным. Вместе мы находились в квартире лишь по ночам и выходным. Герда жива, но была очень больна, когда я ее недавно видел. Испытания не сломили ее дух, однако освободиться от пережитого она не смогла. Наверное, ей и самой невдомек, что эти годы – тяжелое бремя всей ее жизни, как духовной, так и физической.

Родители очень плохо выглядели и казались семидесятилетними. Они совершенно завшивели, и отец беспрестанно давил паразитов ногтями больших пальцев – другого способа от них избавиться не было. Единственное доступное дезинфицирующее средство – моча – оказалось в целом негодным: я пытался с ее помощью бороться с чесоткой, но ничего из этого не вышло. Оглядываясь назад, прихожу к выводу, что целебные силы самой природы помогли тем, кто выжил, преодолеть такие болезни, на лечение которых в нормальных условиях ушли бы тонны лекарств. Однако наше общее состояние было скверным, и нужда не уменьшалась. Необходимо было снова что-нибудь предпринять, чтобы найти дополнительное питание. К сожалению, я был настолько слаб, что нечего было и думать о работе плотника или подмастерья каменщика. Я и тому был уже рад, если удавалось без передышки одолеть сотню метров. Итак, я снова ломал себе голову в поисках выхода. Небольшие кражи практически не приносили успеха: пока мне не доставало решимости и собранности.

Летом 1946 года городское электрическое хозяйство расширили, и русским срочно потребовались электрики. Эта работа была не особенно утомительной, и я выдал себя за электрика. Но вышло распоряжение

предварительно проверять претендентов. Немецкий мастер выдал мне листок бумаги и карандаш и велел нарисовать схему включения и выключения ламп с нескольких мест, после чего сразу понял, что никакой я не электрик, однако рекомендовал русским принять меня на работу. Мне вновь улыбнулось счастье, и борьба за существование продолжилась. Русские ценили специалистов, а электриков особенно. Они ждали момента, когда смогут наконец пользоваться электричеством, и от электриков, разумеется, многое зависело. Это ремесло не только распахивало двери русских домов, но и давало некоторую прибавку к рациону в виде хлеба или картошки. Кроме того, я нашел новые возможности возобновить воровские вылазки, хотя, как и прежде, ввиду риска для жизни прибегал к воровству лишь в самых крайних случаях, при отсутствии иного выхода. Мы, действительно, прилагали все усилия, чтобы уберечь себя от голодной смерти только с помощью работы и торговли на черном рынке.

Когда в первые дома русских было проведено электричество, спрос на светильники и плафоны резко возрос. Теперь я искал старые электрические патроны и обгоревшие лампы, снабжал их новой проводкой и придавал им приличный вид. Это можно было неплохо продать. Нарезать «золотых обручальных колец» из куска латунной трубки – нет, такой ловкостью я не обладал. Самый большой доход в моей новой отрасли приносили многоламповые светильники. Русским страшно нравились эти старомодные звездообразные железные чудища. Иногда такие лампы попадались среди хлама на выгоревших чердаках. В большинстве своем они были неисправны, но починить их, как правило, удавалось. Поэтому я совершал вылазки в заселенные русскими дома для обследования чердаков. Немногие из моих «коллег» рисковали соваться в

самое логово льва, и потому-то там еще можно было отыскать пригодные для продажи вещицы.

Помнится, захожу в подъезд трехэтажного жилого дома, и меня охватывает непривычно сильное беспокойство. Не сказать, чтобы я ясно чувствовал опасность, но такого ощущения тревоги в подобных ситуациях не припомню. Как обычно, тихо поднимаюсь по лестнице в рабочем комбинезоне и в спортивных туфлях. Чердак удивительно хорошо сохранился. Тишина полная, звука открывающихся дверей нигде не слышно, и я, как мне кажется, никем не замеченный, добираюсь до запертой металлической чердачной двери. Большие замки на таких дверях не так-то легко поддаются отмычке, часто их заклинивает. Терпеливо открываю дверь и оказываюсь в набитом старой рухлядью чердаке. Прежде чем приступить к осмотру, прячу отмычку в кармашек для дюймовой линейки на штанине. Про это я не забываю никогда. При ближайшем изучении выясняю, что для меня здесь нет почти ничего полезного – ни одной лампы, только несколько электропатронов. Беру два патрона и медленно спускаюсь по лестнице. Решимости взломать еще и квартиру я сегодня не испытываю.

Когда оказываюсь между третьим и вторым этажом, неожиданно распахивается дверь и выскакивает молодой, еврейского вида, старший лейтенант. Он бросается на меня и начинает избивать с такой яростью, что я, обливаясь кровью, падаю на пол. Пнув меня несколько раз, хватает за волосы и за воротник и тащит по лестнице на улицу. Мы, наверное, представляем собой занятное зрелище: все больше любопытных и довольно улыбающихся русских собирается на нас поглазеть. Каждому ведь приятно, когда «зло» оказывается наказанным. Задыхаясь от ярости, старший лейтенант конвоирует меня в ближайшее отделение милиции. Наверное, у него была мысль застрелить меня в подъезде

– так, по крайней мере, мне там показалось. Но при мне не было ничего ворованного, и он оставил меня в живых. Позже я узнал, что несколькими днями раньше в этом доме была совершена кража со взломом. Моим коллегам повезло, по-видимому, значительно больше, и этот офицер, вероятно, оказался в числе жертв. Надо сказать, что все, исключая моего отца, считали кражу у русских героическим и справедливым поступком, и многие кенигсбержцы, как правило совсем молодые, уже давно освоили это ремесло, чтобы обеспечить себе шансы на выживание. Только никто, конечно, другим о совершенном взломе не рассказывал, и поэтому было неизвестно, от каких мест следовало держаться подальше. На сей раз мне не повезло, а значит меня, как это было с некоторыми кенигсбержцами, ждет скорый суд и отправка в Россию, в трудовой лагерь. Так обычно поступали с пойманными ворами.

Но все оборачивается иначе. Оказавшись в отделении, мой старший лейтенант никак не может успокоиться. Поставив меня перед собой, он безостановочно и взволнованно излагает происшествие милиционеру. Тот немного старше лейтенанта и кажется совершенно невозмутимым. Замечаю, однако, что его попутно заданные вопросы раздражают старшего лейтенанта еще больше. Он снова выходит из себя и набрасывается на меня с кулаками. Еще раз пытается найти ворованные вещи, особое внимание уделяя моей сумке с инструментами. Но отмычек, к моему великому счастью, не находит. Все яростнее кричит, притискивает меня к стене и начинает раздевать. Приспускаю штаны в надежде на то, что признак нашей общности смягчит его ярость. Но куда там. Он хватает меня за волосы и начинает бить затылком о стену до тех пор, пока у меня не подгибаются колени и я не сползаю на пол. Затем он возвращается к столу милиционера.

Еще не вполне придя в себя, вижу, как милиционер неохотно усаживается за пишущую машинку и начинает печатать то, что офицер ему зло и возбужденно диктует. Проходит некоторое время, прежде чем они заканчивают, и мой мучитель размашисто расписывается в протоколе. После этого исчезает, высказав напоследок какую-то угрозу – вероятно, по адресу милиционера. Трудно не заметить неприязненного отношения милиционера к старшему лейтенанту. Может быть, милиционер антисемит или ему не понравилась сама сцена, а может, все дело в отсутствии улик.

Сидя в углу, пробую угадать, как будут разворачиваться события. Время от времени принимаюсь объяснять милиционеру, что ничего не крал. Он не отвечает. Так проходит несколько часов, а потом, по-видимому перед окончанием своего дежурства, милиционер подходит, держа в руке показания офицера, и что-то строго говорит. До меня доходит общий смысл его слов: «Ступай, но не вздумай еще раз попасться этому офицеру, не то и у меня будут неприятности». После этого он рывком срывает оба листка с подписью истца, открывает дверь и выпускает меня на свободу.

Человечность милиционера и ненависть еврейского офицера – все это плохо укладывалось в голове.

## Вода и электричество

Я выдумал такую уловку: выбрав дом, к которому уже было подведено электричество, я отсоединял одну фазу на распределительном щитке, находившемся, как правило, у входа, ждал, пока у щитка не соберутся беспомощные жильцы, и появлялся, как бы случайно. «Специалиста» радостно приветствовали, и я с напускным великодушием предлагал свою помощь. После многозначительных манипуляций с контрольной лампой устранял неполадку и требовал вознаграждения. Несколько раз эта проделка удавалась, но однажды я попал в дом, в котором жил русский электрик. Он разгадал мою уловку и вытолкнул меня из подъезда взашей. После этого выдумка со щитком утратила в моих глазах свою привлекательность, и я переключился на изготовление антенн. Они представляли собой куски проволоки, натянутые между двумя фарфоровыми изоляторами – и ничего больше. За них давали по полбуханке хлеба. При всех стараниях, однако, этого не хватало, чтобы прокормить троих, по крайней мере, на несколько дней не хватало.

Отношения с отцом по-прежнему оставались крайне натянутыми. Нелегко воспроизвести наши перепалки, от которых было тяжело обоим. Мы постоянно стремились оправдать друг перед другом собственные взгляды на жизнь: его сомнительная пассивность и моя сомнительная активность должны были посредством еще более сомнительных философских конструкций предстать как хорошее или дурное, правильное или

неправильное поведение. Отец рассуждал о том, что зло губительно, ибо всегда рождает зло [цитата из «Валленштейна» Шиллера. – примеч. пер.]. Здесь я усматривал намек на свои занятия воровством. Он говорил о воздействии на мир мудрецов, которое постоянно умножает в нем гармонию и любовь. Кумирами отца были непротивленцы вроде Ганди и Будды, а моими – такие люди действия, как Моисей и Вильгельм Телль. Правда, отец был Ганди лишь постольку, поскольку мало что делал; а я Моисеем – поскольку обворовывал русских «египтян», но кому удавалось достичь высот своих кумиров? Изюм в день мы решали вопрос: всегда ли следует ориентироваться на благородные образцы поведения или в нашей экстремальной ситуации требуется что-то иное? правильно ли и благородно ли умереть, ничего не делая, вместо того чтобы красть и остаться в живых?

Но умирать отец, слава Богу, пока не собирался. Он выходил из себя, если ему казалось, что мой кусок хлеба толще. Делила наш скудный рацион мама, учитывая при этом, что для моей работы и прочих предприятий требуется больше калорий, уже не говоря о том, что о продлении юной жизни она заботилась сильнее. Отец ненавидел меня за подобную «несправедливость», а я ненавидел его за эту ненависть. Висела в воздухе, хотя и редко звучала его претензия к нам, которую я теоретически признавал законной: раз при нацистах, благодаря его существованию, нас не отправили в газовые камеры, при русских нам надлежит заботиться о его выживании. Но нельзя было, конечно, требовать от нас уплаты по этому счету, к тому же существовал ведь и моральный долг заботиться о членах своей семьи. При Гитлере это должен был делать он, при Сталине – я. Мне хотелось лишь побудить его активной участвовать в нашей общей борьбе за жизнь. Но говорить



с ним на эту тему было тяжело, тем более что он умел лучше формулировать свои мысли. После споров у меня всегда оставалось чувство дискомфорта, отчего положение становилось еще хуже.

Затем отец и вовсе пал духом и больше ничего не хотел делать. У него пропало желание вставать с постели. Жалко было смотреть, как он исхудал. Наша жизнь, между тем, стала более сносной, чем раньше. Нам даже разрешили занять комнату на первом этаже дома на Бетховен-штрассе, населенного только русскими. Это был один из немногих чудом уцелевших домов. Но за проживание здесь нам пришлось взять на себя дворницкие обязанности. Мы очень радовались новому жилью. Мы бы не выжили, если бы предстояло провести еще одну зиму в неотопливаемой квартире. Правда, пока мы совершенно не представляли себе, чем топить, но главное, у нас было наконец по-настоящему изолированное помещение.

С некоторых пор больше не нужно было носить воду ведрами с Луизенваля – повсюду имелись гидранты. Однако справлять нужду по-прежнему ходили в ближайšie развалины, отчего растительность здесь была буйная. Впрочем, жильцы нашего дома практиковали другой метод: в полу одной из кухонь первого этажа, довольно сильно поврежденной и неиспользовавшейся, пробили дыру в подвал... Куча росла, конусообразно вздымаясь к потолку, так что впоследствии пришлось бы пробивать новое отверстие, если бы одно событие не положило конец этой практике. Здания города постепенно не только электрифицировали, но и подключали к водопроводной сети, и однажды, вернувшись домой, я оказался свидетелем того, как жильцы беспомощно собрались на улице, а из здания доносится веселый плеск. Неизвестные умельцы подсоединили наш дом к водопроводу, и из всех неисправных и отвинчен-

ных кранов, а также из самих труб струями била вода. Жильцы совершенно растерялись и встретили меня как спасителя. Чувствовалось, что от меня ожидают действий, ведь я в конце концов был их «специалистом». Я поинтересовался у майора со второго этажа, закрутили ли главный вентиль, который должен находиться где-то в подвале. Он ответил отрицательно и несколько смущенно добавил, что туда не пройти. Догадываясь, что он имеет в виду, я тем не менее кинулся вниз. Воды в подвале было уже по колено, а на поверхности плавало дерьмо. Прорыв трубы или свернутый вентиль находился как раз под той самой кухней, и теперь отсюда тугой струей била вода. Этой струей и смыло кучу, поднявшуюся до потолка. У меня, естественно, не было иного выхода, как снять ботинки и носки, а заодно и штаны и заняться поисками главного вентиля в бурой жиже. Не сразу мне удалось найти наконец проклятый вентиль и перекрыть воду. Под многократное «otschen karascho» я вылез из вонючей жижи, довольный, что оправдал всеобщие ожидания. Пользуясь случаем, я объяснил соседям, что не стоит дальше использовать кухню для... и т. д. Они покивали головами, и с тех пор я чаще стал встречать в развалинах даже господина майора.

Наш дом еще долго не ремонтировали, слишком многое пришло в негодность. Однако совсем неподалеку, в руинах, непрерывно била вода, и это было значительно ближе и удобней, чем ходить к расположенному на другой улице гидранту. Таким образом, электричество и вода стали доступны, что значительно облегчало жизнь.

## Кража со взломом

### Эпизод третий

Кражи всегда сопровождались колоссальным нервным напряжением, а самой опасной была, пожалуй, одна из последних. Муки голода снова потребовали срочно что-нибудь предпринять. Само собой разумеется, красть у жильцов нашего дома было никак нельзя. И не только по моральным соображениям, но и чтоб не рисковать нашей главной ценностью – комнатой, защищающей от зимних холодов.

Так что отправляюсь в другой район. Три многоквартирных дома, стоящих в ряд и заселенных исключительно офицерами. В синем комбинезоне, с инструментом и отмычками в потайном кармане ищу квартиру, хозяева которой отсутствовали бы. На третьем этаже среднего дома отваживаюсь отомкнуть одну из дверей и слышу громкий спор в жилой комнате. В надежде, что, раз так спорят, то не выйдут, направляюсь на кухню и обнаруживаю там пятидесятикилограммовый мешок картошки – словно ниспосланную Богом манну небесную. Но поднять целых полцентнера мне не под силу, не говоря уже о том, чтобы унести. Разве что уволочь мешок по земле мне бы удалось. Но если меня за этим увидят, то конец. Это сильно напоминало бы «русскую рулетку». Решиться уволочь на глазах туда и сюда спящих русских мешок картошки – значит, бросить дерзкий вызов судьбе.

Смутно припоминаю, что во дворе дома – стройплощадка, а на ней, вроде бы, стояла ручная тачка.

Оставляю квартиру, прикрыв, но не захлопнув дверь, чтобы не прибегать лишний раз к помощи отмычки, и направляюсь на стройплощадку. Огибаю дом и, действительно, нахожу брошенную тачку. Ставлю ее у водосточного желоба перед входом и подбираю несколько кусков толя, чтобы было чем потом прикрыть мешок. На глаза попадаются двое русских, увешанных боевыми наградами. Вновь подойдя к двери на третьем этаже, обнаруживаю, что она закрыта – значит, за это время кто-то входил или выходил. Отмыкаю вторично – что всегда получается быстрее – и снова слышу громкий спор. Тихо прохожу на кухню и, собрав в кулак все свое мужество, хватаю мешок и волоку его из квартиры. Застань меня кто, он сразу бы все понял и поступил соответственно. Я даже не сочиняю отговорки на случай, если поймают, ведь это все равно не поможет. Наверное, я сошел с ума: как можно надеяться на то, что удастся незаметно спуститься по лестнице и исчезнуть? А ведь еще нужно будет погрузить мешок на тачку.

Вот я уже выбрался из квартиры, хотя на каждом пороге мешок производит изрядный шум и оставляет песчаный след. Любому сразу же станет ясно, что здесь происходит. Бум-бум-бум – тяну мешок по ступенькам вниз. Незамеченным добираюсь до тачки, невероятным усилием взваливаю на нее мешок, прикрываю его сверху кусками толя и налегаю на ручки. Русские, которые попадают мне навстречу, видят во мне рабочего, а не похитителя картофеля. Но когда я пересекаю ближайший перекресток, случается то, чего следовало ожидать: за спиной раздаются крики. Меня охватывает такой ужас, что на какое-то время я беспомощно застываю. Когда же наконец оглядываюсь, то вижу двух бегущих в мою сторону русских в форме. Ну вот и все. На этот раз меня ничто не спасет, совершенно ясно. Мной сразу же овладевает знакомое чувство полной

покорности судьбе – будто бы оправданий твоему существованию нету и в глубине души ты готов к тому, что Великий Властелин, у которого ты одолжил свою жизнь, в любой момент возьмет ее или, по крайней мере, сотворит с нею что-нибудь страшное. Обреченно бреду дальше, ожидая, что сейчас русские, брань которых слышится, догонят меня, отдадут под суд, расстреляют или, по меньшей мере, избьют. Но ничего подобного не происходит, и, снова обернувшись, я вижу безлюдную улицу. Никто за мною не гонится. Неужели снова чудо?! То ли на перекрестке русские свернули на другую улицу, то ли их ругань вообще не имела к моей краже никакого отношения. Трудно сказать. Но на этот раз я испугался больше, чем когда-либо, и с тех пор странное глухое чувство уже никогда меня не покидает. Словно Великий Властелин хотел сказать мне: «Это последнее предупреждение». Сколько раз я обещал себе больше не ставить на кон свою жизнь, спасенную в очередной раз, но стоило голоду сделаться невыносимым, и я принимался за старое. Ведь выбора, собственно, не было.

Когда я добрался до дома, мы сразу же сварили несколько картофелин. К сожалению, они оказались подмороженными. Это испортило удовольствие от еды и заставило испытать сильное разочарование. Но мы, разумеется, ели и мерзлую картошку и были счастливы от сознания того, что на какое-то время обеспечены продовольствием.

В один из ближайших вечеров мне пришлось наблюдать, как по Луизеналлее бежит юный, чуть моложе меня, кенигсбержец, а за ним – русский солдат с пистолетом в руке. Через несколько мгновений, когда они оказались уже вне поля моего зрения, прозвучал выстрел. Пуля попала в голову.

## Электрическое отопление

Нам, электрикам, было поручено восстановить проводку в одном из бывших кинотеатров, но занялись мы, главным образом, расхищением остатков его ценного паркетного покрытия: просмоленная еловая древесина горела великолепно. Однако зима 1946/47 года выдалась настолько холодная, что все усилия раздобыть топливо оказывались недостаточными, и смерть от холода превратилась в такую же угрозу, как и голодная смерть. Части паркетного покрытия согревали нашу комнату лишь несколько часов, а зима обещала быть долгой и суровой как никогда. По ночам температура опускалась порою ниже 25° С.

Нужно было что-то предпринимать, и наш бригадир придумал следующее: в кинотеатре имелось несколько резисторов – катушек, обмотанных проволокой с низкой электропроводностью. Они служили для плавного включения и отключения освещения в кинозале, но при замыкании напрямую накаливались и излучали тепло, как электропечи. В нашем доме напряжение в сети имелось, а предохранители я замыкал проволокой потолще, после чего они переставали быть предохранителями. Настоящие предохранители сразу перегорели бы от работы такого примитивного обогревателя, потребляющего несколько тысяч ватт. Впрочем, электросчетчиков еще не было. Резистор спасал нас от холода, с его помощью можно было поднять температуру в помещении. О, какое же это было блаженство, особенно по ночам.

Спали мы, тепло одевшись, на «трофейных» матрасах, и однажды один такой, из конского волоса, начал тлеть, поскольку оказался слишком близко к «печке». Мама первая почувствовала запах гари и своевременно предотвратила готовый начаться пожар. Буквально в последнюю минуту она схватила тлеющий кусок матрааса и быстро выбросила его через открытую балконную дверь во двор. В тот же миг он запылал ярким пламенем, и пришлось его тушить, одновременно успокаивая испугавшихся русских. Пожар в комнате стал бы катастрофой, поскольку наших запасов воды не хватило бы, чтобы достаточно быстро справиться с ним.

Сохранились в моей памяти и другие переживания и впечатления от той ужасной зимы. Русские установили на всех перекрестках огромные громкоговорители. То, что они большую часть времени транслировали, было, вероятно, новостями и пропагандистскими речами. Но в перерывах звучала великолепная музыка. Когда темным вечером при ясном звездном небе я возвращался домой, казалось, что заснеженный и переливающийся ледяным мерцанием, как на рождественской открытке, город наполнен нездешними звуками концерта Баха для двух скрипок. Сказочный пейзаж и звучание скрипки Давида Ойстраха потрясали и завораживали. О, это не передать словами! Я спешил от одного перекрестка к другому, чтобы ничего не пропустить, и в эти минуты верил в существование лучшего мира, в царство души, в котором есть место высшим ценностям. Музыка ясно говорила об этом. Но здесь и там на глаза попадались скорчившиеся фигуры замерзших людей – застывших лежа или сидя, будто окаменевших. Иногда запыленные снегом. У этих людей не хватило сил добраться до теплого очага, или они отчаялись раздобыть пропитание и прекратили сопротивление. По большей части

это были старики, но однажды я видел и замерзшего ребенка. Как было разобраться в этих противоречиях чувствительной натуре? Слишком велик был контраст между миром музыки и кенигсбергской действительностью. Сколько их было, замерзших после долгих мучений, не получивших помощи? Они словно служили горьким укором живущим. Часто их так и оставляли по нескольку дней лежать на морозе, прежде чем убрали.



## Пирожники

Холода усиливались, и каждый поход за водой или в туалет давался нелегко: невозможно было долго выдерживать такую температуру неприкрытыми частями тела. Сейчас, когда я сам человек в возрасте, меня удивляет, как все это переносили мои пожилые родители. А ведь никто из нас, сколько припоминаю, даже не простужался. Любая простуда повлекла бы за собою тяжелые последствия.

Наша «электропечь» была спасительным источником тепла, и погреться к нам кто только не заходил. Однажды нас навестила госпожа Шток. Время от времени она пекла безе и торговала ими вразнос. Зайдя погреться, она увидела, в каком критическом положении мы находимся. Отец от слабости уже не вставал с постели. Маме почти ничего не удавалось выторговать на черном рынке, а я работал с утра до вечера, но не мог прокормить всех троих. Было очевидно, что через какое-то время мы проиграем ставшую непосильной схватку за жизнь. Штокам жилось лучше: работая у русских офицеров, они вроде как вели с ними совместное хозяйство, а продажей безе добывали себе дополнительное питание. Штоки заметили, что русские с удовольствием покупают эту выпечку, прежде им неизвестную. Чтобы испечь безе, требовались яичный белок и сахар – продукты дорогие и редкие на черном рынке. Госпожа Шток готова была поделиться с нами секретами приготовления безе. Главным условием была жаровня с независимой регулировкой верхней и нижней температуры.

Поскольку это, похоже, оказывалось единственным шансом на спасение, я ломал себе голову над тем, как обзавестись такой духовкой. Обычные печи мы уже научились класть: кирпич и цемент для этого имелись. Но как сделать духовку с регулировкой верхней и нижней температуры? Технически не такая уж легкая проблема, а между тем ее решение могло бы серьезно облегчить нам задачу выживания. Поэтому я немедленно принялся за дело: в комнате у стены с дымоходом обложил кирпичом подобранный в развалинах железный ящик, бывший частью сгоревшего жарочного шкафа, и позаботился о создании двух независимых друг от друга источников тепла. Я придумал такое устройство, в котором дрова обеспечивали бы нагрев снизу, а электричество – сверху, иначе говоря – комбинированную электро-дровяную жаровню. Претворить этот проект в жизнь было делом нетрудным. И, что бы вы думали, эта штука действительно заработала, так что госпожа Шток смогла приступить к обучению. Полагалось как следует взбить яичный белок, добавить в него сахару, кляксообразно распределить получившуюся густую массу по противню и печь ее, тщательно контролируя верхнюю и нижнюю температуру. В случае удачи из одного яйца получалось изрядное количество небольших белоснежных и сладких безе, а в случае неудачи приходилось соскребать с противня бурю карамель. Положение наше было критическим, нужно было срочно что-то предпринимать, и мы с большим усердием занялись изготовлением пирожных, не видя иного пути к спасению.

Я бесцеремонно утащил из кинотеатра все оставшиеся резисторы, хотя они и были нужны там для работы, и, продав или обменяв их, приобрел яйца и сахар. Первая партия безе подгорела, и мы утешились тем, что с наслаждением сами полакомились неудав-

шимися изделиями. Но уже на второй раз у нас получилось совсем неплохо. Постепенно, после нескольких удачных и неудачных попыток, у меня появилось чутье, своего рода интуиция, как именно нужно регулировать температуру, и с этого момента мы, можно считать, были спасены. Как и госпожа Шток, мы теперь могли производить товар, который был неизвестен русским и хорошо продавался. Пирожные не только приносили небольшой доход – от производства оставались желтки, а они уберегали от опасности «голодной апатии», предвестницы смерти.

Очень скоро мы вновь составляли единую команду. Я пек, мама продавала пирожные и закупала продукты, а отец, поправившийся благодаря желткам, помогал колоть дрова и взбивать белки. Приятно было опять ощущать себя хозяевами собственной судьбы. Безе явились нашим спасением после двух лет отчаянной нужды, холоднейших зимних месяцев и – как знать? – возможно, совсем незадолго до нашего конца. Это был выход из отчаянного положения. В прошлом остались мои воровские рейды, которые лишь по счастливой случайности заканчивались благополучно и, что касается добычи, никогда не стоили сопутствовавшего им риска и нервного напряжения. Прекратились и стычки с отцом, хотя некоторая отчужденность и натянутость в наших отношениях сохранится еще долго.

Но было бы ошибкой думать, будто у нас сразу началась сладкая жизнь. То и дело безе пригорали, а значит оказывались негодными для продажи; посуду, в которой мама разносила пирожные, у нее выбивали из рук, а выручку отнимали. Милиция арестовывала всех уличных торговцев, которых ловила. Нужно было быть чертовски осторожным. У задержанного торговца все изымали, и ему грозило лишение свободы. Это, слава Богу, не всегда осуществлялось, однако несколько раз

мама домой не возвращалась, поскольку была вынуждена провести ночь в милицейском подвале. На рынке не всегда имелись яйца, и тогда, естественно, печь было нельзя. Все труднее обстояло дело с поиском дров. Да и выручка была минимальной. Маленькие безе (наши были гораздо меньше тех, что продают в нынешних кондитерских) шли по два рубля за штуку, а яйцо, насколько я помню, стоило от восьми до десяти рублей. Но несмотря на огорчительные потери и неудачи, у нас появилась надежда и конкретная возможность избежать последствий недоедания и постепенно набираться сил для дальнейшей борьбы за выживание.

Мы очень обязаны госпоже Шток. Ее заслугу лишь чуть-чуть умаляет одно обстоятельство, впрочем, простительное и типичное для поведения каждого в те годы: тайну выпечки она поведала нам только тогда, когда ее офицер твердо пообещал, что вопрос о ее выезде из Кенигсберга будет решен положительно. Госпожа Шток сама сказала нам об этом. Полагаю, что из-за вполне понятного опасения перед конкуренцией она не стала бы нам помогать, если бы не получила разрешения на выезд. Это было вполне естественно в крайне жестких условиях борьбы за выживание и ни в коем случае не отменяет того факта, что решающим поворотом в нашей жизни мы обязаны ее рецепту. Госпожа Шток заклинала нас хранить его в тайне до тех пор, пока он составляет единственную основу нашего существования. Благодаря печеню, изготовлявшемуся из оставшихся желтков, мы смогли помочь и доставить немало радости некоторым знакомым. Неизбежным следствием этого стало постоянное попрошайничество, которое нам удавалось удовлетворить лишь в очень ограниченном объеме.

Мне стало известно, что один немецкий военнопленный хочет продать или обменять на хлеб свою

скрипку, и я очень разволновался, поскольку сильно скучал без инструмента. Обмен состоялся, и я стал обладателем дешевой скрипки с плохими струнами и столь же скверного смычка, но теперь я мог время от времени упражняться в игре и заниматься тем, что, как я понимал, имело не только сиюминутную важность. Мое сердце влюбилось в эту скрипку, и до сих пор я испытываю к своему инструменту – теперь уже итальянской работы – точно такую же любовь. Когда мне удавалось выкроить немного времени, я разучивал гаммы и терции, а также, по найденным где-то нотам, романсы Бетховена.

А однажды у нас были все основания возблагодарить судьбу за то, что русские, как, наверное, никакой другой народ в мире, любят и почитают людей искусства. Достаточно им было увидеть играющего на скрипке юношу, чтобы проникнуться к нему уважением и утратить всякое – к слову сказать, вполне оправданное – недоверие.

Я один в нашей комнате, воздух в которой, помнится, был всегда несколько спертый. Снова и снова самозабвенно разучиваю Бетховена. Вдруг с грохотом и в крайнем возбуждении вваливаются мама, милиционер и полная русская женщина в стеганом ватнике и в обязательном у крестьянок головном платке. Милиционер смотрит мрачно, исподлобья. На его кителе позвякивает впечатляющее количество медалей за храбрость. Мама испуганно повторяет: «Nitschewo, nitschewo!» Не здороваясь и без объяснений русская тотчас начинает обыскивать наше жилище. Но никаких особых объяснений мне и не требуется, я уже и так обо всем догадался. Мама была на черном рынке, чтобы выменять сахару на вещи, в числе которых была небольшая скатерть, некогда мною украденная. Совершенно очевидно, что к нам явилась владелица скатерти, узнав-

шая ее и теперь резонно рассчитывавшая выйти через укрывательницу краденого на самого вора. Ситуация крайне неприятная. Неужели бесчеловечное русское судопроизводство в конце концов настигнет нас? И это теперь, когда, казалось бы, все повернулось к лучшему и с кражами навсегда покончено? Однако чувствую, что русских приводит в замешательство моя игра – к тому времени уже довольно приличная. Вероятно, они не могут представить себе, что тот, кто способен производить такие прекрасные звуки, вор. Пользуясь ситуацией, с напускной безмятежностью, будто ничего не происходит, продолжаю свое занятие, причем стараюсь играть особенно проникновенно и специально повторяю те немногие пассажи, которые хорошо разучил. Это производит впечатление. Милиционер поглядывает на нас уже куда дружелюбнее и все больше следит за моей игрой, чем за ходом обыска.

Все это время мама довольно неумело пытается отвлечь их от нашей временной полки, на которой, помимо прочего, лежит пара перчаток из того же, что и скатерть, источника. Она до того бледна и взволнованна, что уже по одному ее виду можно обо всем догадаться. Тайком – взглядами и кивками – пытаюсь ее успокоить, но возможностей сделать это у меня тем меньше, чем больше восхищенного внимания уделяет мне милиционер. Постепенно русской, в сущности добродушной, становится неловко. Все более вяло обыскивает она наше бедное и неприбранное жилье. Слишком рано и потому безуспешно прекращает поиски и говорит своему спутнику, что, по всей видимости, ошиблась. Несколько секунд оба стоят, не зная, что делать дальше. Затем русская смущенно начинает извиняться, и мы милостиво принимаем ее извинения, испытывая чувство величайшего облегчения. И вот все позади, словно призрачное видение: русские исчезают столь же быстро, как и появились.

Удивительное дело, думал я, вспоминая этот эпизод: только потому, что я играл на скрипке, эти люди, добродушные и, должно быть, как и мы, почти нищие, посчитали меня неспособным на дурной поступок.

## Фрагменты

Рассказы о пережитом – всегда результат отбора. Помимо событий, которые легко упорядочить, существуют такие, что не поддаются расстановке в строгой временной последовательности и напоминают фрагменты сложной головоломки. Таковы многие детали моей трехлетней «русской мозаики»: не слишком важно, когда именно произошли события, о которых я теперь вспоминаю.

Беру скрипку и иду в контору к офицеру, отвечающему за организацию культурной работы. Меня принимает капитан еврейского вида. Объясняю ему по-русски, что хотел бы продемонстрировать свою игру, чтобы поступить скрипачом в оркестр, созданный для развлечения солдат и пленных. Капитан велит исполнить романсы Бетховена, что я и делаю в меру способностей. Он достает из шкафа еще несколько нот с многочисленными знаками альтерации и непривычными ритмами: я должен поиграть с листа. Это у меня получается хуже, однако он высказывается в том смысле, что готов взять меня на пробу, но без оплаты. Я доволен достигнутым: первый важный шаг сделан.

Солнечный день. Выйдя на балкон, я обнаружил, что все мои вещи, которые мама вывесила, чтобы как следует проветрить, украдены. Как это могло случиться, непонятно, но одежда, во всяком случае, пропала, и требовалось достать новую. На рынке мы узнали у



русских, сколько стоят их гимнастерки и шинели. В торговле безе у нас как раз наблюдался удачный период, так что я стал обладателем двух застиранных гимнастерок и морской шинели, тяжелой и неудобной, но теплой. Еще у меня были старые, найденные где-то на свалке и отстиранные немецкие солдатские штаны и собственные спортивные туфли. Наряд забавный и соответствующий духу времени.

Уроки игры на скрипке давал мне Виллиотт Шваб. Он преподавал с любовью и старательно. Я многим ему обязан. Мы работали очень сосредоточенно.

Денежная реформа девальвировала рубль в отношении 10 : 1. Появились новые деньги, открылись магазины, и возникла возможность покупать продукты питания. Приходилось часами выстаивать в очередях и вступать в стычку с теми, кто их пытался игнорировать.

В «Немецком клубе» устраивали танцы. Основным контингентом были русские солдаты. Требовался скрипач для небольшого оркестра. Я предложил свои услуги и, надо же, выдержал испытание. Господин Зимонзон, бывший капельмейстер, играл на фортепьяно и делал аранжировки для фортепьяно, скрипки, саксофона и ударных. Это была преимущественно русская танцевальная музыка – она мне особенно нравилась. Исполняли мы также венские вальсы и немецкие шлягеры, например Петера Кройдера. С какого времени существовал этот клуб и для чего предназначался, не помню. Мое дело было появляться в нем дважды в неделю и играть на танцах, за что иногда платили несколько рублей.

Как почти каждый немец в то время, я был настроен против коммунизма: во-первых, я связывал его с пережитым, во-вторых, конечно, сказывалось воздействие нацистской пропаганды. При столь однозначном к себе отношении коммунизм не мог стать предметом размышлений. Впоследствии книги и беседы сделали мои суждения о нем более дифференцированными, но эмоциональной антипатии к нему я не преодолел. Ведь люди, знающие советскую действительность, утверждают, что на счету у сталинизма десятки миллионов жертв. Невероятно! Сталин воспринимался мною как второй Гитлер, как диктатор, употребивший неограниченную власть на то, чтобы поработить и держать в страхе свой народ. А кроме того, он, по крайней мере в Восточной Пруссии, совершенно не помогал нам, жертвам нацизма. Да, он победил Гитлера, однако в Кенигсберге не было таких организаций, как Союз преследовавшихся нацистским режимом, и никаких привилегий нам, жертвам террора, не предоставлялось. Поэтому, естественно, я всей душой ненавидел любую диктатуру, а демократия, которой я еще тогда не знал, представлялась мне раем земным. Вместе с тем, несмотря на неприятие коммунизма, характер русских, их исключительная эмоциональность, народная музыка и танцы нравились мне все больше, я начал привыкать к ним, тем более что теперь с ними приходилось чаще иметь дело и беседовать.

Как-то раз один русский, услышав мою игру на скрипке, постучался к нам, зашел и сообщил, что имеет отношение к консерватории в Риге и может предложить мне учиться там на советскую государственную стипендию. Но для этого я должен буду связать себя многолетним обязательством и стать советским гражданином, иначе нельзя. Перспектива избавиться от забот и посвятить

себя только музыке была заманчивой, но о том, чтобы принять это предложение, и речи не могло быть. Во-первых, родители продолжали зависеть от моей помощи. А во-вторых, в учебный план консерватории входила политическая и военная подготовка. Согласиться на это я никак не мог, и вожденное музыкальное образование так пока и осталось мечтой.

Нашему оркестру было положено выезжать в воинские части. Меня включили в него в качестве «обязательного скрипача». Господин Мюльхофф, знаток оперы, взял меня под свою опеку. Это было полезно, поскольку я испытывал затруднения, аккомпанируя солистам – господину Имкампу, нашему руководителю и превосходному певцу, господину Августину и одной певице с сентиментальным сопрано (ее фамилии я, к сожалению, не припоминаю). В числе наиболее сложных назову пролог к «Паяцам» со сменами тональности и темпа и арию «Пять тысяч талеров». Виллиотт Шваб исполнял, среди прочего, «Цыганские напевы» Сарасате с госпожой Фиткау за фортепьяно. Герда танцевала, господин Шульц выступал с комическими номерами, а лилипуты по фамилии Кляйн – с фокусами, т. е. программа у нас была весьма разнообразной. Однажды посадили на открытый грузовик и по тридцатиградусному морозу повезли в Раушен. Отдыхавшим там советским солдатам мы должны были скрасить новогодний вечер. Но по пути мы страшно замерзли, и понадобился не один час, чтобы прийти в себя. Поскольку к тому времени русские порядком напились, мы ограничились исполнением половины программы, тем более что и на сцене актового зала было до того холодно, что стены блестели ото льда и инея и Шваб даже попробовал исполнять скрипичные пьесы, не снимая шерстяных перчаток (и у него получилось). Мы как раз

играли, когда в зале по какой-то причине вдруг началась страшная драка. В воздухе только свист стоял от кулаков и бросаемых предметов. Тех, кто падал на пол, пинали до тех пор, пока им не требовалась врачебная помощь. Нам дали знак не останавливаться и играть. Мы были сильно обеспокоены, но довольно скоро драться перестали и начали обниматься и со слезами мириться. Впоследствии мне не раз еще приходилось быть свидетелем подобных происшествий, и каждый раз я не переставал удивляться тому, как близко соседствуют любовь и ненависть.

И вот наконец-то: первые эшелоны с гражданским населением отправляют в Германию. У всех, кто остался в живых, появляется надежда. Нужно подать заявление, и рано или поздно кому-то, как в лотерее, повезет – он получит «rgrorusk», русскую выездную визу. По каким критериям они выдаются, совершенно непонятно.

Мама немного подрабатывает, помогая заполнять русские анкеты на выезд. Отец наконец тоже устраивается скрипачом: в Клубе Красной Армии организовали эстрадный оркестр, и отца, снабдив инструментом фабричного производства, попросили взять на себя партию второй скрипки. Основная форма оплаты – обильный ужин. Но важнее всего то, что отец вновь начал что-то делать. Клуб располагается в здании бывшего женского ремесленного училища на Бетховен-штрассе, совсем неподалеку от нас.

Шел 1948 год, советская оккупация безысходно тянулась уже три года. На наше заявление о выезде до сих пор не было никакого ответа, и мы стали нервничать и терять надежду. Все больше немцев получало разрешение, а о нас словно забыли. Наблюдать, как вот

уже полгода других выпускают на свободу, и самим не входить в их число – испытание не из легких. Но я уже давно отучил себя роптать на судьбу, ведь главное, что остался жив.

Примерно в те же месяцы одного молодого немца, кажется по фамилии Зибенхар, суд приговорил к семи годам принудительных работ за незначительную, вроде «голодной», кражу. Меня такие известия всегда приводили в ужас – ведь это могло запросто произойти и со мною, а подобные многолетние сроки означали крушение всех надежд.

Маме посоветовали дать взятку, чтобы поскорее получить «proпуск», и она отправилась в отдел, в котором, как ей сказали, рассматривались заявления на выезд, и захватила с собою все собранные нами деньги. Она отдала их чиновнику и сказала, что он получит столько же, когда мы получим визы. Пришлось подождать и приложить немало усилий по сбору нужной суммы. Я, как обычно, играл на танцах, мама «спекулировала» на черном рынке, а отец делал кое-что по дому и, кроме того, четырежды в неделю играл легкую музыку в Клубе Красной Армии. И все же нужную сумму мы собрали, главным образом, благодаря продаже безе, что, как и прежде, составляло основу нашего существования. Однажды вечером, вернувшись после игры на танцах, я застал маму в слезах. Приходил подкупленный чиновник, рассказала она, и принес только два разрешения на выезд – для нее и отца. Я сейчас же спросил, отдала ли она ему обещанные триста рублей или показала ли их. Нет, испугавшись, что я не получу разрешения, она совершенно упустила это из виду. Я успокоился, поскольку был твердо уверен, что чиновник, не вручив третий «proпуск», давал тем самым понять,

что сперва следует выплатить остаток суммы. Так оно и оказалось. Когда на следующий день мама поспешила к нему с деньгами, он извлек из стола мое разрешение и с ухмылкой забрал деньги, не считая. Можно было и поменьше ему дать, пошутила счастливая мама, завершая рассказ.

Необходимо было позаботиться о запасе пропитания на неделю и в назначенный день явиться с ручным багажом в район главного вокзала. Я был словно пьяный и не мог поверить, что наконец-то закончились пятнадцать лет несвободы, преследований, дискриминации, нужды и угрозы для жизни. Между тем мне уже стукнуло девятнадцать, а мечты об образовании так пока и оставались мечтами. Появится ли у меня возможность наверстать упущенное? О, это было бы замечательно! Родители тоже парили в облаках. Приходилось заставлять себя печь и продавать безе, ведь мысленно мы были уже в Германии. В Германии, о которой, естественно, не имели ясного представления, но на встречу с которой возлагали так много надежд и о которой думали, что после столь глубокого падения она навеки избавилась от расового бреда и мании величия, стала терпимой и мудрой.

Время тянулось мучительно долго, но вот настал день отъезда. Мы находились на сборном пункте. О, эти сборные пункты, бывшие до сих пор роковым символом начала либо конца страданий. Бесконечные собрания: для воспитания в национал-социалистском духе, для депортации, для пережидания воздушного налета, для бегства, для отправки в места заключения или на принудительные работы. И вот теперь – для выезда на свободу. На сей раз это не могло стать началом чего-то плохого, ибо свобода, считал я, есть высшее благо. Всех охватило чувство неопишемого счастья;

некоторым, пожалуй, даже угрожала смерть от радости. Мы шутили, смеялись и говорили друг другу, какой замечательной будет наша жизнь.

Не хотелось думать о разлуке навеки с многовековой родиной предков – местом, где они жили, трудились и были похоронены. Все испытывали потребность стряхнуть с себя прошлое, забыть его, как дурной сон. О, скорее бы начать новую, безопасную, жизнь, в новом окружении, встретиться с сестрой, вот уже десять лет жившей в Шотландии вдали от всех родных, начать учиться, обрести возможность есть досыта. Театры, концерты, кино, путешествия, друзья, шоколад и апельсины – и лучше сразу все вместе.

Товарные вагоны напоминали арестантские. Стоять можно было лишь в проходе, потому что по бокам – на половине высоты вагона – были полки, чтобы удвоить количество лежачих мест. Посередине стояла железная печь, рядом с нею лежали брикеты угля и немного дров. И – знакомый по концлагерю Ротенштайн – жестяной бочонок из-под варенья, высотой со стул, в роли временного нужника. Он виден отовсюду и используется как мужчинами, так и женщинами.

Состав был большой, в нем ехало определенно более тысячи человек. После основательного контроля мужчины и женщины совершенно без разбору заполнили вагоны. Кто постарше, занял нижние полки, мы же, молодые, вскарабкались наверх. Я оказался среди женщин и девушек, которые нашли это забавным и, заметив мою неопытность (впрочем, это можно было бы назвать и целомудрием), в первую же ночь привели меня своими как бы случайными прикосновениями в величайшее смущение. Смущение, которое никоим образом не нарушило чувства счастливого опьянения. Довольно темно было в вагоне и днем, потому что тяжелые двери

снаружи заперли. Расположенные высоко вентиляционные окошки пропускали мало света, и лишь немногим удавалось выглянуть наружу. Они сообщали, что видели, и произносили названия мест, прочитанные на стенах железнодорожных станций.

Поезд больше стоял, чем шел, и порою стоял часами всего после нескольких минут движения. Поэтому дорога через Польшу затянулась надолго, и все же настал момент, когда двери вагона распахнулись и нам разрешили выйти поразмяться и сделать несколько шагов по немецкой – по оставшейся немецкой – земле. Глубокий вдох, и прекрасный весенний воздух наполняет легкие. И снова в вагон, и снова медленное движение, как нам казалось, без всякой цели и направления. На какой-то станции дали горячего питья, и там мы впервые говорили с местными немцами, которые, впрочем, были явно не расположены посвящать кого-либо в обстоятельства своей жизни: мы находились в советской зоне оккупации.

До нас доходили слухи о том, что каждая оккупационная власть ввела в своей зоне общественные порядки своей страны, и что в западной зоне лучше обстоит дело со снабжением. Поэтому восточная зона изначально казалась нам менее привлекательной, чем западная, где мы надеялись начать новую жизнь в условиях демократического общества, как мы его понимали. Впрочем, понимали мы тогда мало, и о том, что такое демократия, большинство из нас знало лишь понаслышке. Решающее значение, как правило, имели рассказы о лучшем обеспечении на Западе. Однако для выезда туда требовалось доказать наличие там родственников. Обо всем этом мы узнали в Кирхмезере, где нас наконец, после пяти- или шестидневных странствий, выпустили из поезда и сдали в карантинный лагерь. Первое, чем он нас встретил и приветствовал, была тщательная



дезинсекция и еще более тщательная обработка порош-ком ДДТ нашей одежды после дезинсекционных печей. Раздраженные моей русской униформой, лагерные служащие высыпали на меня и на нее целых полбанки запрещенного впоследствии яда и не скрывали своего недовольствия тем, что немцу мог понравиться такой наряд – как будто у меня был выбор.

Каждую свободную минуту я, словно одержимый, занимался скрипкой. К тому времени я уже неплохо исполнял концерт для скрипки Макса Бруха и «Цыганские напевы» Сарасате и радовался при этом так, что ничего вокруг не замечал. Родители написали в Берлин своим знакомым и дальним родственникам, и вскоре там уже знали, что «Вики приехали».

Можно себе представить, что творилось со мною и с другими молодыми переселенцами, когда однажды в лагере начали проводить консультацию относительно выбора специальности и вообще будущего. Мужской контингент лагеря почти насильно собрали в одном из помещений, выход из которого перекрыли несколько служащих. Мы выслушали пропагандистский доклад о жизни в зоне советской оккупации и быстро сообразили, что нас вербуют на урановые рудники. Целый час нам говорили о райской жизни на рудниках и расписывали тамошние заработки, жилье и питание, а об условиях работы не сказали ни слова. Потом появились списки, в которые уже были впечатаны наши фамилии, выдали химические карандаши и потребовали расписаться. Никто не пожелал, и тогда нас попробовали заставить прослушать еще один доклад, а выход из помещения перекрыли. Увидев, что происходит, кенигсбергская молодежь в считанные секунды превратилась в разъяренную толпу, готовую на все.

Служащих, перекрывавших выход, мигом схватили за грудки и такими побоями им пригрозили, если не отойдут, что они не на шутку струхнули. После всего, что мы перенесли, терять нам было нечего, и глаза наши пылали таким гневом и решимостью, что служащие сдались, и мы беспрепятственно покинули помещение. Это был первый шок, ждавший нас в стране надежд. И не последний.

После этой истории я решил сбежать из лагеря, и очень скоро предоставилась удобная возможность. Игну, дочь маминой кухни Лотты Бет, покончившей жизнь самоубийством, некогда, как и мою сестру, во время переправили в Англию. После войны она вернулась в Берлин и теперь работала репортером на ДЕФА, единственной государственной киностудии ГДР. Снимали они и хронику для киножурналов, и, когда Игна узнала, что мы в Кирхмезере, она уговорила свое начальство снять для киножурнала репортаж о нашем лагере, акцентировав внимание на переселении «четыре известных музыкантов Виков». И вот в один прекрасный день для съемки на территорию лагеря прибыл грузовик с осветительной техникой, стремянками и камерами и легковой автомобиль с импозантными господами. И с кузиной Игной, естественно. После радостных приветствий и внимательного осмотра грузовика было решено, что я на нем уеду в Берлин, а уж там все как-нибудь устроится. Кинооператоры выразили готовность помочь.

Беспокоиться о родителях было уже не нужно: из-за возраста им не угрожали никакие осложнения, и по истечении трехнедельного карантина они без затруднений могли перебраться в Берлин. Иначе было с нами, людьми трудоспособного возраста: нельзя было быть уверенным в том, что нас не заставят взять на себя определенные обязательства, запретив выезд из

советской зоны и применив рафинированные методы давления.

Когда съемки закончились, я, улучив момент, незаметно взобрался на грузовик, и мы беспрепятственно покинули территорию лагеря и направились в сторону Берлина. С родителями я попрощался наскоро, полагая, что мы расстаемся ненадолго, однако по выходе из лагеря отец покинул нас навсегда. Его забрала к себе в Эльмсхорн бывшая ученица Герти, и отец исчез из моей жизни. Два или три моих приезда в Эльмсхорн, как и его посещения некоторых концертов с моим участием в Гамбурге уже ничего не меняли: мы стали чужими друг другу. Он развелся с мамой, женился в третий раз и, начав все сначала, прожил счастливо двадцать лет, которые считал наградой за мужество и выносливость. Умер отец легкой смертью в возрасте 88 лет. А маму ожидала мучительная кончина от рака – необъяснимое испытание после и без того тяжелой жизни.

Между прочим, потом в Берлине я видел тот лагерный кинорепортаж и с негодованием узнал, что историей моих родителей воспользовались для того, чтобы у зрителей создалось впечатление, будто из Восточной Пруссии эвакуируют и пожилых людей. Но мои родители были единственными в лагере, кому было за шестьдесят, и я готов свидетельствовать, что в 1948 году среди тех 15–20 процентов, кто остался в живых, почти не было маленьких детей и людей преклонного возраста. Мои родители составляли исключение.

Прибытие в Берлин стало долгожданным событием и поворотным моментом моей жизни, своего рода новым рождением. Наконец-то я получил возможность самостоятельно распоряжаться своею судьбой и действовать по собственному усмотрению. Только с этого времени я был волен предпринимать, что вздумается,

получать любую информацию, выносить любые суждения, решать, чему учиться и кем работать. А можно было и в другую страну уехать либо, как здесь говорили, «выучиться на берлинца».

## Берлин

Туземец Океании, неожиданно перенесенный в Сидней, или эскимос – в Нью-Йорк, вряд ли испытывают большее замешательство, смущение, растерянность, чем я – попавший в Берлин. Игна жила на одной из улочек, ответвляющихся от Курфюрстендамма, неподалеку от кинотеатра «Курбель», расположенного на звездообразном перекрестке в центре Западного Берлина. Уже в день моего прибытия она отвела меня к Эдуарду Кюннеке, композитору, сочинявшему для оперетт. Его жена состояла в дальнем родстве с моей матерью. Жили они на Зибель-штрассе в типичной берлинской квартире – с высокими потолками и парадным и служебным входом. Была здесь и огромная, разделявшаяся занавесом, комната для занятий музыкой. Госпожа Кюннеке, в прошлом звезда оперетты, до сих пор пользовалась большой известностью и была натурой чрезвычайно темпераментной и оригинальной. Осмотрев оробевшего родственника, она тут же вынесла приговор, который, надо признать, был справедлив: для начала этого полудикаря следует цивилизовать. Я ей понравился, и она распорядилась, чтобы вечером я сопровождал их с мужем, которому меня пока не представили, в кинотеатр. Она немедленно заказала билеты, и до вечера я был отпущен.

Еще Игна навела справки в еврейской общине и получила там важные советы, которые должны были помочь мне преодолеть ряд бюрократических препятствий. Я был словно в трансе: первый день на свободе,

в большом городе, и не нужно бояться ни Гитлера, ни Сталина – нет, все это сразу не укладывалось в голове. Я предпочел бы уединиться в тихом уголке и, погрузившись в себя, возблагодарить судьбу. Концерт духовной музыки куда лучше подошел бы моему тогдашнему душевному состоянию, чем запланированный поход в кино. Я был рад приглашению, но, будь это возможно, отклонил бы его. Как бы то ни было, в назначенный час я встретился с четюю Кюннеке и наконец увидел знаменитого композитора. Волнистые седые волосы, необычная наружность; в публике он выделялся так же, как берлинская радиобашня среди окружающих ее зданий. Итак, мы вместе отправились в Британский информационный центр посмотреть фильм «Двенадцать стульев». Берлинцы оборачивались нам вслед, потому что знали четю Кюннеке не хуже, чем своего бургомистра Ройтера.

В фильме я ничего не понял. Ни за ходом действия уследить, ни комизм ситуаций постичь я был не в состоянии. Смысл этой легкой, развлекательной истории до меня не доходил, к тому же госпожа Кюннеке так громко ее комментировала, что слышно было во всем зале, и порою ей уделяли больше внимания, чем фильму. А поскольку я сидел рядом с ней, то смотрели и на меня, отчего я чувствовал себя крайне неуютно. И без того я был близок к утрате собственного «я» и нуждался в пересмотре своего отношения к реальности. В таком состоянии мне было бы лучше куда-нибудь спрятаться.

Ночью, лежа на надувном матрасе, я испытывал непривычное чувство собственной неполноценности и пытался осмыслить свои эмоции и ощущения вместе с обрушившимися на меня впечатлениями большого города и привести их в гармонию со своим внутренним миром, который до сих пор формировался под влия-

нием совершенно иных переживаний. Мои жизненные ориентиры складывались на протяжении всего кенигсбергского периода и не могли измениться за день. И вновь я находил поддержку в своей скрипке. В том состоянии душевного смятения она была мне опорой, поскольку помогала понять, что действительно важно, и позволяла выразить себя. Я играл, как только у меня появлялось время, и лишь играя чувствовал себя по-настоящему счастливым от обретенной наконец свободы. И как нуждался я в этом ощущении!

Меня призывали вступить в различные организации, например в Союз преследовавшихся нацистским режимом. Только состоя в его рядах, я мог время от времени получать гуманитарную помощь от американцев в виде консервов и одежды. Я делал все, что мне советовали, и впервые за три послевоенных года ощутил пользу от того, что преследовался режимом.

Посещение синагоги на Фазанен-штрассе вызвало противоречивые чувства. Атмосфера не имела ничего общего с тем Богом, к которому я оказался особенно близок в концлагере. Мои обращения к Богу уже не нуждались в звучных песнопениях кантора или ином посредничестве, однако эти звуки всякий раз будили грустные, щемящие воспоминания.

На американском складе одежды мне выдали темно-зеленое нижнее армейское белье слишком большого размера, несколько рубашек кричащей расцветки и отличный шерстяной пиджак. Служащий склада спросил меня, откуда я и чем намерен заняться. Я немного рассказал о невзгодах русской оккупации, и он дал мне адрес, по которому следовало обратиться со ссылкой на него: там помогут. По этому адресу я нашел отдел кадров американской контрразведки. Он, вероятно, решил, что я для них подходящая фигура в силу моего прошлого. Но он жестоко заблуждался. Я возмутился,

когда понял, о чем идет речь, и постарался внятно дать понять, что испытываю солидарность с русскими, тяжело пострадавшими от презиравшего их Гитлера, и никому не удастся привить мне ненависть к ним и использовать меня им во вред.

Немного позже я узнал, что и Союз преследовавшихся нацистским режимом способствует обострению политической конфронтации, поскольку уже с 1945 года им руководят коммунисты. Я немедленно написал пламенное письмо председателю, в котором заявил о своем выходе из Союза. Это было осенью 1948 года. Едва приехав в Берлин, я почувствовал усиление вражды между русскими и американцами, и не прошло двух месяцев, как кризисная ситуация привела к недоброй памяти «перекрытию всех каналов снабжения» – исторической блокаде Берлина. Беспримерные усилия союзников позволили воспрепятствовать плану русских: «воздушный мост» спас Западный Берлин и, естественно, меня от перспективы оказаться во власти русских.

Но еще до того, как американская и английская авиации наладили бесперебойную доставку продуктов питания и берлинцы вышли на Шенебергер Ратхаус-плац, чтобы заявить о своем протесте против русской агрессии, я подал заявление в консерваторию им. Штерна. В то время она еще была отделена от Высшего музыкального училища. К сожалению, семестр (или триместр) в обоих учебных заведениях уже давно начался. Но директором консерватории был бывший кенигсбержец, профессор Хейнц Тиссен, хорошо знавший моих родителей, и меня допустили к приемной процедуре в обход установленных правил. Тем самым я наконец получил и вождеденное официальное разрешение на жительство в Западном Берлине, где до сих пор находился нелегально. На вступительном экзамене мне аккомпанировал на фортепьяно сам профессор Тиссен. Я



исполнил первую и вторую части концерта для скрипки Бруха и был зачислен в класс профессора Лессмана, чрезвычайно одаренного скрипача, которому, однако, несколько недоставало исполнительского мастерства. На летний семестр я подал заявление в Высшее музыкальное училище, которое пользовалось лучшей репутацией, и после успешного вступительного экзамена попал в класс Руди Шульца, которым восхищался еще с кенигсбергских времен, когда тайком, надев наушники, слушал его концерты по радио. Словно вновь высшие силы вмешались в мою судьбу.

Тем временем в Берлин приехала мама и, обнаружив, что здесь довольно много кенигсбержцев, вступила с ними в контакт. Пока она остановилась у Кюннеке, предоставивших ей комнату. Жилые помещения тогда отапливали при помощи небольших временных печек: их устанавливали всюду, где раньше было центральное отопление, а трубу попросту выводили наружу через пробитое в стене отверстие. По всему Берлину тогда торчали из стен эти трубы. Мама топила печку брикетами угля; их выдавали по карточкам.

А я переехал к другим знакомым – Вайзе, жившим на Брайтенбах-плац 12 и принявшим меня, как родного. Госпожа Вайзе, урожденная Ева Штерн, была дочерью известного в Кенигсберге врача, который покончил с собою, узнав о предстоящей депортации. Хозяина, Паульхена Вайзе, часто принимали за дирижера Вильгельма Фуртвенглера, благодаря значительному внешнему сходству. Их семнадцатилетняя дочь Андреа была очень мила, но у нее имелся постоянный кавалер, так что наши с нею отношения носили ничем не осложненный родственный характер. В этой семье я провел прекрасный период своей жизни: юность, учеба, духовное созревание. Конечно, «прекрасный» не исчерпывающее определение: мне постоянно приходилось не только усваивать

новое, но и наверстывать упущенное; недостаток общего образования, понимания современных реалий, политики и связанных с нею идеологических проблем побуждал меня много читать, беседовать, консультироваться. В то время в американском секторе Берлина выходила очень хорошая газета «Нойе Цайтунг», с которой сотрудничали весьма квалифицированные авторы, и столь же высокого уровня был иллюстрированный журнал «Монат». В них обсуждались вопросы прошлого и предпринимались попытки разобраться в настоящем, и оба издания сильно повлияли на мое мировоззрение. К сожалению, позже они закрылись.

Для большинства главным было восстановление разрушенного. За дело взялись энергично, трудились исключительно усердно, но при этом многое оказалось оттесненным на второй план. Меня же с неослабевающей силой волновали феномены национал-социализма и антисемитизма. Слишком многие вопросы оставались открытыми. Увлёкся я и «Этикой» Спинозы и с тех пор считал себя спинозианцем. Идеи этого философа решающим образом повлияли на формирование моих представлений о Боге и человеке. Вот как Спиноза говорит о Боге в четырнадцатой и пятнадцатой теоремах первой части «Этики»: «Никакой иной, кроме Бога, субстанции не может существовать и не может мыслиться» и «Все, что существует, существует в Боге, и ничто не может ни существовать без Бога, ни быть понятым без него». Или взять сорок третью теорему третьей части: «Ненависть усиливается ответной ненавистью, а любовью можно ее истребить». Как это верно! Здесь я находил ответы на некоторые занимавшие меня вопросы. Важным представлялось и сделанное в пятой части «Этики» утверждение, что каждый, благодаря познанию, может придать силу и решительность внутренне присущему ему рассудку.

По сравнению с другими студентами мне нужно было очень многое наверстывать, и я занимался скрипкой по десять часов в день. Сейчас я понимаю, что огромное количество времени было потрачено не совсем рационально, но своей энергией, старанием и целеустремленностью я хотел доказать, что достоин участи «уцелевшего». Впрочем, многие были настроены так же.

Семья шурина пригласила нас с мамой в Эдинбург. При долгожданном свидании с Мириам, ее мужем и племянницей Барбарой оказалось, что мы с сестрой – очень разные люди. Много лет спустя, когда мы стали лучше понимать друг друга, Мириам рассказала, что мои письма казались ей очень странными и вызывали у нее беспокойство и страх перед нашей встречей. По-видимому, в них ирреальные представления о ее жизни в свободной Англии были перемешаны с совершенно для нее непонятными намеками на жизнь в русской оккупации. А потом встретились два родных человека, прошедшие десять лет настолько по-разному, что даже огромное сходство в их внешности, манерах, жестикуляции не смогло стать мостиком через возникшую пропасть.

Муж Мириам, Ханс, математик и сын венских эмигрантов, вращался в кругу почтенных шотландских евреев, строй мыслей и чувств которых до такой степени отличался от моего, что я, несмотря на все их радушие, чувствовал себя здесь ужасно неуютно. Развлечения, посещения ресторанов, прогулки по городу, осмотры замков, разговоры и шутки только раздражали меня, казались праздным занятием, непростительной тратой драгоценного времени. Я то и дело убегал в гараж, где мог играть на скрипке, сколько угодно. А важнее этого для меня ничего на свете не было.

Внутренняя жизнь – сестры и моя – была наполнены

столь разными образами, ощущениями, переживаниями и привычками, что, едва почувствовав, насколько сложно нам будет понять друг друга, мы заранее смирились с непониманием, как с неизбежностью. Я не имел ни малейшего представления о том, что пришлось испытать сестре, с тринадцати лет жившей на чужбине, каково ей было сначала в колледже, затем в Эдинбурге, когда любовь к Хансу ввела ее, словно Золушку, в среду благополучных еврейских эмигрантов, каково ей было от постоянной необходимости приспособливаться к чужому образу жизни и мышления. А ведь ее чувство собственного достоинства должно было страдать от вечного сознания своей бедности и зависимого положения. Когда же наконец повезло с учебой и пришел успех (дирижер сэра Джон Барбиероли хотел взять ее в свой знаменитый «Халле-оркестр»), она забеременела. Выстраданные мечты о самостоятельности, музыке и свободе потерпели крах; началась жизнь для детей и мужа, медленно делающего научную карьеру. Мы с нею тогда и не сообразили, что, поскольку и ее, и меня музыка и скрипка всегда выручали в минуты отчаяния, именно это могло бы нам помочь найти общий язык.

Раньше, чем было намечено, я отправился в Берлин, чем, несомненно, обидел родителей Ханса, оплативших мою дорогу и пребывание. Сейчас мне стыдно, что лишь много лет спустя я смог понять, как жилось сестре. Мое непонимание длилось ровно столько же, сколько мне самому понадобилось для того, чтобы научиться смотреть со стороны на собственную жизнь.

Союзники прорвали русскую блокаду Берлина. Мы специально ездили в аэропорт Темпельхоф, чтобы посмотреть, как один за другим садятся транспортные самолеты, обеспечивавшие город необходимыми продуктами питания и иными грузами. Имелись случаи и поставки испорченного продовольствия – вероятно,

залежавшегося на складе. Но все это не мешало наслаждаться жизнью. Лишь растущая робость все сильнее затрудняла мое общение с другими людьми. В гостях мне не удавалось вести себя просто и непринужденно, это стесняло присутствующих, так что я стал отказываться от приглашений, заполнять все свое время скрипкой и превращаться в чудака. Больше всего меня донимал бес саморефлексии, возникший из постоянного беспокойства о том, что подумают другие.

Но, как уже часто случалось в моей жизни, в нужный момент произошло нужное событие. Дочку моих хозяев навестила школьная подруга – Хильдегард. Я влюбился и, благодаря ее нежности, чуткости и уму, начал мало-помалу превращаться из чудака в человека «хоть к чему-то пригодного». В 1950 году мы поженились.

## Больная память

### Часть первая

Любимое занятие стало профессией. Родились дети. Рядом были друзья. Все ужасы, казалось бы, остались в прошлом. Но забыть о них никак не удавалось.

Почему меня всегда так раздражало, когда, опаздывая на метро, я натыкался на вооруженного компостером служащего в будке – были тогда еще и такие. Я был уверен, что он специально затягивает компостирование моего билета до тех пор, пока не убеждается в том, что мне не успеть на поезд. Не в силах сдержаться, я обзывал его «концлагерным охранником» и «проклятым нацистом». И то же однажды имело место в учреждении, чиновник которого усомнился в сообщенных мною сведениях на том основании, что я неправильно назвал дату постановления о ношении еврейской звезды.

А одному из знакомых, кажется, доставляло удовольствие из юношеского озорства бередить мои раны. Он заявлял что-нибудь вроде: «Икс, сам будучи евреем, утверждает, что евреи сами виноваты в том, что их ненавидят. Что скажешь?» Или: «Игрек, социал-демократ, сказал, что Гитлера вынудили действовать Версальский договор, безработица и еврейское засилье». Или: «Жестокость русских и бесчеловечность американских и британских бомбардировок мирного населения – одного порядка». После подобных ошеломляющих заявлений он наслаждался моей неспособностью опровергнуть их двумя фразами. Он и представить себе не мог, как меня это мучило.

Конечно, зло нельзя искоренить злом, как черное нельзя закрасить черным. Но Гитлера можно было одолеть только силой, и не враги, а именно мания величия, возникшая из упоения властью, заставила его действовать так, как он действовал. Никто не станет отрицать, что и евреи люди. Но меня они выпестовали и окружали. Это были мои родственники, школьные друзья и учителя. Добрые, в высшей степени порядочные, трудолюбивые. И их подвергли жестокой «выбравке». Увы, я был не в состоянии вернуть их к жизни и предъявить тем, кто никогда не был знаком с евреями. И потому невыносимо было слушать, будто эти несчастные отчасти сами повинны в случившемся с ними. Я бледнел и начинал заикаться. Вместо того, чтобы постепенно избавляться от груза прошлого, я вынужден был сперва доказать, собрав факты и аргументы, что зло вообще имело место. К тому же каждый хотел, чтобы именно я признал его непричастность, подтвердил его невиновность. И оказалось, что у людей самоуверенных способность представлять себя в выгодном свете поистине безгранична.

Готовность к сочувствию и состраданию проявлялась, как правило, только в отношении себя самих. Ведь большинство тоже понесло тяжелые потери, тоже многим пожертвовало. Что тут было причиной, а что следствием, теперь не играло никакой роли. Жертва была жертвой, страдание – страданием. Все убивали друг друга и, стало быть, квиты. Баста. И такой была самая мягкая форма нежелания понять. Во избежание душевных травм я иной раз скрывал свое еврейство. Но, поступая так, испытывал ощущение вины. Не описать, какое чувство горечи я испытывал неделями, стоило мне – в силу обстоятельств, нехватки решимости, сил, времени – промолчать там, где следовало высказаться, мгновенно заявить протест.

Все чаще возникало желание уехать за границу. Наконец в 1956 году я съездил в Израиль – один. Хотел осмотреться и решить, способна ли эта страна стать родиной для меня и моей семьи. Но это было невозможно. Нетерпимость ортодоксальных евреев сделала бы жизнь моей жены-христианки и наших детей похожей на жизнь евреев в других странах мира. Это молодое государство хотело быть еврейским. Достаточно хлопот доставляло ему уже арабское население. И вопрос о переселении в Израиль для нас отпал.

В нашем домике было уютно и зимой тепло. А осенью вокруг самодельной террасы даже рос виноград. Моя работа меня удовлетворяла; я играл с полной отдачей и зачастую испытывая глубокое волнение. Всего нам, в общем-то, хватало, и желать было нечего. Но вдруг накатывало и не отпускало. Из-за ночных кошмаров я, останавливаясь на гастролях в отеле, стал бояться криками или разговорами во сне нарушить покой коллег и выдать им свои тревоги.

А ведь тогда в концлагере, мечтая о свежем воздухе и копченой рыбе как о высшем счастье, я дал обет быть вечно благодарным и нетребовательным, если выживу. Как с этим соотносилась моя теперешняя жизнь? Означала ли ее новая стадия, что старые обеты недействительны? Что право моих школьных друзей на справедливость и реабилитацию хоть в какой-то форме можно больше не учитывать, раз они мертвы? Был ли призыв оставаться верным иудаизму лишь традиционным напутствием раввина? Был ли плач общины при виде пустых мест в синагоге не более чем сценой из некоей фантастической трагедии? Нет, ничего из этого мне не дано забыть. Но все это исключительно мои личные раны, у других есть свои – кто знает, может, еще глубже. Так что не будем постоянно терзать друг друга. Хорошо, но где же мне – только для себя самого



– провести границу так, чтобы не отречься от себя и от погибших? До Лоренца и Глобке? Или еще дальше – до Эйхмана и Гимmlера? Или даже Гитлера? Или уже не проводить ее вовсе? Считая, что все заслужили примирение, прощение, новую жизнь, в том числе убийцы с их сообщниками?

## Разговор

Наверное, никогда мне не избавиться от волнения и сердцебиения, лишь заходит речь о «евреях». В чем причина: в опасении опять натолкнуться на ненависть и презрение? в надежде встретить понимание и свободу от предрассудков? А о «евреях» говорили часто. «Евреи» были такими-то и такими-то, поступали так-то или так-то, хотели того или этого – для говорящего о них подобным образом они являли собою нечто фундаментально иное. Нечто, что отличало их от прочих не только верой (ей эмансипированные евреи и так не придавали слишком большого значения). Но если их изначально считали чем-то иным, то что же иное в них видели? Стоило мне начать критиковать подобный подход, как на меня смотрели сочувственно, словно хотели сказать: «Ах да, ты ведь тоже один из «них»».

Но были друзья и множество молодых людей, искренне пытавшихся сделать мир терпимей и добрей. Общение с ними было для меня очень важным. При наших первых послевоенных встречах мы сидели на ящиках, потому что денег на мебель не было. Пеленки детей мы в то время стирали вручную. Восстановление хозяйственной жизни шло медленно. Товары производились волнообразно, в прямой зависимости от спроса. Так, до «волны» радиоприемников, стиральных машин и холодильников дело еще не дошло, тем более до «волны» телевизоров. Зато мы любили ходить друг к другу в гости и живо, а порой и с незаурядной

эрудицией спорили на всевозможные темы. Один из таких разговоров мне хотелось бы воспроизвести в общих чертах, хотя я и отдаю себе отчет в том, что краткие дискуссии об антисемитизме не в состоянии исчерпать сложной темы.

Ф.: Враждебность беспричинной не бывает!

М.: Ты имеешь в виду антисемитизм?

Ф.: И его тоже.

З.: Несомненно, во всяком случае, что враждебность не преодолеть, не поняв ее причин.

К.: Но иногда враждебность бывает вызвана целым комплексом причин, многие из которых кроются в подсознании и уже потому не поддаются трезвому анализу, что факт их существования не осознан.

М.: Я уверен, что человек в состоянии разобраться в своих враждебных чувствах и понять их побудительные причины, если он по-настоящему хочет этого.

Ф.: Вот пусть М. и попробует объяснить антисемитизм.

Г.: Однако опуская примитивные мотивы вроде «Христа распяли», «во всем виноваты», «умеют колдовать» и т. п.

К.: Почему примитивные? Разве религиозные мотивы примитивны? Ничто не влияет на сознание верующих сильнее их религии.

М.: Религиозные мотивы, конечно же, главная причина. Своего апогея христианские нападки на евреев достигли на третьем и четвертом Латеранских соборах при папах Александре III и Иннокентии III. Евреев обвинили в связях с еретиками и издали ряд дискриминационных законов. В те времена светская власть папства была велика, как никогда, в борьбе с ним даже империя Гогенштауфенов потерпела поражение. Нетерпимость сделали государственной доктриной, а любовь к ближ-

нему, составляющую сущность христианства, принесли в жертву жажде власти. Христианам запретили принимать евреев на службу, работать и проживать у них. Евреев удалили со всех официальных должностей и заставили носить отличительные знаки или особые, высокие, издалека заметные, шляпы. С той поры евреи, согласно государственной доктрине, сделались бесправными аутсайдерами, каковой статус в той или иной степени сохраняли вплоть до нашего века. А ведь каждому известно, как легко сделать из аутсайдера козла отпущения.

К.: Нацистов страшно раздражало еврейское происхождение христианской религии и христианской культуры, но попытки Гитлера избавиться от ненавистного еврейского наследия с помощью Освенцима, борьбы с христианством и возрождения германского культа не удалась и в конечном итоге только укрепили как христианство, так и намерение евреев создать собственное государство.

Ф.: А как обстояло дело до возникновения христианства?

М.: Язычники, если это не мешало отправлению их культов, терпимо относились к чужим. Евреи, к сожалению, в античные времена веротерпимости не проявляли: Яхве был «ревнивым» богом, и евреям запрещалось воздавать какие бы то ни было почести иным богам или царям. Об этом довольно четко сказано во Второзаконии [17: 2–7].

Ф.: Достаточное основание для антииудаизма тогдашних неиудеев.

З.: Всеми этими историческими сведениями можно было бы объяснить прошлое. Но сегодня у церкви нет прежнего влияния, и в большинстве стран евреи являются полноправными гражданами. Однако можно ведь говорить о нерелигиозном антисемитизме.

М.: Он возникает, как правило, от страха и зависти: страха перед новыми идеями и изменениями, которые они несут (Маркс, Фрейд, Шенберг, Эйнштейн), и зависти к людям, которые кажутся более удачливыми и менее зависимыми от имеющихся конвенций.

Г.: Существуют не только русские, американские, немецкие и йеменские евреи, но и, если даже оставить в стороне все разнообразие индивидуальных характеров, евреи ортодоксальные и свободомыслящие, богатые и бедные, умные и примитивные. Нельзя игнорировать и того факта, что евреи спорили и ожесточенно боролись друг с другом: ортодоксы, либералы, свободомыслящие, агностики. А кроме того, польские евреи свысока смотрели на литовских, русские на польских, а немецкие на русских. Так что прежде чем искать рациональные объяснения для нерелигиозного антисемитизма, следовало бы выделить общие признаки, отличающие евреев от неевреев.

Ф.: Я утверждаю, что существует некая еврейская солидарность, наподобие той, что объединяет членов секты или клуба. Солидарность людей перед лицом общей опасности, которая знакома им по прошлому опыту и которой они стараются избежать в будущем. Они приучены мыслить рационально, что порой позволяет им приспособливаться к ситуации лучше других. Америка, страна равных возможностей для всех переселенцев, служит убедительным тому доказательством. Кроме того, у евреев часто встречаются комплексы, присущие всем меньшинствам. Список велик: от непомерного тщеславия до чрезмерной обидчивости.

З.: Есть ли возражения?

К.: В целом это верно лишь применительно к меньшинствам, а стало быть, не касается тех, кто живет в Палестине (израильтян).

М.: ...и может считаться лишь общей оценкой.

К.: А почему именно евреи научились мыслить рационально?

Г.: Потому что народ, который в продолжении нескольких тысячелетий подвергается угрозе уничтожения, не может позволить себе неверно оценивать действительность, не расплачиваясь за это – часто жизнями. Должны же были евреи пытаться хоть как-то себя защитить, и единственными козырями, которые они могли пускать в ход, стали знания и, пожалуй, деньги. Среди евреев неграмотных не было, так как обряд бар-мицвы для подростков тринадцати лет включает в себя чтение вслух из Торы.

З.: Не являются ли деньги и знания часто компенсацией, средством для достижения большей безопасности и веса в обществе?

К.: Да! Но в этой связи нельзя забывать о многих профессиональных ограничениях, которым вынуждены были подчиняться евреи.

М.: Т.е. на людей накладывает отпечаток та среда, в которой они живут: социальная ли, этническая, религиозная, расовая и т. д.; но и люди влияют на формирующую их среду. При этом взаимодействие причин и следствий бесконечно.

Ф.: Но разве не могли бы и меньшинства принять на себя часть ответственности за свою судьбу?

М.: К бесконечному взаимодействию причин и следствий добавляется такой важный для человеческих отношений фактор, как сила или бессилие. По степени влияния на поведение я ставлю его на первое место. Меньшинства, как правило, более слабы и, соответственно, беззащитны (если оставить в стороне некоторые типичные для колоний исключения, вроде южноафриканского), так что более сильный, более могущественный всегда несет ответственность за благополучие зависящих от него, как это имеет место в

политике или на предприятии. Сила и бессилие занимают особое место среди побудительных причин поведения и потому могут быть рассмотрены отдельно.

К.: Ты хочешь сказать, что вина всегда ложится лишь на облеченного властью?

М.: Да, поскольку тяжелая, большая вина есть, как правило, следствие злоупотребления властью, а лицо, находящееся у власти, обладает большей свободой действий, как, например, папа Иннокентий III и Гитлер в отношении евреев.

Ф.: Но ведь сказанное вовсе не исключает того, что антисемитские реакции провоцировались вышеназванными особенностями еврейского характера.

М.: Даже если евреи и кажутся порой более одаренными, более богатыми и восприимчивыми, исповедуют иную веру и помогают друг другу, эти особенности нельзя назвать действительно негативными. Юдофобы выдумали еврейскую злокозненность или возвели исключения в правило, полагая, видимо, что раз они испытывают ненависть, то должны же на то иметься причины. Но статистика и иные исследования показывают, что все обвинения нацистов были необоснованными. Временами уровень преступности среди евреев был по различным видам преступлений до пяти раз ниже, чем среди немцев. Впрочем, этими цифрами ничего не докажешь. По поводу подобных статистических исследований Теодор Герцль, автор «Еврейского государства» и один из основоположников сионизма, сказал: «Такие труды, как и некоторые иные „оборонительные меры“, основаны на заблуждении, будто антисемитизм можно опровергнуть разумными доводами. Но нас, похоже, в равной мере ненавидят за достоинства и за недостатки».

З.: Согласно нацистской идеологии, арийцы представляют собой высшую расу, а все остальные расы,

особенно евреи, которые, помимо прочего, даже не являются единой расой, неполноценны. Настолько неполноценны, что или заслуживают «выбраковки», или, как славяне, пригодны в качестве послушных рабов. Национал-социализм с его идеологией расизма оказался одним из наиболее уродливых – по тяжести последствий – порождений человеческого интеллекта.

М.: ...и доказательством того, что во власти мании величия люди превращаются в безжалостных чудовищ.

Ф.: Я бы хотел знать, можно ли считать приведенные аргументы достаточными для объяснения ненависти, лежащей в основе невероятных событий нацистской эпохи?

К.: Нет и еще раз нет!

Ф.: Значит, наша попытка найти объяснение не удалась.

М.: Мы хотели исследовать причины враждебности. Но если это чувство с помощью демагогии, религиозной или политической, раздувают до размеров ненависти, то мы попадаем в сферу иррационального и безумного. А иррациональное и безумное не поддаются логическим объяснениям.

З.: ...что, как мне кажется, и подводит итог нашему разговору.

Конечно, такие разговоры не давали исчерпывающих ответов, но они помогали достичь большей ясности по тому или иному вопросу и понять, как глубоко могут корениться причины того или иного явления.



## Больная память

### Часть вторая

О, эти вечные «с одной стороны» и «с другой стороны»! Знакомимся с очень приятным человеком, и вдруг в разговоре проскальзывает упоминание о его воинской службе в казармах Берлина-Лихтерфельде. И я сейчас же задумываюсь, не те ли это эсэсовские казармы, в которых сотнями расстреливали противников Гитлера.

Во время визита к кузине Доротее прошу ее рассказать о встречах с Гитлером. На помпезные приемы, устраиваемые партийными вождями, приглашались знаменитости из сферы искусства, а Доротея была одной из звезд «Универсум фильм». Гитлер выразил пожелание или отдал распоряжение сажать ее рядом с собою, каковая сомнительная честь была ей оказана ввиду того, что Гитлера, считает кузина, привлекала естественность и простота ее поведения. Темы их бесед глубиной не отличались: главным образом, обсуждались проблемы и недостатки известных личностей, которые вместе с анонимностью утратили способность вести себя свободно и непринужденно. По словам кузины, Гитлер был очень обаятельным!

Тесть рассказывал и не раз, что советовал еврейским ученым эмигрировать, пока не поздно. Но ведь, в частности, концерну, в котором он тогда работал, Гитлер был обязан своими успехами и свободой действий. Рассказывал он мне и о впечатлениях от концлагеря Бухенвальд – не от эсэсовского, большинство узников которого не уцелело, а от сохраненного русскими: тесть

организовывал там лекции и богослужения и свидетельствовал, что новым узникам тоже приходилось нелегко.

Список этих «с одной стороны» и «с другой стороны» можно было бы продолжать бесконечно. Я страдал, выслушивая такие истории, но не подавал виду. Мне приходилось узнавать об офицерах, которые отказывались быть «слугами дьявола» – после того, естественно, как миновала фаза начальных побед. О бойцах Сопротивления, которые сперва голосовали за Гитлера, а потом, прозрев, попытались спасти то, что еще можно было спасти. О членах Гитлерюгенда и Союза немецких девушек, которые были сбиты с толку нацистской пропагандой, но во время войны отказались выполнять приказ и были казнены.

А вот где бы услышать что-нибудь вроде: «В то время я верил в то-то и то-то и делал, говорил, писал то-то и то-то, а потому я тоже повинен в том, что произошло, и теперь глубоко об этом сожалею. С учетом какого опыта я отныне обязуюсь бдительно следить, чтобы подобное никогда не повторилось. Я всегда буду указывать на смертельную опасность определенных социальных тенденций, которые в силу тех же закономерностей способны привести к похожим результатам, хотя и выглядят сегодня совершенно иначе». Наверняка, было немало таких, кто делал подобные заявления. Вот только мне они практически не встречались, а с какою радостью я бросился бы им на шею – хотя бы мысленно. Вместо этого я повсюду встречал другое: прошлое старательно затушевывалось, замалчивалось, приукрашивалось, извинялось и оправдывалось – до тех пор, пока большинство само не начинало верить в то, что все было совершенно иначе, чем на самом деле.

На решение уехать повлияло несколько причин. Стена, возведенная в 1961 году вокруг Западного Берлина,

была одной из них. Второй стало мое открытие Новой Зеландии во время азиатского концертного турне Берлинского камерного оркестра. Сказочная страна! Где еще увидишь столько первозданной природы! Кроме того, Оклендский университет предложил мне место преподавателя, что означало новые профессиональные задачи и ответственность за подготовку и образование молодых людей. Окленд – самый большой город Новой Зеландии. Повсюду море и великолепные пляжи. Прекрасный и разнообразный холмистый ландшафт с вулканическим плато и субтропической растительностью. Постоянно веет освежающий бриз.

И вот вместе с семьей я покинул предыдущую родину, твердо уверенный в том, что мы обретем лучшую. Под родиной в данном случае я понимаю человеческую и культурную среду, поскольку собственно родина – Восточная Пруссия – была потеряна безвозвратно. С борта большого парохода взгляды и мысли устремлялись к далекому, как будто вечно заново открывавшемуся горизонту, и однажды там возникла полоска земли, избранная в качестве новой родины. Но уже довольно скоро я начну отождествлять родину с родителями – их ведь тоже нельзя поменять по желанию. А через семь лет мы уже твердо знали: корни нашего бытия невозможно вырвать из немецкой почвы. Как необходимы они для всего нашего душевного склада, мы болезненно осознали на другом краю земли. И наши желания и побуждения уже мало что значили. Вдруг то, что питало эти корни, сделалось для нас важнее игры солнца на плодах южных деревьев, важнее пляжа позади дома. Казалось, все вокруг давало мне понять, что не любые ценности подлежат обмену. Несомненно, родина была из их числа.

Странно, что новозеландская коллега, с которой мы довольно успешно исполняли камерную музыку,

оказалась яркой антисемиткой. Не удавалось избавиться от ощущения, что и мой непосредственный начальник, глава факультета, тоже не свободен от подобных предрассудков. А ведь именно для того, чтобы ни с чем подобным никогда больше не сталкиваться, я и отправился на другой конец света. (Правда, антисемитизм этих двух англичан, переселившихся сюда после войны, вовсе не типичен для новозеландцев. Более отзывчивых людей, чем они, в мире не сыщешь. Удивительно только, что на подобные исключения именно мне всегда везло.)

Я давно предполагал, а после бегства в Новую Зеландию окончательно уверился в том, что люди – будь то политики или музыканты, немцы или новозеландцы, евреи или христиане, гонители или гонимые – пугающе похожи друг на друга, несмотря на различную наследственность, идеалы и традиции. Все мы способны на любые поступки, в том числе и на порожденные ненавистью. К этому следует добавить и мощные стереотипы поведения, ситуативные инстинкты, т. е. такие, которые проявляются только в определенных ситуациях – если человек, например, обладает неограниченной властью или, напротив, пребывает в полной зависимости от другого. Причем особенно опасно то, что боязливая покорность автоматически усиливает желание властвовать – и наоборот. Добрыми людей делает лишь способность разумно мыслить, способность силой благоразумия противодействовать роковым влечениям и тенденциям и осознано делать выбор в пользу любви. На эту дарованную человеку способность я и возлагаю все мои надежды.

Причины, по которым мы некогда покинули Германию, в Новой Зеландии померкли. Нет, и на расстоянии жестокость не перестала казаться менее жестокой. Но ведь жертвою я стал не только потому, что Гитлер

заклеймил меня «евреем», но и потому, что для Сталина я был «немцем». На протяжении ряда лет я разделял участь жителей Восточной Пруссии, и после всего, что произошло, мне тяжело чувствовать свою принадлежность к народу преступников и жертв одновременно. Но тот, кому, как мне, суждено убедиться, сколь стремительно вполне нормальные люди – да, собственно, все люди вообще – способны стать и преступниками, и жертвами, тот с ужасом угадывает сразу обе возможности в любом человеке, независимо от его рода и племени.

Было непросто принять решение вернуться, ведь музыкант многим рискует, если в сорок лет начинает все сначала. Да и детям моим предстояла повторная пересадка в иную почву. К тому времени Томасу исполнилось семнадцать, Мириам – шестнадцать, Давиду – тринадцать и Эмануэлю – девять.

## Отражения

Все мое дальнейшее существование озаряла радость – от жизни, музыки и других прекрасных вещей, и за это я от всего сердца благодарю Бога – кого же еще? Но многое и омрачало жизнь, многое заставляло вспомнить историю с лягушками: они мгновенно выпрыгивают, если их бросить в горячую воду, но мучительно гибнут, если воду нагревать постепенно. Ведь тогда они не сразу замечают опасность.

До каких пор мы будем отравлять мир химическими и радиоактивными веществами? Ведь ясно, что последствия необратимы. Почему так много молодежи собирается вокруг тех, кто, потрясая кулаками, требует большей «безопасности», «справедливых границ» и «Германии для немцев»? И что под этим подразумевается? Исправление границ силой? Принятие законов против меньшинств? Неужели уже позабыто, как высокими словами прикрывали преступные замыслы? Кричали «отечество!» – и нападали на соседей; требовали «немецкой самобытности» – и уничтожали культуру; превозносили «арийца» – и убивали миллионы.

Как похожи дороги, ведущие в ад, хотя обстоятельства и меняются неистощимо изобретательной природой. Одна группа людей выделяет по каким-то признакам другую и дает своей скрытой неприязни перерасти во враждебность и ненависть. Кто может чувствовать себя в безопасности, если новая катастрофа не происходит только потому, что слишком ужасно

имеющееся в наличии оружие? Есть ли основания для надежды? Да! Ведь существует же человеческий разум. И пока нам неведом конец, каждый может и обязан надеяться.

Если вчерашние враги, став сегодня друзьями, театрально трясут друг другу руку на фоне солдатских кладбищ, то это ни прошлой войны не отменит, ни новой не предотвратит. Предотвратить ее удастся в том случае, если потенциальные враги поспешат пожать друг другу руку – и не только перед телезрителями, в пропагандистских целях. Ведь и в повседневной жизни рукопожатие и отказ от рукоприкладства и злоупотребления властью являются единственным условием добрососедских отношений.

У лучшего друга Эмануэля скончался отец, и Эмануэль просит меня исполнить с ним на похоронах отрывок из концерта Моцарта для скрипки и альта. После службы в кладбищенской часовне десяток пожилых мужчин мрачного вида, неожиданно нацепив свои «рыцарские кресты», марширует перед гробом. Сколько жизней они загубили, эти соратники покойного, чтобы заслужить награды, которыми гордятся до сих пор?

Наблюдая вблизи дирижера Ч., можно было изучать поведение этого импульсивного и гениального эгоцентрика, а также зависимых от него людей. Своей властью, обретенной благодаря одаренности и силе воли, Ч. пользуется довольно бесцеремонно, вызывая одновременно страх и восхищение. Что всякий раз с пугающим постоянством обращает очень многих в покорных слуг и безропотных страдальцев и лишь очень немногих – в несгибаемых противников. Покорность же и безропотность, усиливая жажду власти, посте-

пенно превращают ее в пьянящее чувство собственной исключительности.

Снова концертное турне, и после посадки в Москве и нескольких часов полета мы видим внизу побережье и морской простор. Можно различить четкие, как на географической карте, очертания Куршской косы, и я трепещу от волнения. Мы летим над Кенигсбергом, и я мысленно возвращаюсь в прошлое: детство, страшные военные и послевоенные годы. На высоте десяти тысяч метров над Кенигсбергом мне начинает казаться, будто это моя душа, отделившись от тела, взирает на мою прошлую жизнь и судьбу. Там, внизу, я годами жил в нужде, а нынче с комфортом пролетаю над прошлым, словно и не было его. Я пробую вспомнить, не испытывал ли я тогда предчувствий моего будущего. Но ничего не приходит на память, хотя предчувствия опасности и бед, непосредственно угрожающих близким, у меня, несомненно, были.

Учителя дзена считают, что моменты сверхпознания нельзя зафиксировать: они суть молниеносные озарения, сохраняемые в памяти. Но я отчетливо чувствую их, хотя ощущение присутствия «потустороннего» всегда противится точным формулировкам. Нас постоянно дразнит нечто, скрытое за тем, что доступно восприятию, – так мне всегда хотелось думать. Звуками, красками или поэтическим словом поведать о «потустороннем» и есть, наверное, призвание всякого большого мастера. Но очень часто произведения искусства подобны простому зеркалу – тысячелетнему символу добросовестного воспроизведения видимой реальности. Отразить невидимое или добавить что-то свое зеркало не может.



Силу своей восприимчивости к «потустороннему» я испытал во время второго концертного турне по Израилю, на сей раз с Симфоническим оркестром штутгартского радио, куда я перешел к тому времени.

В Израиле, как обычно, стояла теплая и солнечная погода. До обеда у нас было свободное время, и я отправился к Стене плача в еврейской части старого Иерусалима. Внушительное сооружение из больших прямоугольных каменных глыб, с которыми не смогли ничего сделать ни века, ни человеческая страсть к разрушению, было свидетелем далекого прошлого, о котором мы, несмотря на Библию, знаем мало. На огороженной мощеной площадке перед голой стеной беспорядочно двигались одетые в черное мужчины. Некоторые молились, беспрестанно кланяясь согласно ритуалам, другие приходили и уходили; у отдельных выдвинутых вперед столиков совершались обряды. Была суббота, и несколько подростков проходили бармицву. По лицам тринадцатилетних было видно, что этот обряд приобщения к Богу они воспринимают как очень важное событие.

Неподалеку от меня стоял мальчик, очень похожий на меня, когда я был в том же возрасте, и читал свой отрывок из Торы. Свиток лежал на красивом покрывале из голубого бархата. Тесным кругом стояли раввин, кантор и, по-видимому, родственники и друзья. Все были закутаны в белые талесы. И тут это произошло: вопреки моей воле время потекло вспять, и иерусалимская реальность, благодаря этому трогательно серьезному мальчику, обернулась моим собственным кенигсбергским прошлым. Это я стоял сейчас перед Торой, и из глубин души на меня хлынул такой поток прежних чувств – радости, боли, сомнения, что я перестал владеть собою и залился слезами. Их горечь свидетельствовала о том, что мои раны не

затянулись, что им никогда не затянуться. И казалось, будто сквозь эти рыдания звучит громopodobный призыв: «Слушай, Михаэль: Господь Бог наш, Господь один есть!»

Рут Ауэрбах, в прошлом Улла Пик, и Тамар Пелед, в прошлом Ханнелоре Винтерфельд, устраивают в Израиле встречу бывших учеников кенигсбергской еврейской школы. Многие выехали в Палестину еще в середине тридцатых годов. От меня хотят услышать, каким был конец школы. Маленькая, уютная комнатка в кибуце Мааган-Михаэль до отказа заполнена людьми: девять бывших учеников, их жены и мужья. Мы начинаем вспоминать прошлое, и тут обнаруживается, что сейчас 9 апреля, 18 часов, т. е. тот же день и час, когда Лаш, комендант города-крепости Кенигсберг, подписал свою запоздалую капитуляцию. Иначе говоря, мы собрались в час гибели прусского Кенигсберга, нашей общей родины, которую мы и наши родители так любили.

Встреча чрезвычайно волнует меня, кажется невероятной. Она слишком коротка, чтобы узнать обо всем, что мне хотелось, и самому поведать о том, что интересовало остальных. И все же каждый рассказывает историю своего спасения, и нам удается поговорить обо всех, чьи имена мы еще помним. Встреча, состоявшаяся после сорока пяти – пятидесяти лет разлуки, это уже встреча «в конце пути», и она стала часом поминовения убитых родственников, друзей, учителей и школьных товарищей.

Разумеется, самое важное, самое главное в жизни это забота о будущем детей и внуков. Нельзя забывать, что мы и только мы отвечаем за то, в каких условиях им предстоит жить. Но чтобы быть достойными этой

высокой задачи, следует знать прошлое и бережно доносить до живых память об ушедших. Ей и посвящена настоящая книга.

## Приложения



## К седьмому немецкому изданию

Это никогда не должно повториться!

Каждый должен понять, что в эпоху существования невообразимо ужасного оружия массового уничтожения нужно сделать войну между отдельными нациями невозможной. «К вечному миру» – так более чем двести лет тому назад кенигсбергский философ Иммануил Кант назвал свое сочинение, в котором изложил концепцию будущего многонационального государства – главного шага на пути «к вечному миру». В этом государстве отдельным нациям надлежит вести себя подобно совершеннолетним гражданам федеративной республики. Создание такого многонационального государства – пока еще не поздно – я считаю наиважнейшей задачей ныне живущих.

Эпоха, когда война являлась продолжением политики иными средствами, должна безвозвратно уйти в прошлое. Следует отказаться от практики подготовки исполнительных солдат и, в частности, от прославления завоевательных войн, результатом которых были территориальные приращения, от чествования так называемых великих побед в жестоких битвах и от представления, что способность убивать есть мужская добродетель. Все приобретенное путем насилия и в ущерб другим народам всегда служит причиной для нового насилия, нового проявления ненависти.

Всеобщее взаимодействие ведет к миру, национальное противостояние к войне!



## Отзывы читателей

На предыдущие издания книги я получил более четырехсот волнующих отзывов, в которых порою описываются невероятные судьбы. Их авторы не могут спокойно вспоминать о перенесенных страданиях. Наивысшим злом они считают людскую ненависть, сумасшедших диктаторов и кровавые оргии войны. Некоторые дополнили мое свидетельство важными деталями. Откликнулись две мои одноклассницы, которых я уже не считал в живых. Получил я и подтверждения описанных мною депортаций из архива имперского министерства путей сообщения, а также копию секретного отчета штандартенфюрера СС Егера о казни. Имели место и телефонные звонки тех, кто собственными глазами видел «работу» убийц. Языку не под силу описать эти события, но еще труднее душе – их заново пережить. С тревогой наблюдаю, как воспоминания о них превращают в своего рода страшилку, которой средства массовой информации злоупотребляют в коммерческих целях. Тем самым общество лишается возможности вынести из прошлого важный урок.

На склоне лет понимаю, что мы, чего доброго, и без войны способны разрушить важнейшую основу нашего существования – природу. Большой ошибкой представляется мне и создание по-детски упрощенного образа Бога и самонадеянного образа человека. Нам приходится расплачиваться и за то, что, персонифицировав Бога («Отче наш, иже еси на небеси»), мы десакрализовали природу, и за то, что, объявив человека



богоподобным, сами себе помешали разглядеть в его натуре опасные, разрушительные тенденции во всей их полноте. Разумеется, есть в человеке и благотворное, созидательное начало. Но мы, люди, всего лишь крохотная, хотя, возможно, и нетленная, частичка некоего, пока еще непостижимого, чудесного целого – перед которым я благоговейно склоняюсь.

«Никакой иной, кроме Бога, субстанции не может существовать и не может мыслиться» (Бенедикт Спиноза).

Февраль 2001 года

## Письмо

1 сентября 1987 года

Дорогой Менахем, дорогая Шошана,

своей столь быстрой и спонтанной реакцией на рукопись моей книги вы доставили мне немалую радость, не знаю, как вас и благодарить. Признателен Шошане за комплименты, а также за все исправления и комментарии. Но больше всего меня порадовало то, что вы назвали мою книгу «реквиемом по небольшой, но прекрасной общине». Именно это я и хотел написать.

Однако Менахем задает некоторые вопросы относительно моего «самоопределения», на которые мне, признаюсь, ответить нелегко. Для этого мне вновь придется мысленно вернуться туда, откуда я давным-давно ушел. Ныне я считаю, что точное самоопределение есть своего рода духовная униформа. А униформы часто служат лишь для того, чтобы отличать друга от врага. Но моими врагами являются не определенные группы людей, а присушие всем людям деструктивные начала. (Далее я попытаюсь это пояснить.)

Ты спрашиваешь: «Кто он ныне, Михаэль, бежавший в 1948 году от Сталина: лишившийся корней житель Восточной Пруссии иудейского вероисповедания со всем тем, что повлек за собою этот статус в эпоху нацизма, или же еврей, обретший наконец свое истинное и окончательное „я“?» Жителем Восточной Пруссии, лишившимся корней, я был, вероятно, еще в Берлине.

Там я ощущал тоску по прекрасным восточнопрусским ландшафтам и морю. Но город Кенигсберг погиб. Под грудой развалин остались погребены катастрофы и трагедии, о которых я вспоминаю лишь с содроганием. Погребены и прекрасные воспоминания детства. После всего пережитого годы учебы в Берлине казались мне даром небес и вторым рождением. Как мы были благодарны судьбе за то, что уцелели! И благодарен я был все тому же, кого благодарил во времена тяжелых испытаний, а им уже давно был не один только Бог евреев. Признаю, что эпизод с бар-мицвой у иерусалимской Стены плача обнаружил мою глубинную связь с иудаизмом, но все же в мыслях я унесся далеко от предписанной набожности, обрядов и правил.

Правда, с тех пор как я научился мыслить, меня не перестает занимать мое еврейство. Но сейчас я думаю о нем меньше, чем прежде, поскольку, как уже говорил, считаю более важными другие вопросы. Например, не все ли люди (неважно, какой расы, национальности или вероисповедания) подвержены влиянию пагубных психических механизмов, запрограммированных – в чем нет сомнений – генетически. Механизмов, определяющих реакции и пагубно влияющих на чувства, мысли и действия не только в экстремальных ситуациях, как, например, в случае обладания большой властью или в ситуации, когда жизнь подвергается опасности. (Механизмов, которые, боюсь, в своем крайнем проявлении направлены против нашего же дальнейшего существования.) Слишком часто я был свидетелем того, сколь быстро людьми овладевает мания величия, с каким грубым эгоцентризмом они злоупотребляют властью, и как, напротив, другие люди, причем не только те, кому грозит непосредственная опасность, теряют всякую способность к сопротивлению, будучи парализованы страхом. Причем предрасположенность к такому по-

ведению у представителей обеих групп и вообще у людей имеет единое происхождение, хотя и выражается, естественно, у каждого по-своему. Во время штурма Кенигсберга меня как раз поразила такая быстрая смена манер поведения.

Создается впечатление, что существуют «ситуативные инстинкты», т. е. такие, которые проявляются в определенных ситуациях. Не успели измениться пропорции власти в результате победы русских, как гонители, бывшие только что господами, превратились в боязливых тварей, а гонимые, только что дрожавшие от страха, сделались беспощадными гонителями. Мне приходилось наблюдать, как нацисты после ареста становились жалкими и покорными попрошайками, а освобожденные поляки – злыми деспотами и гонителями немцев, неважно, были те нацистами или нет. Такое поведение можно было бы объяснить перенесенными страданиями, не будь я твердо уверен в том, что каждый в зависимости от ситуации подчиняется своим инстинктам и упомянутым выше психическим механизмам, если он осознанно не противостоит их действию. К сожалению, от запрограммированной готовности к ненависти и агрессии никуда не деться. Власть предержавшему всегда приходится иметь дело с опасностью мании величия, а человеку запуганному – с опасностью утраты воли. Иначе почему одни и те же сценарии повторяются в любой наугад выбранной группе людей?

Позволю себе сделать отступление. Я только что закончил чтение жизнеописания еврейского философа Теодора Лессинга, убитого нацистами в 1933 году, и получил наглядное представление о коварстве и безжалостности антисемитов двадцатых годов. Это потрясло меня столь сильно еще и потому, что ведь тогда все-таки существовала свобода мнений и правовые нормы

в общем и в целом соблюдались. Я совершенно возмущен масштабами подлости в так называемые мирные времена, ведь беспрецедентная, без права на защиту, травля евреев началась только при нацистах. Хочется задаться вопросом, а не является ли Германия страной самых плохих людей? Которые, словно особая порода собак, злее и кусачее других? Но в это я отказываюсь верить, потому что такое представление ничто иное как биологическая ерунда. Немцы – вообще не раса. Они – европейцы и такие же люди, как все. Разве не повсюду, где творится жестокость, мы наблюдаем злоупотребление властью?

Несомненно, жестокость нацистов достигла небывалых масштабов. Но пусть это не мешает нам, оставшимся в живых, видеть суть дела. Невероятно жестокими были и китайцы во время «культурной революции» – говорят о десяти миллионах замученных. А в России, при Сталине, по некоторым данным, было осуждено и убито около двадцати миллионов. Невероятно жестокими были американцы, когда сбрасывали атомные бомбы на мирное население, уничтожая, главным образом, женщин и детей, или когда они поливали напалмом Вьетнам. Невероятно жестокими были и изгнания евреев из Испании в XV веке, и междоусобные войны в Африке. Вроде, так недавно было все это: события тридцатых годов, Освенцим, две мировые войны, а до сих пор не исчезла зараза антисемитизма, ксенофобии, расизма и милитаризма. Нет, признаюсь, человеческая глупость кажется мне необоримой. Что можно ей противопоставить? Только просвещение и развитие критического мышления, отказ от демонизации и от идеализации кого бы то ни было, постоянную готовность к пониманию и примирению, ответственное – с учетом интересов будущих поколений и сохранности природы – поведение. К какой бы человеческой

группе мы ни принадлежали, с кем бы себя не отождествляли, все мы сидим в одной лодке, живем в одном хрупком мире, который мы не имеем права разрушать и который должны все вместе сохранять.

Дорогой Менахем, дорогая Шошана, мое еврейское сердце одинаково вздрагивает, когда в Песах звучит молитва: «Обрушь, Господи, гнев Твой на врагов наших!» и когда неонацисты скандируют: «Долой беженцев!» Горе нам, если Бог вздумает «обрушить» свой гнев – может быть, в виде отравляющих газов или атомных бомб – куда бы то ни было, и горе нам, если мы не будем готовы помочь нуждающимся. Ибо тогда сами скоро окажемся в таком же положении.

Отчего столь многим невдомек, что войны и месть ведут лишь к эскалации зла и хаосу, что они не решают ни одной проблемы и не ведут к примирению? (Этим я не хочу сказать, что никогда не надо защищаться.) Но прежде, чем требовать чего-то от других, я должен быть готов сделать это сам. Я говорю о готовности отдавать, делиться, идти навстречу, прощать тех, кто образумился и раскаялся. Ибо я глубоко убежден, что сам ничем не лучше других и, если хочу содействовать добру, должен много работать над собой.

Эти отступления показались мне необходимыми, чтобы ответить на ваш вопрос о моем самоопределении. Ведь наряду с ортодоксальным иудейским воспитанием я, как и вы, воспитывался на немецкой культуре. С той лишь разницей, что я, может быть, благодаря отцу-христианину, в то время больше воспринимал мир своей немецкой половиной, чем еврейской – проклятой нацистами. Хотя это, пожалуй, неверно, ведь моя мать ощущала себя немкой в той же мере, что и отец. И вот когда, считает Менахем, была достигнута критическая точка, а именно, когда стало можно не носить еврейскую звезду, в Кенигсберге, занятом рус-

скими, началась такая борьба за существование, что каждый превратился в хищника, сражающегося за пищу. Ты очень точно пишешь по этому поводу: «У меня создалось впечатление, что с этого переломного момента автор – еврей, которого русские не признали жертвой нацистского режима, – начинает все сильнее отождествлять себя со своим немецким окружением, причем в гораздо большей степени, чем того требовала необходимость обеспечить себе условия элементарного существования». Религиозные, национальные и прочие чувства немедленно уступили место голому инстинкту самосохранения. Чтобы представить себе подобное состояние, прибегну к сравнению с тонущим кораблем: можно ли ожидать, что кто-нибудь из его пассажиров, борющихся за жизнь, станет думать об извлечении уроков из прошлого или о национальных и религиозных различиях? Так было со мною, когда я снял еврейскую звезду. И я уже предугадываю ваш вопрос: «Но что было потом, когда ты достиг спасительного берега?» Сомнения в том, годен ли иудаизм в качестве личной веры, возникали у меня и прежде, а христианство, благодаря многочисленным юдофобам из христиан, чуть не отпугивало меня. Но должен признать, что и в моих глазах единственным гарантом мира был и останется так мало практиковавшийся тогда, как, впрочем, и всегда, постулат любви. Это наивысшая ценность, которой обладает человечество, и мы утратим себя, если утратим ее. Даже призыв «возлюбите врагов ваших» исполнен глубокого смысла – ведь как иначе разорвать порочный круг взаимной ненависти, агрессии и мести?

Да, Менахем, вновь оказавшись среди людей, подвергнутых лишениям и истязаниям и предназначенных к истреблению, я отождествил себя с ними. И теперь именно немцы не раз самоотверженно помо-

гали мне на пороге смерти, например в концлагере, и все мы были лишь тварями, боровшимися за жизнь, и уже ничем не отличались от любой другой твари земной. Вполне возможно, что тот, кто помогал мне, был раньше нацистом, – я его об этом не спрашивал. Ибо в каждом видел только жертву. Обманутую, послушную, страдающую и умирающую. Моя очередь спросить у тебя, у вас: было ли это предательством наших погибших?

Пусть я не настоящий иудей, не христианин или кто-то еще (а только спинозианец, быть может), все же я человек чувствующий и мыслящий, и это делает меня похожим на миллиарды других, роднит с ними. Роднит, как уже говорилось, роковыми склонностями, страстями, инстинктами, но в не меньшей степени и способностью радоваться жизни – несмотря ни на что. Самое же сильное родство я всегда ощущаю с теми, кто, как некогда и я, подвергается угнетению и гонениям, испытывает боль, страдал и страдает, терпит нужду. В их числе и преследовавшиеся евреи, и мирные немецкие жители во время русской оккупации, хотя здесь можно сказать, что их страдания явились закономерной расплатой за их манию величия и страшные преступления.

Теперь вы, может быть, понимаете, почему я считаю, что я не нуждаюсь в «самоопределении», в причислении меня к иудеям, или к христианам, или к какой-либо иной группе. Я определяю себя как человека среди людей, в более широком смысле – как живое существо среди живых существ, а в самом широком смысле – как крошечную частичку бесконечного, непостижимого целого.

Однако к подобным выводам я пришел лишь после того, как, покинув Германию, семь лет провел в Новой Зеландии, стремясь обрести новое отечество – и по-



напрасну. Были, разумеется, и важные приобретения: за это время мы стали одной семьей, каждый член которой заботился о благе и учитывал потребности других ее членов. (Это, однако, не извинение, даже если и звучит как таковое.)

Ты не ошибся, дорогой Менахем. В то время (как, впрочем, и теперь) я находил поддержку в музыке. Вместе с молодежью, потрясенной открывшимся ей прошлым, и многочисленными энтузиастами, желающими исправить его ошибки, я пытался, несмотря ни на что, заложить основы новой жизни. И этот начин выглядел многообещающим, ведь никакая другая страна не испытала столь явственно, к чему приводят ненависть, диктатура и расизм. Тогда мне казалось, что у Германии выработается стойкий, на столетия, иммунитет к развитию, чреватому катастрофой. При этом мы, конечно, полностью отдавали себе отчет в том, что виновные и их бывшие единомышленники лишь постепенно компенсируют нанесенный ущерб. Было ли мое поведение предательством по отношению к нашим родственникам и друзьям, безжалостно уничтоженным? Прошу вас, дайте мне на это прямой ответ – без «с одной стороны», «с другой стороны»! Да, особенности моего происхождения и воспитания не позволили мне обрести пристанище ни в одном из человеческих сообществ. Прежде мне его не хватало, а теперь я его и не ищу, отчего чувствую себя духовно более независимым. И вообще: не обретаем ли мы истинную защиту, истинный покой лишь с приходом неизбежной смерти?

Всего вам хорошего! С благодарностью, симпатией и сердечным приветом

Михаэль

## Путевой отчет

Напечатан в *Штутгартер Цайтунг* от 30.9.1992

Увиденное и пережитое во время посещения Калининграда (Кенигсберга) произвело на нас довольно тягостное впечатление. Я знал, что знаменитого древнего Кенигсберга, в котором прошло наше детство, больше нету. В конце концов, изгнанные отсюда после 1945 года покидали руины, на месте которых, казалось, нельзя возвести ничего. Ныне, по прошествии сорока семи лет, здесь стоит совершенно новый город – Калининград, который обеспечивает жилищные и жизненные условия 400 000 его жителей, хотя его дома и улицы очень нуждаются в ремонте. Это город, застроенный быстро и функционально в «социалистическом» стиле, распространенном в бывшем Советском Союзе и его государствах-сателлитах. Бездушные площади, на которых высятся памятники Ленину или Марксу, однообразные улицы и люди, одетые преимущественно в темное и вынужденные ежедневно рыскать в поисках продовольствия. Машины и автобусы, изношенные до такой степени, что удивляешься, как им удастся благополучно преодолевать ямы и выбоины. Непонятно, кто принимает решения и определяет происходящее в этом городе, нуждающемся в санации, и столь же неясна цель совместного труда его жителей.

Внушительный памятник Канту (заново отлитый по инициативе графини Денхофф) и расположенный напротив, на другой стороне университетской пло-

щади, бункер генерала Лаша (место подписания капитуляции 9 апреля 1945 года, он ныне является музеем) исполнены символического значения: первый словно воплощает высшую точку в истории города, второй – нижнюю точку падения. В 1758–1762 годах, когда русские занимали Кенигсберг, их офицеры слушали лекции Канта и изумлялись глубине и обширности его познаний. «Такой город, как Кенигсберг на реке Прегель, – писал философ, – можно признать подходящим местом для того, чтобы, не выезжая в чужие края, расширить свои представления как о мире, так и о человеческой натуре». Кенигсберг был вторым после Берлина центром распространения идей Просвещения и либерализма, и не только русские принимали в те годы участие в его культурной и духовной жизни.

Акт капитуляции, подписанный после бомбардировок и кровопролитного штурма комендантом Лашем (когда передовые части русских добрались до его бункера), знаменовал банкротство политических сил, которые годами разжигали в Германии ксенофобию, укрепляли дух высокомерия и имперские амбиции, готовили и в конце концов развязали войну. Но к памятнику Канту и на его могилу российские жители возлагают цветы, воздавая должное тому, кто разработал мудрое, полезное (и достойное куда большего к себе внимания) учение о мирном и свободном от предрассудков сосуществовании народов – речь идет о его основополагающем и актуальном трактате «К вечному миру».

Сегодня гостям Калининграда не стоит надеяться найти Кенигсберг. Как было кем-то замечено, Кенигсберг, к сожалению, не пережил последней войны. Увы, генералам, чиновникам, всему народу не посчастливилось избавиться от диктаторской клики, которая очевидным для всех образом проигрывала преступную

войну. А ведь будь заговор 20 июля успешным, война закончилась бы, Кенигсберг не превратился бы в груды руин, восточнопрусское население – в беженцев, и у русских не было бы оснований для аннексии края.

В Калининграде сохранились отдельные места и здания, напоминающие о прошлом, но эти реликты кенигсбергской жизни напоминают кладбищенские останки. Больше всего меня удивило то, что посреди полностью разрушенного города уцелело здание еврейского сиротского приюта, куда я, после того как в ноябре 1938 года варварски осквернили прекрасную большую синагогу либеральных евреев, ходил учиться и где знакомился, в частности, с произведениями Лессинга, Гете, Шиллера и Шекспира. А члены Гитлерюгенда бросались камнями и выводили «жид, сдохни!» на школьной стене. Мы, дети, не могли понять, почему столь многие взрослые немцы разжигали ненависть к нам, к соседним народам, ко всем инакомыслящим, но мы уже знали, что ненависть любого рода неизбежно выливается во вражду, бессердечность и уничтожение людей и всякий, кто разжигает ненависть к кому бы то ни было, несет ответственность за последствия. Трагический пример последствий этой ненависти являют сегодня гнетущие своей беспомощностью руины кафедрального собора.

Казалось бы, ошибки прошлого должны учить. Однако до чего неприятно вели себя наши ровесники и бывшие земляки, тоже решившие посетить отчизну. С немецкими марками в кармане они ко всему вокруг относились высокомерно, а антисемитское замечание, отпущенное по нашему адресу, обнаружило живучесть старых предрассудков. Некоторые из этих людей чувствовали себя помещиками, приехавшими проверить, как нанятый управляющий смотрит за их владениями. Понятно, что не так хорошо, как законный владелец, но

все-таки русским следовало бы делать это получше. У одной из бывших жительниц Восточной Пруссии даже вырвалось со вздохом, что только Гитлер мог бы справиться с этим хаосом. (Это слышала госпожа Ф., прилетевшая из Израиля с мужем, уроженцем Кенигсберга. Сама она родом из российского города, еврейское население которого, в том числе ее родителей, расстреляли, поставив на краю ямы. Ей и ее младшему брату удалось незаметно спрыгнуть туда, а ночью выбраться.) Итак, новый Гитлер должен помочь! Как если бы не Гитлеру мы обязаны разрушением и потерей Восточной Пруссии. Я все чаще с грустью, даже с отчаянием замечаю, что, несмотря на гибель пятидесяти миллионов в последней войне, т. е., казалось бы, совсем недавно, сегодня некоторые не в состоянии вспомнить, что стало причиной этой катастрофы.

Было бы несправедливым не отметить, что многие среди туристов ведут себя иначе: ищут контактов с местными жителями и бескорыстно им помогают. Так, госпожа профессор С. отправилась в сельскую местность с рюкзаком, наполненным предметами гуманитарной помощи, чтобы раздать их бедным и нуждающимся, которых там хватает и которых, как правило, забросила в Восточную Пруссию нелегкая судьба (если они там не родились). Никогда не забуду сердечных объятий женщины, живущей сейчас в нашей бывшей и теперь уже переделанной квартире и рассказавшей нам о своей судьбе и гибели отца и братьев. Она угощала нас яблоками и радушно предлагала остановиться у нее.

Калининградские писатели, пригласившие меня на встречу в дом своего союза, пребывали, как мне показалось, в нерешительности относительно того, что предпочтительней – работать с гарантированной оплатой, но подцензурно, или без гарантий оплаты и без

цензуры. Они рассказали мне о встречах с молодыми немцами, заявившими, что для них Восточная Пруссия не принадлежит России. После таких высказываний живущие там сегодня, естественно, чувствуют себя неуверенно и неудобно. А один из отставных офицеров, получающих жалкую пенсию, выступая по телевидению, горько, но предостерегающе заметил, что еще не научился обращаться с оружием. «На все требуется время», – сказал русский переводчик Максим, но не пояснил, что же за это время должно произойти.

В одном из интервью для местного телевидения меня спросили, что, на мой взгляд, нужно Калининграду, чтобы стать культурным городом, похожим на тот, каким некогда был Кенигсберг. Что можно было на это ответить? До тех пор, пока люди вынуждены тратить столько времени на поддержание собственного существования, ясно, что сил и времени на музыку, литературу и живопись будет не хватать. Так было всегда. И все-таки, когда мы исполняли Моцарта, Шумана, Бетховена и Сарасате, зал филармонии был полон. И все-таки детей учат в городской музыкальной школе, и в их способностях нельзя усомниться, даже если им приходится играть на скверных инструментах.

В сущности, я человек не избалованный, поэтому мне не слишком мешало то, что в гостинице «Калининград» протекала крыша, не работал лифт, время от времени отключали холодную воду, а горячую подавали лишь изредка. Но если такое положение сохраняется десятилетиями, несмотря на стремление его исправить, то, конечно, призадуматься, что же здесь не так. Ответ не вызовет затруднений у тех, кто привык смотреть за животными или растениями, – они знают: главное, чтобы условия ухода отвечали природе питомцев. Коммунистическое представление о людской природе было неверным, отчего и не работали общественные

структуры, выстроенные в соответствии с этим представлением. Недостижимость идеалов предопределила крах усилий.

Наше посещение тех мест, где прежде был Кенигсберг, напоминало иррациональное чередование сцен у Феллини. В ресторане гостиницы всего за три марки, а то и меньше подают несколько блюд, а у гостиницы попрошайничают дети, снуют уличные торговцы, зазывают проститутки, стоят такси. С утра я репетирую с русской пианисткой сонаты Шумана, Моцарта и Бетховена, а после обеда мы едем в бывший концлагерь Ротенштайн, где некогда истязали немецких гражданских лиц. Вечером слушаем трогательное пение еврейского детского хора, а сестра напоминает, что делали с такими милыми детьми полвека назад. Председатель местного фонда культуры Иванов рассказывает, что хорошо помнит, как в 1947 году на танцах я играл на скрипке, а он танцевал.

Вся эта смена настроений слишком стремительна, приспособиться к ней непросто, и только поездка на Куршскую косу позволяет расслабиться – главным образом, благодаря ландшафтам, которыми мы так восхищались еще в детстве. Светлый балтийский пляж, большие песчаные дюны на берегу залива, приветливые леса – все это почти не изменилось, а вот бывшие рыбацкие поселки вынуждены были уступить место многочисленным домам отдыха. Прогулка на весельной лодке по тихому заливу, мимо светло-желтых дюн, вспыхивающих, стоит проглянуть солнцу из-за бегущих по небу облаков, успокаивает нервы и навеивает счастливые думы. И когда вечером дорогу нам вдруг перебежала лосиха, остановившись шагах в двадцати от шоссе и позволив себя сфотографировать, это показалось чуть ли не эффектной инсценировкой – или то был, на самом деле, отчаянный призыв животного, ста-

новящегося редким видом, не уничтожать его в нашей безоглядной погоне за материальным благополучием?

Дорогие друзья, в 1945 году нашему Кенигсбергу исполнилось бы 690 лет, если бы высокомерие, ненависть и разрушительные инстинкты не погубили его. Так что погибшему Кенигсбергу стоило бы стать призывом людей к сотрудничеству и грозным предостережением для всех тех, кто снова разжигает ненависть, не задумываясь о ее ужасных последствиях, для всех тех, кто мысленно, или вслух, или на бумаге повторяет агрессивные лозунги типа «Вернуть Германии ее земли!» и «Долой иностранцев!», не отдавая себе отчета в том, к каким катастрофическим результатам это может привести.

Мы с облегчением вздохнули, вернувшись в Штутгарт, ибо тяжело наблюдать ближнего в беде и не иметь возможности помочь ему, тяжело повсюду встречать следы прошлого и нигде не видеть признаков того, что ближайшее будущее принесет обнадеживающие изменения. И хотя успехи восстановления послевоенной Германии становятся после этого особенно очевидны, меня не оставляет тревожная мысль, что от повторения прежних ошибок никуда не деться и что неспособность людей ограничивать свои желания угрожает разрушить достигнутое.

Михаэль Вик





Указатель переименованных мест (сост. Ю. Волков)

<i>Прежнее название</i>	<i>Нынешнее название</i>
Альте-Пиллауер-ландштрассе	ул. Дмитрия Донского (Калининград)
Амалиенау	район ул. Лесопарковая, Кутузова, Нахимова, Энгельса и Чапаева (Калининград)
Бетховен-штрассе	ул. Кирова (Калининград)
Германаллее	ул. Чайковского (Калининград)
Гольдап	Голдап (Польша)
Гольтцаллее	ул. Гостиная (Калининград)
Гросс-Егерсдорф	разушенный и невосстановленный поселок неподалеку от Черняховска
Гумбиннен	Гусев (Калининградская обл.)
Зайлер-штрассе	район ул. Мореходная (Калининград)
Зеераппен	Люблино (Зеленоградский р-н Калининградской обл.)
Зудауен	Сувалки (Польша)
Инстербург	Черняховск (Калининградская обл.)
Квандиттен	Синявино (Зеленоградский р-н Калининградской обл.)
Кенигсберг	Калининград
Кнайпхоф	о-в Канта (Калининград)
Кранц	Зеленоградск (Калининградская обл.)
Кронау	Кроново (Польша)

Летцен	Гижицко (Польша)
Лык	Элк (Польша)
Луизеналлее	ул. Комсомольская (Калининград)
Луизенваль	территория Центрального парка (Калининград)
Марауненхоф	район ул. Тельмана, Верхне- озерная, Гоголя, Тургенева и Некрасова (Калининград)
Мемель	Клайпеда (Литва)
Метгетен	Космодемьянский (пригород Калининграда)
Нидден	Нида (Литва)
Нойе Бляйхе	район между ул. Дмитрия Донского и Ремесленная (Калининград)
Пайзе	Комсомольский (в черте Светлого Калининградской обл.)
Параде-плац	Университетская пл. (Калининград)
Пиллау	Балтийск (Калининградская обл.)
Понарт	Дмитрово (Балтийский р-н Калининграда)
Прегель	Преголя
Раушен	Светлогорск (Калининградская обл.)
Рессель	Решель (Польша)
Ротенштайн	Кутузово (пригород Калининграда)
Танненберг	Стебарк (Польша)
Танненвальде	Чкаловск (пригород Калининграда)
Тапиау	Гвардейск (Калининградская обл.)

Файльхенберг	возвышенность в юго-западной части Центрального парка (Калининград)
Фриш-Гаф	Вислинский залив (Польша); Калининградский залив (Россия)
Хаберберг	район ул. Багратиона и Богдана Хмельницкого (Калининград)
Хайлигенбайль	Мамоново (Калининградская обл.)
Хаммервег	просп. Мира (Калининград)
Хаммертайх	Воздушный пруд (Калининград)
Хуфен	район вдоль просп. Мира между Гвардейским просп. и ул. Кирова и Карла Маркса (Калининград)
Хуфеналлее	часть просп. Мира от Драматического театра до Центрального парка (Калининград)
Шарлоттенбург	Лермонтово (в черте Калининграда)
Шиллер-штрассе	ул. Шиллера (Калининград)
Ширвиндт	Кутузово (Нестеровский р-н Калининградской обл.)
Шреттер-штрассе	ул. Красная (Калининград)
Штайндамм	район Ленинского просп. (Калининград)
Штайнметц-штрассе	ул. Степана Разина (Калининград)
Эбенроде	Нестеров (Калининградская обл.)
Эйтдкау	Чернышевское (Нестеровский р-н Калининградской обл.)
Юдиттен	Менделеево (в черте Калининграда)

## От переводчика

Идея перевода настоящей книги возникла у меня еще в середине 90-х, и к работе я приступил в 1999 году. С автором я знаком не был. Была лишь увлеченность читателя, захваченного необычностью подхода к теме у автора книги. Но, поставив в сентябре 2000 года последнюю точку в черновом варианте перевода, я узнал, что Михаэль Вик приезжает в Калининград для участия в научной конференции. Что за счастливая случайность! Мы встретились в Немецко-русском доме и следующий день посвятили обходу памятных для Михаэля Вика мест.

Хочу выразить сердечную благодарность председателю еврейской общины «Адат Исраэль» города Калининграда Виктору Шапиро за помощь в работе над переводом, а также поблагодарить сотрудников общины за техническую помощь и доброжелательное отношение.

**Немецкий форум восточноевропейской культуры** был основан на правах общественной организации в декабре 2000 г. в Потсдаме по инициативе и при финансовой поддержке Уполномоченной правительства ФРГ по делам культуры и средств массовой информации.

Его целью является сбор и распространение информации о культурном прошлом и настоящем тех регионов Восточной Европы, в которых проживали, а иногда и по сей день проживают немцы. Благодаря событиям последних десятилетий, возникли возможности совместно с коллегами из стран-партнеров изучать малоизвестные страницы общего наследия, не обходя при этом вопросов спорных и острых.

Форум занимается издательской деятельностью и организацией выставок, концертов, дискуссий и иных мероприятий как в ФРГ, так и в странах-партнерах. Будучи основана на сотрудничестве, эта работа позволит по-новому понять проблемы общего культурного развития и тем самым углубить процессы европейской интеграции.

Deutsches Kulturforum östliches Europa  
Am Neuen Markt 1  
D-14467 Potsdam  
Tel: +49 331 20098-0  
Fax: +49 331 20098-50  
E-Mail: [info@kulturforum-ome.de](mailto:info@kulturforum-ome.de)  
[www.kulturforum-ome.de](http://www.kulturforum-ome.de)

Михаэль Вик  
ЗАКАТ КЕНИГСБЕРГА  
Свидетельство немецкого еврея

Предисловие Зигфрида Ленца  
Перевод с немецкого Юрия Волкова  
под редакцией Ренаты фон Майдель  
и Михаила Безродного

Общая редакция *Клаус Харер*  
Компьютерная верстка *Роберт Джонс*  
Обложка *Хана Штокхаузен*

Источники иллюстраций  
1, 2, 4-6, 8-12, 22-27: собрание М. Вика, Штутгарт  
3: собрание Ю. Геверса, Фленсбург  
7: собрание В. Пфейффера, Стокгольм  
13-18: архив фирмы «Фотография Краускопфа», Цевен  
19-21: Государственный архив Калининградской области

Подписано в печать 10.11.2003. Бумага офсетная. Формат 84x100½  
Гарнитура «WarnockPro». Печать офсетная. Тираж 2000  
Заказ 4761

Deutsches Kulturforum östliches Europa, e.V.  
Am Neuen Markt 1  
D-14467 Potsdam  
Tel: +49 331 20098-0  
Fax: +49 331 20098-50  
E-mail: [info@kulturforum-ome.de](mailto:info@kulturforum-ome.de)  
<http://www.kulturforum-ome.de>

Издательство «Гиперион»  
199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 55  
E-mail: [hyperion@mail.rcom.ru](mailto:hyperion@mail.rcom.ru)  
<http://www.hyperion.spb.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Академической типографии «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

## **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ ИСТОРИЯ И СЛОВЕСНОСТЬ»**

При содействии Фонда «Русская история и словесность» в издательстве «Гиперион» открыты новые книжные серии:

**«Филологическая библиотека»** — исследования по истории русской литературы. Вышли следующие издания: Омри Ронен «Поэтика Осипа Мандельштама» (2001), Аркадий Блюмбаум «Конструкция мнимости: (К поэтике «Восковой персоны» Ю. Тынянова)» (2002), Геннадий Барабтарло «Сверкающий обруч: О движущей силе у Набокова» (2003). В печати находятся книги Веры Мильчиной «Россия и Франция: Дипломаты, литераторы, шпионы» и Юрия Щеглова «Антиох Кантемир и стихотворная сатира». На ближайшее время запланирован выпуск книг А. А. Долинина, Р. Д. Тименчика и др.

**«Петербургская поэтическая культура»** — сборники малоизвестных и незаслуженно забытых петербургских поэтов первой половины XX века. Вышли первые две книги серии: Василий Комаровский «Первая пристань» (2001) и Константин Вагинов «Петербургские ночи» (2001). В ближайших планах — издание книг Г. Маслова «Аврора» и Л. Каннегисера «Стихотворения».

**«Utopia humana»** — исторические исследования и художественные произведения, связанные с феноменом утопии. Серия открылась книгой Леонида Геллера и Мишеля Никё «Утопия в России» (2003), в которой дается обзор утопического сознания в России на протяжении тысячелетнего существования российского государства.

В 2003 году открывается новая серия **«Русская диаспора»**, посвященная русской зарубежной словесности. Первая книга серии — сборник рассказов замечательного прозаика Михаила Иванникова, до сих пор практически не известного русскому читателю.

**Благотворительный фонд «Русская история и словесность»** основан в 2001 г. Фонд создан и действует в целях оказания профессиональной и материальной поддержки



исследователям истории и культуры России, переводчикам с иностранных языков на русский, — всем специалистам, работающим в области российской художественной, общественной и философской мысли во всем ее многообразии и в связи с другими культурами. Главные цели Фонда — просветительская, педагогическая и издательская деятельность в этой области.

В попечительский совет Фонда вошли известные отечественные и зарубежные ученые, такие как К. М. Азадовский (С.-Петербург, Россия); С. Гардзонио (Пиза, Италия); М. Л. Гаспаров (Москва, Россия); А. В. Лавров (С.-Петербург, Россия); М. Нумано (Токио, Япония); О. Ронен (Анн-Арбор, США), И. П. Смирнов (Констанц, Германия).

Для осуществления своих целей Фонд ставит следующие задачи:

— привлечь к участию в деятельности Фонда отечественных и зарубежных ученых, видных деятелей культуры и меценатов, занимающихся разработками проблем или связанных с историей русской культуры (в особенности истории и словесности), в том числе в ее взаимосвязи с другими культурами;

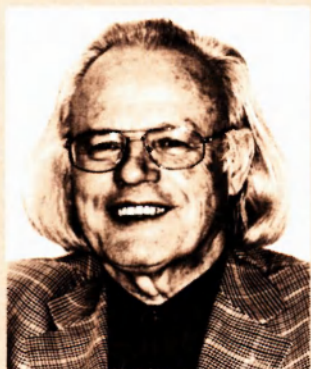
— всесторонне поддерживать издательства, занимающиеся выпуском гуманитарной литературы;

— проводить научные симпозиумы, конференции, встречи и семинары, способствующие обмену опытом и информацией, соответствующие целям Фонда.

**Благотворительный фонд «Русская история и словесность»** приглашает Вас принять участие в работе фонда.

Фонд благодарен всем организациям и частным лицам, сделавших пожертвования на счет Фонда, а также всем тем, кто окажет какое-либо содействие Фонду в деле поддержания русской культуры.

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
«РУССКАЯ ИСТОРИЯ И СЛОВЕСНОСТЬ»**  
Санкт-Петербург, 199178, В. О., Большой пр., 55  
Тел.: (812) 113-55-62; E-mail: dmitrievp@mail.ru



---

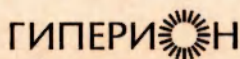
Взгляд Михаэля Вика (1928 г. р.) на описываемые им события уникален: зверства нацистов увидены глазами подростка с желтой звездой, а британские бомбардировки и русская оккупация – глазами жителя уничтоженного Кенигсберга. В стане гонимых Вик оказался и как еврей, и как немец, и в этом секрет его необыкновенной зоркости и свободы от любых идеологических шор.

Мемуары Вика переиздавались в Германии 7 раз с 1988 года. В 2003 году они вышли в переводе на английский.

---



ISBN 3-936168-12-1



ISBN 5-89332-077-8